В. И. АЛЕКСЕЕВ

Невидимая Россия



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк

В. И. АЛЕКСЕЕВ

Невидимая Россия



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк • 1952

ПРЕДИСЛОВИЕ

Василий Иванович Алексеев, автор «Невидимой России», родился в 1906 году во Владимире. Вскоре после окончания Исторического факультета Московского университета, в 1930 году, он был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группе и приговорен к 5 годам заключения в концентрационный лагерь. По отбытии срока наказания поселился в небольшом городке Московской области. Во время войны город был занят немцами и Алексеев был отправлен на работы в Германию.

«Невидимая Россия» — повесть о советском юноше Павле Истомине, выросшем в русской интеллигентной семье. И отец и мать Павла, типичные представители русской прогрессивной интеллигенции, хотя и были религиозны, были против всяких «излишеств» в проявлении религиозности и не приучали сына к церкви. Воинствующее безбожие советской власти не только не уничтожило в душе Павла потребности в поисках нравственных идеалов, но, наоборот, помогло ему найти путь к правде и к Богу. В своих исканиях Павел оказался не одинок. Он рано начал находить среди сверстников друзей, которые так же, как и он, испытывали потребность в каких-то более возвышенных и вечных нравственных идеалах, чем те, какие внушала им советская школа и власть. К великому изумлению Павла, среди его друзей оказалось немало и таких, которые до того, как они открыли в религии новый источник света, прошли через комсомол. Павел и его друзья организовали подпольные кружки молодежи. В этих

кружках они читали запрещенные в Советском Союзе книги Владимира Соловьева, Сергея Булгакова, Челпанова, Достоевского и других писателей, официально заклейменных в качестве «идеалистов». Члены этих кружков не только читали, но и зорко всматривались в окружающую жизнь, ища в ней подтверждения того, чем полны были их юные души. Новые знакомства и встречи убедили их в том, что под оболочкой официальной системы попрежнему жива другая, незримая Россия. Большинство членов кружка Павла, в конце концов, были арестованы и отправлены в концентрационный лагерь. Жизни в тюрьме и в концентрационном лагере посвящены едва ли не самые яркие страницы этой книги.

«Невидимая Россия» — повесть, но в ней нет вымысла. И светлые и темные ее страницы выстраданы Павлом Истоминым и его друзьями, они сами подскажут читателям выводы, укрепят в них веру и любовь к борющемуся за свое освобождение русскому народу.

Издательство имени Чехова

ЧАСТЬ I

Глава первая

ПОХОРОНЫ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА

Московские колокола скорбно перезванивались: Святейший Московский и всея России Патриарх Тихон скончался.

Незадолго до смерти на патриарха было произведено два покушения. Был убит келейник Святейшего. Умер патриарх в Боткинской больнице после какого-то укола. Москва была уверена, что его отравили.

Народ любил патриарха Тихона. Патриарх Тихон любил народ.

В 1922 г. большевики арестовали патриарха и обвинили его в отказе отдать церковные ценности для голодающего Поволжья. Это была ложь. Патриарх не дал разрешения на осквернение церквей безбожниками при отборе ценностей и предложил реализовать ценности силами самой церкви. Большевики не могли допустить, чтобы голодающих спасала церковь. Святейший был арестован.

Чекисты врывались в храмы, оскверняли алтари, срывали ризы с чудотворных икон, выбрасывали из рак мощи, сваливали веками собранные сокровища в общую кучу без описи и контроля. На базарах из-под полы продавалась церковная утварь, только что отобранная для голодающих. Во многих местах народ оказывал сопротивление. Лилась кровь. Умирали за веру. Тысячи были арестованы, сотни расстреляны. Православная церковь начала крестный путь на Голгофу. Патриарха вызвали в суд. Когда он появился в зале

суда, весь зал встал, и патриарх благословил народ. Подготовлявшийся процесс не удался. Вскоре патриарх был освобожден.

Скорбно звонили колокола. Православие обезглавлено. Но большевики боялись всенародной демонстрации. Тело патриарха без огласки перевезли в Донской монастырь, на окраину города. Может быть, поленятся. Может быть, не поедут. А если поедут — город об этом не узнает.

Толпы народа с первого дня повалили в монастырь. Никто не поленился. Демонстрация состоялась, демонстрация приняла невиданные размеры.

За год перед этим умер Ленин. У Ленина было много приверженцев, особенно в Москве — красной столице мирового пролетариата. Кроме того, на похороны Ленина сгоняли силой. На похороны патриарха старались не пускать. Участвовать в похоронах патриарха было небезопасно. Похороны патриарха замалчивали. На похороны Святейшего Московского и всея России патриарха Тихона пришло больше народу, чем на похороны вождя мирового пролетариата Ленина. Все понимали значение этого события.

Двухэтажный собор Донского монастыря сурово и победоносно поднимал непокорное пятиглавие над старинными зубчатыми стенами. Внутри верхнего летнего храма был таинственный полумрак. Гроб стоял на возвышении по середине храма, утопая в цветах. Колонны, расписанные древними фресками, уходили в бесконечную высоту, окутанную мраком и сплошным облаком кадильного дыма.

Круглые сутки шли заупокойные службы. На клиросах сменялись причты церквей и монастырей. Монахи в черных одеждах читали и пели непрерывно. Схимники в опускающихся на лица куколях вышли из долголетнего уединения и молились у гроба.

День и ночь, без перерыва, народ шел проститься с патриархом. За первый день, по слухам, было продано

60.000 свечей. Свечи некуда было ставить — они грудами лежали у подсвечников. Чтобы пройти в храм, нужно было ждать часами. Вереница прощающихся растянулась на целую версту. В толпе не произошло ни одной ссоры, ни одного скандала. Каждый следил за тем, чтобы большевики не оскорбили память Святейшего. Милиция отсутствовала...

Весна и необычайность всего происходящего вскружили голову Павлу Истомину. Каждый день Павел ездил в Донской монастырь и всё время находился в состоянии, близком к экстазу. Пробравшись в собор, он часами смотрел на непрерывно проходящую мимо толпу. Лица сменялись лицами. Были тут старики и дети, неграмотные крестьяне и профессора, рабочие и молодежь. Последнее особенно радовало Павла. Нет здесь никакого классового различия, — думал он, — один, единый русский народ. Православный русский народ такой, каким он был и в семнадцатом и в девятнадцатом веках.

Вереница верующих поднималась по каменным ступеням собора, входила в главные двери, огибала справа возвышение, на котором стоял гроб, терялась на мгновение в бело-зеленой куще цветов, поднималась по ступенькам к гробу и целовала старческую полную руку Святейшего. Лицо патриарха было закрыто парчой. Выпростана была только правая рука, рядом с которой лежала икона. После прощания вереница уходила как бы в небытие, терялась во мраке левого придела. Павел, как загипнотизированный, не мог оторваться от этого зрелища. Домой приходил бледный и похудевший.

Мать с тревогой всматривалась в осунувшееся лицо сына и нервно выпрямлялась, делаясь от этого еще более статной и величественной, хмурила брови, но никаких замечаний не делала.

Вера Николаевна не чаяла души в единственном сыне и боялась его слишком большой искренности и экспансивности. Ей всегда мерещилось, что Павлик когда-нибудь погибнет так же смело, наивно и бессмысленно, как Петя Ростов в «Войне и Мире», поскакав туда, где больше огня и дыму. Потеряв мужа накануне первой мировой войны, Вера Николаевна все силы души отдала воспитанию сына. Как типичная представительница русской прогрессивной интеллигенции, Вера Николаевна была против всяких «излишеств» в проявлении религиозности, считала церковную обрядность ненужной условностью и не приучала сына к церкви.

Когда Павлику исполнилось семь лет, его и двоюродного брата Володю отправили на первую исповедь. Мальчикам дали денег, чтоб заплатить батюшке, но сами с ними не пошли. На другой день, за чайным столом, обе матери весь вечер вспоминали поэтическую искренность собственной детской веры. Мальчики ели варенье, слушали и несколько удивлялись своим матерям: исповедь тронула их очень мало.

Когда Павлику исполнилось четырнадцать лет, его первый раз пронзило сознание неизбежности смерти. Целый год он скрывал почему-то свой страх от матери, а в пятнадцать лет сам, без всякого постороннего влияния, потянулся к религии. Владимир Соловьев, С. Булгаков и Достоевский закрепили происшедший в нем перелом. Незаметно Павел пристрастился к церкви. Вера Николаевна сначала отнеслась снисходительно-скептически к новому увлечению сына, но вскоре крепнущее постоянство Павла стало влиять и на нее: Вера Николаевна вернулась к церкви.

У Павла образовался новый круг друзей. Больше всего он сошелся с Николаем Осиповым — еще большим фанатиком православия, чем сам Павел. Как-то, стоя у всенощной в церкви Большое Вознесение, Павел обратил внимание на худого, высокого молодого

человека, простоявшего всю службу. Блестящие глаза молодого человека почти всё время смотрели на алтарь, а бледные губы шевелились в неслышной молитве. Павел от природы был жаден на людей и с этого раза, входя в церковь, всегда искал глазами чуть опущенные под невидимой тяжестью плечи и неподвижно углубленное лицо незнакомца, неизменно обращенное к алтарю. Один раз, после службы, Павел столкнулся с молодым человеком, выходившим из храма вместе со знакомым Павлу дьяконом.

— Вы, наверно, знакомы? — сказал дьякон.

— Нет, но я буду рад познакомиться, — обрадовался Павел.

Молодой человек посмотрел на Павла, как бы первый раз его увидев, и протянул худую, крепкую руку.

Николай оказался сыном ученого искусствоведа и так же, как и Павел, сам пришел к вере. Когда Павел узнал Николая ближе, то убедился, что под невозмутимо спокойной внешностью Николай сдерживает дикую, с трудом обуздываемую натуру. К религии Николай пришел через кратковременное, но острое увлечение коммунизмом и полное безбожие. В разгар этого увлечения, четырнадцатилетним мальчишкой, Николай успел уже влюбиться в свою девятнадцатилетнюю троюродную сестру и подраться из-за нее на дуэли с другим своим дальним родственником, таким же забиякой, как и он сам. Дуэль происходила на финских ножах и подростков разняли уже сильно порезанными. Теперь Николай всю эту силу отдал религии, а прежняя необузданность прорывалась только во время богословских споров. Глядя на вспыхивающего в этих случаях Николая, Павел всегда вспоминал Францию времен Гизов и Колиньи, когда гугеноты и католики от богословия переходили к шпагам и от шпаг к богословию.

Под сильным влиянием Николая находился третий член группы — невзрачный, косоглазый Миша Каблуч-

ков, сын сапожника, товарищ Николая по школе, тоже бывший комсомолец, перешедший в ряды церковников вслед за своим более ярким другом.

Все трое сговорились идти на похороны патриарха как можно раньше и попробовать пробраться в собор.

Заупокойная литургия была назначена на 10 часов. В девять, уже подходя к монастырю, Павел понял, что о соборе и мечтать не приходится.

Святейший умер в четверг, на Благовещение. Похороны были назначены на воскресенье.

Весна была ранняя, погода удивительно теплая и радостная. Свежие клейкие листочки пробивались на молодых липах, обрамлявших Донскую улицу. Над всем городом стоял необычный, странный трезвон колоколов. Длинная улица была запружена спешащими людьми. Многие шли по мостовой, так как тротуары были переполнены. Там и тут в петлицах мелькали белые медальоны с портретом патриарха. Лица у всех были серьезные и торжественные.

— Вся ответственность за порядок возложена на духовенство. Милиции в ограде не будет. Большевики надеются на вторую Ходынку... — услышал Павел взволнованный голос из толпы.

Показались башни монастыря и около — монастырская площадь. В переулках, с противоположной стороны площади, стояла конная милиция и несколько автомобилей скорой помощи. Народ сплошным потоком вливался в каменные крепостные ворота ограды и кладбища. Павел с трудом пробрался на площадку, напротив главного входа. Здесь сплошной стеной стояли почти одни мужчины, и опять Павел почувствовал, что их нельзя расчленять на классы, профессии и сословия — стоял православный русский народ.

Согласно обряду, тело патриарха, перед погребением, должны были три раза обнести вокруг собора.

Толпа заранее оставила для этого проходы, опоясав их тройным кольцом живых цепей, составленных из мужчин. Все понимали, что сохранение порядка зависит от каждого человека в отдельности и каждый человек, составлявший крупинку целого, напряженно следил за собой и окружающими.

— Смотрите, — сказал высокий молодой рабочий, стоявший рядом с Павлом, — всё уже полно, в ограду больше пройти нельзя.

Все деревья покрылись темными гроздьями людей. На башне надворотной колокольни двигались какие-то фигуры.

— Иностранные кино-операторы... — заметил кто-то, — что же, пускай Запад узнает, как Москва своего патриарха хоронит!

Толпа затихла, головы обнажились: в соборе началось богослужение. Солнце поднималось всё выше и выше, начинало припекать. Толпа давила так, что трудно было перекреститься, но Павел ничего этого не замечал. Чувство единства с единоустремленной массой опьяняло его. Часы шли, богослужения почти не было слышно. Только колокола попрежнему время от времени перезванивались, а Павел стоял и стоял, гордый своим народом.

Вдруг слева раздался глухой возмущенный ропот. Электрическая искра волнения мгновенно пробежала по всему людскому монолиту.

— Что? Кому-нибудь плохо? Или большевистская провокация?

По широкому проходу, оставленному для крестного хода, на виду у всех, шел невысокий человек в поношенном пальто и в зеленой технической фуражке.

— Коммунист с пчеловодных курсов, — послышался шопот, — в правом крыле бывшей монастырской гостиницы пчеловодные курсы.

Человек шел, стараясь быть спокойным, не снимая

шапки, нагло встречая направленные на него возмущенные взгляды.

— Что делать? — подумал Павел, — они ведь и хотят вызвать эксцессы, чтобы к чему-нибудь придраться!

Толпа на мгновенье замерла в нерешительности. Затем, подобно шуму отдаленного прилива, негодующий гул пронесся в обратном направлении. Павлу показалось, что весть о грозящей провокации докатилась до самых древних стен, ударилась о них и, грозно возрастая, покатилась назад.

— Неужели его сейчас растерзают? Нет, этого нельзя допустить!

Ропот рос и приближался. Руки мужчин, составлявших цепь, отделявшую идущего от толпы, еще крепче вцепились друг в друга. Походка его стала нервной. Тысячи глаз следили за каждым его движением. Вдруг он остановился как бы в нерешительности, снял фуражку и, бледный, как смерть, быстро пошел назад. Вздох облегчения вырвался у Павла и его соседей.

— Испужался, нечистая сила! — произнес грубый мужской голос.

Было уже далеко за полдень, когда из-за высокой балюстрады верхнего храма появилась фигура архиерея в полном облачении. Звонкий голос понесся над еще более затихшей толпой.

— Борис Можайский, — прошептал кто-то.

Как ни напрягал Павел слух, слова архиерея до него не долетали.

— Борис Можайский... вот также когда-то мог говорить с москвичами Борис Годунов, — думал Павел.

Архиерей кончил слово и скрылся в храме.

— Скоро выносить будут, — заговорили в толпе.

Восемь часов подряд простоял Павел на площади перед собором. Около пяти часов дня из храма показалась процессия. Впереди несли легкие, красные, ши-

тые золотом хоругви на длинных, тонких древках. Гроб сопровождало около ста епископов, три могучих протодьякона, католический священник в пурпурном облачении, множество монахов и священников. За гробом несли нескончаемые венки, многие от московских фабрик и заводов. Медленно, торжественно, останавливаясь на литии, шествие трижды обошло вокруг собора, повернуло направо в направлении нового кладбища и исчезло в маленьком, приземистом, одноглавом древнем соборе, где и был погребен Святейший.

Повернулась страница истории русской церкви. На место Тишайшего патриарха не было выбрано нового: Собор не мог собраться потому, что виднейшие иерархи православной церкви были в заключении. Еще до кончины патриарха было назначено три его заместителя: митрополит Кирилл, митрополит Агафангел и митрополит Петр Крутицкий. Первые два находились в заточении. Блюстителем патриаршего престола стал митрополит Петр. Петр — значит камень. В противоположность Тишайшему патриарху, митрополит и по внешности, и по характеру походил на камень. Лицо патриарха было полно любви и ласки. Лицо митрополита было каменно-непреклонным. Через несколько месяцев митрополит Петр был арестован. Около десяти лет провел он в заточении и умер, не сделав безбожной власти ни одной уступки.

Колокола смолкли. Народ расходился.

Утомленный и грустный шел Павел по пыльной улице. Вся она сплошь текла народом.

Ноги Павла болели, хотелось отдохнуть и в то же время было мучительно жалко, что всё пережитое сегодня уже позади... Люди разошлись, единый монолит распался на мелкие, слабые, ничтожные пылинки.

— Сколько в каждом отдельном человеке героического и подлого, — думал Павел. — Повседневная

жизнь смешивает эти несовместимые черты в самых причудливых сочетаниях и пропорциях. Когда люди собираются вместе на общее дело, это их облагораживает или портит. Когда масса собрана во имя добра, большие и ничтожно маленькие крупинки добра, заложенные в каждом человеке, складываются в грандиозное целое, а личные грехи тонут, теряются в этом целом. Поэтому под Бородиным или на Куликовом поле все были одинаковыми героями, поэтому русское воинство всегда верило, что оно православное и христолюбивое и, действительно, было им. Но тот же закон действителен и для зла. Людское стадо, собранное на злое дело, беспощаднее и преступнее личностей, являющихся его слагаемыми. Поэтому та же самая толпа сегодня на похоронах патриарха была православным русским народом. Завтра ее погонят с красными знаменами на Красную площадь и она будет безнациональным мировым пролетариатом.

Кто-то сзади догнал Павла.

— Николай? А я тебя утром ругал: ты же должен был зайти за мной с Михаилом!

Николай был необычайно бледен.

— Прости, — улыбнулся он, — я вчера вечером не утерпел и еще раз пошел в собор, а потом, гляжу, многие остаются на ночь — ну, и я решил остаться.

— Так ты простоял в соборе со вчерашнего вечера?

— Не всё время, — как бы извиняясь ответил Николай, — ночью мы много сидели на полу. Зато, знаешь, как хорошо! Много крестьян было — как в старину, пешком на богомолье. Сколько разговоров наслушался!

— А мне вот грустно стало, Коля, — пожаловался Павел. — Знаешь, я так реально чувствовал единство со всей этой массой, а теперь опять всё чужое... Собрал последний раз их Святейший, а завтра рассыпятся, разойдутся, начнут их большевики по одиночке обрабатывать. Гляди, половина в партию запишется...

— На то и жизнь, — спокойно возразил Николай. — Кстати на ту же тему: когда гроб из собора вынесли, то двери тут же затворили, чтобы народ из храма не бросился и не произошло давки. А внутри много нищих было. Один рыжий, на костылях, в рясе, хотел выскочить — думал, наверно, собирать на паперти, да опоздал. Двери прямо перед ним затворили, а он по ним палкой, да как закричит: «разбойники вы все, ограбить меня хотите!». Его стали унимать, а он разошелся, ругань свою никак остановить не может. Отвернулся я, чтобы на него не глядеть, а на ступеньках, где гроб стоял, сидят себе два схимника, седые как лунь, сидят и, как дети, улыбаются: никакое безобразие их не пугает... Радостные, неземные, ни на что кругом внимания не обращают.

Павел молча шел около Николая, ему было стыдно за свое малодушие.

— Какой молодец Николай! — думал он, — я с утра стою и то раскис, а он со вчерашнего вечера... почти целые сутки, а идет как будто бы и не устал!

Глава вторая

СУД НАД СТАРОЙ ШКОЛОЙ

Первое личное столкновение с советской действительностью Павел пережил в школе. «Девятилетка» Павла, прежде очень известная в Москве женская гимназия, к 1924 году изменила только название, и стала смешанной. Во главе школы была директорша, умная энергичная дама, уважаемая и любимая учениками. Педагоги остались прежние, детей старались принимать по рекомендации.

В 1924 году любимая директорша была снята, многие педагоги уволены, и новый директор, товарищ

Блюхер, присланный Наркомпросом, начал энергичную ломку старой педагогической системы.

Историю заменили обществоведением. Старая преподавательница истории Анна Павловна не смягчила своей судьбы тем, что надела красный галстух. Ученики нарисовали карикатуру, изображавшую историчку с красным бантом, по размерам, превышавшим ее самое. Внизу была надпись:

Из жизни выйти без увечья
Не может совесть человечья.

Товарищ же Блюхер заменил Анну Павловну товарищем Любимовым. Товарищ Любимов, худой брюнет с хитрыми выпуклыми глазами и неправильной русской речью, только что окончил рабфак и учился на факультете общественных наук, сокращенно — ФОН,е. Товарищ Блюхер и Любимов стали создавать комсомольскую ячейку. Ввиду того, что желающих вступить в ячейку оказалось мало, в школу влили другую школу с более пролетарским составом учащихся. После этого большинство старых педагогов уволили, а математика, офицера царской армии, арестовали и сослали в Соловки.

Положение Павла в новых условиях очень скоро стало неприятным.

Однажды, на уроке обществоведения, товарищ Любимов, поймав насмешливый взгляд Павла во время очередной погрешности преподавателя в русской речи, вдруг остановился посреди класса, гневно выпучил и без того выпуклые глаза и дрожащим от ненависти голосом сказал:

— Вы, Истомин, человек вполне сложившийся и вы не наш человек, Истомин!

В советских условиях подобное замечание грозило плохими последствиями. Вслед за столкновением с преподавателем не замедлило произойти столкновение с директором.

Тов. Блюхер жаждал славы, блеска и аудитории.

Он любил собирать собрания учащихся и произносить речи. Любимой темой речей была борьба с буржуазным духом школы, воплощавшимся в уволенной директорше, затем тов. Блюхер переходил к теме пролетарской революции, творимой массами.

— Масса, а не отдельная личность творит пролетарскую революцию! — восклицал тов. Блюхер, позируя. — Товарищ Ленин в Петрограде в 1917 году или, например, тов. Блюхер в нашей школе не значат ничего без массы.

Часто издеваясь над всем «старым и отжившим», тов. Блюхер оскорблял религию и церковь. Один раз Павел не выдержал и попросил слова. Тов. Блюхер насторожился, но слово дал. Павел встал и, срывающимся от волнения голосом, чувствуя на себе глаза всего зала, сказал:

— Религия, по конституции, объявлена частным делом, в зале могут быть верующие, — не надо их оскорблять, товарищ директор!

— Вы, Истомин, наверно, говорите только про себя! — визгливо прокричал директор.

На другой день в школьной стенгазете, в отделе «кому что снится» было написано: «Истомину снится патриарх Тихон». Это значило, что против Павла началась настоящая травля. Защиты искать было негде.

Однажды, подходя к старинному, с колоннами, зданию школы Павел встретил гимназического сторожа Григория, уютного, чистенького старичка, прежде строгого хранителя всех гимназических тайн и традиций. После смены директора Григорий чувствовал себя еще хуже, чем Павел, и терпели его только благодаря несомненно пролетарскому происхождению.

Вид у Григория был совсем расстроенный, щетинистые усы печально повисли. Григорий хотел было пройти мимо, но приостановился и с трудом произнес:

— Занятий сегодня не будет.

— Почему не будет? — удивился Павел.

Григорий безнадежно махнул рукой и Павлу показалось, что глаза старика наполнились слезами.

— Эта самая, как ее... ячейка... судить будет.

— Кого судить? — еще более удивился Павел.

— Ячейка... судить будет... — повторил Григорий и пошел дальше.

Войдя в класс, Павел застал там только старосту, Сережу Анохина.

Родители Анохина ушли заграницу с Белой армией и он воспитывался у двоюродной сестры.

— Иди в зал, — сказал Анохин, — там скоро суд начнется.

— Мне уже Григорий говорил, только я понять не могу, какой суд? — спросил Павел.

Сережа недоверчиво посмотрел на товарища:

— Разве ты ничего не слышал?

— Конечно, не слышал.

Павел знал, что Сережа по натуре службист и дипломат и борьбу с директором считает бессмысленной.

— Комсомольская ячейка и актив ставят инсценировку суда над старой школой, все ученики должны присутствовать. Иди скорее в зал, а то на тебя и так косятся, — сказал Сережа, смотря в сторону.

В длинном актовом зале с одной стороны была сделана деревянная трибуна, задрапированная кумачом. В центре трибуны стоял большой стол для членов суда, два маленьких стола для прокурора и защитника и скамья для подсудимых. Над трибуной, на задрапированной подставке, возвышался белый гипсовый бюст Ленина. Бюст с саркастической улыбкой смотрел на зал, полный учениками первой и второй смены.

В дверях Павел столкнулся с комсомольцем Ивановым. Иванов насмешливо посмотрел на Павла, скривил тонкие брови и произнес жалобным голосом:

— А как себя чувствует патриарх Тихон?

Павел не ответил и прошел в зал. Войдя, он быстро пробежал взглядом по лицам учеников. Того, чего страстно желал Павел, не было. Большинство относилось к происходящему, как к забавному зрелищу, — и только, все радовались, что занятия отменены. Взгляд Павла остановился на Наташе Соколовой, первой красавице школы. Черные глаза Наташи блестели весельем и возбуждением...

— Как ей не противно всё это! — с горечью подумал Павел и сел в самый дальний угол.

На трибуну взошла девушка в красной косынке — Лиза Линде, секретарь комсомольской ячейки.

— Товарищи, — заговорила Линде развязно и уверенно, — комсомольская ячейка и актив решили поставить инсценировку суда над старой, отжившей школой. Я буду прокурором, Свержевский — защитником, подсудимой будет Валя Ильина, председателем суда — тов. Блюхер, членами — комсомольская ячейка и старосты двух старших классов.

— Неужели Анохин согласится участвовать в этой гнусной комедии? — подумал Павел.

— Участники суда, прошу занимать места! — кончила Линде вступительное слово.

Тов. Блюхер первый взошел на трибуну, остальные гуськом следовали за ним. Анохина среди вошедших не было...

Молодец, наверно, куда-нибудь спрятался, — решил Павел.

— А где староста Анохин? — осмотрелся кругом тов. Блюхер, — почему нет Анохина?

Дежуривший у дверей Иванов на минуту исчез и затем появился вместе с Анохиным.

— Где ты пропадаешь? — недовольным тоном спросила Линде.

— Я следил, чтоб кто-нибудь не застрял в классе, — промямлил Анохин краснея.

Когда все разместились, Линде опять встала и на-

чала обвинительную речь. Несмотря на уверенный тон, речь была длинна и мало убедительна. Выходило так, что старая школа воспитывала аполитичных, глупых, пустых людей, интересующихся только нарядами и вечеринками. Подсудимая Валя Ильина, действительно, была девочкой такого типа, хотя сама этого явно не понимала. Она сидела на скамье подсудимых румяная, хорошенькая, глупая и смущенная тем, что не знала, как следует себя держать в таком странном положении.

— Кроме того, товарищ Ильина не предпринимает ничего для разъяснения своим родителям вреда религиозных предрассудков, хотя комната ее матери заставлена иконами! — кончила Линде обвинительную речь.

Зал слабо зааплодировал. Место Линде занял немного стесняющийся, но довольный, что фигурирует на сцене, Сверженский. Сверженский был одноклассником Павла, до появления товарища Блюхера ничем не отличавшимся в антисоветских настроениях от остального класса. Теперь он подделывался под новый тон, стараясь сохранить некоторую внешнюю самостоятельность. Сбиваясь и запинаясь, Сверженский начал защищать олицетворявшую старую школу Ильину.

— Конечно, она во многом виновата, конечно, она слишком много думает о туалетах и даже делает прическу (у Ильиной были длинные косы, заплетенные кругом головы), но, тем не менее, она член общества «Друг детей» и МОПР,а.

Сверженский взял со стола и показал залу две маленькие членские книжечки Ильиной. Вопрос об иконах Сверженский дипломатически обошел и быстро закончил речь, после которой все окончательно перестали понимать, зачем, собственно, устроена вся эта глупая инсценировка.

Суд никуда не удалялся и ничего не решал. Вместо этого, с длинной речью выступил товарищ Блюхер. Он опять говорил о пролетарской революции, творимой

массами, о второстепенной роли личности, о Ленине и тов. Блюхере и кончил пожеланиями, чтобы все учащиеся поступили в комсомол и воздействовали на родителей в вопросе об удалении икон из квартир.

— Господи, — думал Павел, — неужели меня одного так возмущает всё это? Я и так уже на особом учете, неужели никто ничего не скажет против?

В эту минуту в середине зала поднялась толстая некрасивая девочка и попросила слова.

— А о чем вы хотите говорить? — подозрительно спросил тов. Блюхер.

— Я хочу сказать, — вдруг громко заговорила девочка, обращаясь ко всему залу, — я хочу сказать, что папа у меня при смерти, мама всё время плачет и единственное для нее утешение это, когда мы вместе молимся, а вы хотите, чтобы я ее заставила иконы выносить.

Девочка чуть не заплакала и села.

Тов. Блюхер так растерялся, что ничего не ответил, а только заявил, что суд кончен и ученики могут расходиться по домам.

Павлу хотелось подойти и пожать руку незнакомой девочке, очевидно, недавно поступившей в школу, но он понимал, что теперь, при всех, этого делать нельзя. Мимо скользнула сутулая фигура тов. Любимова.

— Поздравляю, Истомин, у вас находятся последователи! — бросил он на ходу с ехидной улыбкой.

— Что-нибудь случилось, неприятное? — спросила Вера Николаевна, взглянув на вернувшегося домой Павла.

Павел рассказал о суде. Брови Веры Николаевны сдвинулись:

— К сожалению твоя школа, кажется, последняя гимназия, которую портят большевики. Во что бы то ни стало надо дотерпеть до окончания.

Вера Николаевна хотела подойти к зеркалу, чтобы поправить волосы, но задумалась и остановилась. Властное лицо ее всё время изменяло выражение. Вера Николаевна решала какой-то трудный вопрос. Павел знал, какой это вопрос. Он часто слышал, как родственники упрекали Веру Николаевну за то, что, воспитывая сына врагом советской власти, она готовит ему мучительное будущее:

— Нельзя, чтобы молодой человек вечно раздваивался между тем, что внушают ему дома, и тем, чем полны школы, театры, университеты — вся окружающая жизнь...

Павел знал, что эти разговоры всегда волновали и мучили мать. Обычно лицо ее делалось гневным и она парировала холодным металлическим голосом:

— Для меня лучше, чтобы мой сын умер, чем стал коммунистом, я всё равно не переживу этого.

Такой ответ заставлял собеседника обиженно замолкать. Павел же особенно любил и уважал мать за эти ответы.

Ночь после суда над старой школой Павел спал плохо, а на другой день пошел к Николаю с предложением создать подпольную организацию молодежи для свержения советской власти. Николай сразу согласился.

Так два товарища вступили на путь активной борьбы.

Глава третья

СМЕРТЬ МАТЕРИ

— Давно она потеряла сознание?

— Со вчерашнего вечера.

Доктор присел на кровать и стал щупать пульс, опустив глаза и избегая взглядов Павла.

Худое, изменившееся лицо Веры Николаевны беспомощно металось на белой подушке. Слабое движение вправо, слабое движение влево... Глаза были закрыты, между веками оставались совсем маленькие щелки, как будто больная только притворялась впавшей в беспамятство и потихоньку следила за доктором и сыном. Потрескавшиеся губы расходились, обнажая кончики покрытых налетом зубов. Слабый хрип иногда переходил в своеобразный клекот, как будто больная силилась и не могла сказать «не надо, не надо». Иногда по лицу пробегала гримаса, похожая на улыбку, и тогда казалось, что хрип это не хрип, а искаженный отголосок разговора, очень важного и именно поэтому непонятного окружающим.

— Помогите мне ее осмотреть.

Павел наклонился к неузнаваемо несчастному телу. Это уже не была мать, подавляющая окружающих непреклонной волей — это было что-то совсем другое, жалкое и бесконечно дорогое своей абсолютной беспомощностью. Это что-то тряслось мелкой дрожью и было невесомо от худобы.

— Да, я ошибся, — с трудом проговорил доктор, поднимаясь, — это брюшной тиф. Перевозить в город ее в таком виде уже нельзя. Всё дело в уходе... — доктор с недоверием посмотрел на Павла.

— Хозяйка и я не отходим от нее, но мы оба очень неопытны.

Доктор колебался.

Я останусь здесь до завтрашнего утра, но большего, к сожалению, сделать не могу. Попробуйте найти где-нибудь сестру.

— Я уже послал дочку хозяйки в Москву к родственникам с письмом — завтра должны привезти кого-нибудь.

Доктор покачал головой.

— Трудно в таких условиях что-либо сделать.

Шесть верст от шоссейной дороги, осенняя распутица...

Сказав это, он вышел.

Толстое лицо хозяйки высунулось в дверь.

— Ну что, Павлуша, что дохтур-то сказал?

— Плохо, но надежда не потеряна.

— Приляг, Павлуша, а я посижу. Приляг, смотри какой сам-то стал! Приляг, а то свалишься, что тогда будем делать?

— Ничего, Марья Петровна, мне спать не хочется. Идите отдыхайте, вы должны работать. Я всё равно от нее не уйду.

Марья Петровна тяжело вздохнула и вышла. Коричневатые бревна стен слабо отражали блики притушенной керосиновой лампы. Справа от постели, перед большим черным киотом, полным незамысловато написанных угодников, теплилась лампада. На белой подушке продолжало метаться неузнаваемое лицо. Павел наклонился и переменил компресс на пылавшем лбу. Стон усилился.

Мама! Павел припал к горячей руке. Она не ответила на ласку. То, что так недавно было Верой Николаевной, жило своей особой, таинственной жизнью. Непонятный разговор с кем-то делался всё оживленнее — там решалось что-то неизмеримо более важное, чем всё, о чем можно было говорить с сыном.

Господи, неужели конец, неужели она умрет, не приходя в сознание? Как я мог допустить столько ошибок!

Прошло три года после похорон Патриарха и инсценировки суда над старой школой, толкнувшей Павла на путь нелегальной борьбы. Первые усилия не дали значительных результатов. Павлу, Николаю и Михаилу удалось создать только несколько групп, занятых самообразованием. Отсутствие квартир для нелегальных

собраний в перенаселенной до отказа Москве, рост террора и слежки — всё это затрудняло их работу.

Один член организации уже был арестован, другой застрелился, не вынеся нажима ГПУ, хотевшего сделать его осведомителем. Следователь пригрозил арестом больного отца в случае дальнейшего сопротивления, и Анатолий предпочел умереть.

Летом 1927 года Павел кончил среднюю школу и с большим трудом поступил в университет. Тем же летом пережил первую любовь. Павел с матерью и Ната жили на даче, в подмосковной деревне. Сдав в августе экзамены в Первый Московский Государственный Университет, Павел радовался, что может спокойно провести с Наташей еще неделю. Внезапно Вера Николаевна почувствовала себя плохо. Надо было сразу переехать в Москву, но Павлу так хотелось пожить еще на даче с любимой девушкой. Вера Николаевна уже давно страдала от ухода сына в новую жизнь, к другой женщине. Матери часто ревнуют своих сыновей — это быт, а не трагедия. Потом всё прекрасно улаживается, — думал тогда Павел.

Еще весной Павел случайно слышал, как Вера Николаевна рассказывала своей сестре Лиде поразивший ее сон: Вере Николаевне снилось, что она идет одна по заброшенному парку. Впереди длинная липовая аллея, кругом никого. Вдруг в конце аллеи появилась фигура в белом. Она быстро приблизилась. Какое знакомое лицо!.. Да, конечно, это покойная сестра Нина. Нина подошла совсем близко. Выражение лица у нее было строгое и величественное. «Нина, это ты?» — вскрикнула Вера Николаевна. «Пойдем со мной... пора...», — тихо сказала Нина. Осенние листья с легким, сухим шелестом, кружась, падали на землю.

— Я знаю, я умру осенью, — сказала Вера Николаевна.

Обычный женский сон — подумал тогда про себя Павел.

Около станции на даче жил хороший московский доктор. Павел сразу же привел его к матери. Когда Вера Николаевна заболела, Павлу так хотелось, чтобы болезнь оказалась несерьезной. Доктор осмотрел больную и сказал, что это простуда, что не совсем неблагополучно в легких и надо полежать неделю в постели. Павел с Натой ездили в Москву за лекарствами — это дало им возможность провести целый день вместе.

Мама скоро поправится, мама привыкнет к Нате, — успокаивал себя Павел. Неделя прошла. Вера Николаевна чувствовала себя лучше, хотя слабость и неожиданные скачки температуры еще продолжались. Семья Наты уехала в Москву и Павел остался вдвоем с матерью. Вере Николаевне стало значительно лучше и она начала ходить по комнате. Павел иногда заходил в заброшенный парк, к заветному пруду, где так часто встречался с Натой. Кусты наполовину обнажились и не было уже прежней тайны в заросшей с обеих сторон дорожке. Парк попрежнему был величав и заброшен, дорожки аллей шуршали от густого слоя золотых листьев. Было пусто и одиноко. Павел вспомнил сон Веры Николаевны и ему стало жутко. «Самое страшное, когда организм перестает сопротивляться болезни!»

Проходив несколько дней, Вера Николаевна сразу почувствовала себя хуже и слегла опять. Вызванный доктор смог приехать только через два дня, не сказал ничего определенного, но стал сразу серьезен и избегал вопросов Павла, обещая приехать через несколько дней. Вера Николаевна потеряла сознание. С тех пор, как мать слегла во второй раз, Павел не отходил от постели. Хотелось исправить всё то, что произошло за последние два года. В первый раз он заговорил с матерью о Нате.

— Я тебя вполне понимаю, — сказала Вера Николаевна, — это жизнь. В твоем возрасте все переживают первую любовь. Для тебя она святая и совершенство... При этих словах лицо матери приняло чужое, почти

враждебное выражение. Павлу стало очень жаль мать. Он приник к изголовью постели. Длинные родные пальцы ее руки, как прежде, стали перебирать волосы Павла.

— Мама, не сердись... я ее так люблю!

Враждебное, сухое выражение на минуту исчезло с лица Веры Николаевны.

— Глупый ты, — сказала она с трудом, — твоя Ната просто хорошенькая куколка. Всё, что ты переживаешь, рождается только в твоей собственной душе, в ней и умрет; это плод твоего собственного воображения. Когда-нибудь потом ты вспомнишь мои слова.

Павлу стало обидно. Матери всегда придирчивы к предметам увлечения сыновей. Надо выдержать характер и перетерпеть, потом всё само собой уладится.

Больная поняла его мысли и нахмурилась. Опять что-то разделяло мать и сына.

Утром доктор еще раз выслушал Веру Николаевну.

— Надеюсь, что вы сегодня к вечеру достанете хорошую сестру милосердия, — сказал он уходя.

Целый день прошел в мучительном ожидании. Дважды Павел пытался кормить больную рисовым отваром из чайной ложки. Ложка стукалась о стиснутые зубы, голова попрежнему металась из стороны в сторону — половина отвара пролилась. Павел совсем измучился. Из города никто не ехал. Господи, как я мог всё это допустить! Неужели она умрет?

Температура изменялась скачкообразно. Вечером Марья Петровна сменила на несколько часов измученного Павла и он смог немного поспать. Ночью он опять дежурил у постели. Казалось, что наступает некоторое улучшение: больная стала меньше метаться, временами по 10-15 минут подряд она оставалась совсем спокойной.

Слава Богу, может быть, это кризис, может быть,

наступит облегчение! В середине ночи Павел поставил свою постель рядом с постелью матери, лег и забылся.

Павел стоял перед парадной дверью с ободранной обивкой. — Такая знакомая дверь! Когда я ее видел? На лестнице пахло сыростью и еще чем-то необычно пряным. Да, я здесь уже был... Павел позвонил. Что за странный и такой знакомый запах... За дверью послышался шорох и она неслышно отворилась. На пороге стояла девушка в черном платье, молчала и странно смотрела на Павла. А, это сестра Анатолия! — вздрогнул Павел. — Он застрелился и лежит там... Поперек комнаты стоит стол, на столе гроб, а я вошел и еще ничего не знал... а лицо у него закрыто потому, что череп разнесло выстрелом... руки сложены на груди, большие жилистые... Анатолий ушел из школы и поступил на фабрику, чтобы кормить сестру и больного отца, огрубел, начал отставать от нас и превращаться в настоящего рабочего. Он так любил сестру и отца! Я стоял у гроба, а сестра и отец вышли... Анатолий оставил какую-то записку, что не хочет быть сексотом, а они не знали, кто и куда его втягивал... они обезумели от горя и всех, всех подозревали. А я не мог сказать им об организации и о том, что я знаю всё, и ушел, ушел... а они меня боялись и подозревали. Господи, зачем мы не оставили Анатолия в покое! Кто теперь содержит его отца?

Павел сразу проснулся и сел на постели. Через окно в комнату проникал тусклый свет. Лампа на столе потухла, лампадка чуть-чуть мерцала. Лица больной почти не было видно за тенью подушки.

Неужели умерла?

Павел вскочил и наклонился над матерью. Она ды-

шала очень тихо, но дышала. Павел переменил компресс. Легкий храп вырвался из груди больной.

Слава Богу, что нет этого страшного бреда. Непрерывный спор с кем-то кончился, — почему-то подумал Павел.

Храп, похожий на стон, повторился. Павел взял Веру Николаевну за руку. Рука была холодная и тяжелая. Вдруг всё тело дернулось, еще, еще, немного сильнее, опять слабее... еще раз... она вытянулась и затихла. Хриплое дыхание, сначала участившееся, прекратилось. Она вздохнула еще раз совсем слабо и... это было всё.

Павел на минуту оцепенел. Нет, нет... не может быть так просто! Еще маленьким ребенком, когда во сне, как кошмар, ему представлялась смерть матери, Павел просыпался от ужаса и ему казалось, что он не переживет этого. Теперь, когда это так просто случилось, он не чувствовал почти никакого горя. Странно — даже некоторое облегчение. То, что сейчас перестало дышать, уже давно не было Верой Николаевной. Образ матери остался где-то реально существующим вне этого жалкого, теперь бездушного тела.

Господи, какой я жестокий, — с ужасом подумал Павел. — Что теперь надо делать? Кажется, пока она не остыла, надо сложить на груди руки.

Он опять наклонился к телу. Надо еще плотнее закрыть глаза — другим может показаться неприятным, как она глядит из-под век. Руки были еще гибкие и легли на грудь. Надо сказать Марье Петровне. Странно, я мыслю совсем нормально и ничего не забываю... Кстати, надо умыться.

Павел вышел в сени, взял железный ковш и налил в белый эмалированный таз воду из широкого железного ведра.

— Ну, как? — Марья Петровна, неслышно ступая босыми ногами, подошла сзади. Ну, как? — повторила Марья Петровна.

Павел повернулся и хотел сказать, что... хотел, и не мог выговорить — как будто, пока не было произнесено это страшное слово, всё происшедшее могло иметь какое-то совсем другое значение.

Глаза Марьи Петровны расширились, толстое лицо побледнело, рот исказился смешной гримасой. Павел повернулся к тазу и, когда хозяйка зарыдала, начал умываться холодной, пахнущей железом водой.

Широкая грязная дорога шла лесом. Больше всего листьев сохранилось на дубах. Осень окончательно подготовила природу к морозам и снегу. Трава засохла, сорванные с деревьев листья почернели от дождей, птицы улетели. Только пестрые синички продолжали стрекотать на голых ветках.

После похорон Павел один возвращался в город. Вдруг радостное чувство свободы кощунственно вторглось в душу. Откуда это глупое неуместное чувство, — подумал Павел. — Без нее мне будет только тяжелее. Зато рискуя, теперь надо думать только о себе: «Не дожила...», — с болью в сердце вспомнил он слова профессора, друга матери. «Не дожила» — значило: не дожила до освобождения России. Доживем ли мы? Об этом не надо думать — я обязан бороться и у меня нет для этого больше никаких препятствий. С момента смерти Веры Николаевны Павел почти не вспоминал Нату.

Лес кончился и началось широкое, уходящее в холмистую даль поле. Над полем висели низкие, серые облака. Свежий ветер дул в лицо и заставлял наклонять голову.

Глава четвертая.

КОТЕЛ 1929 ГОДА

— Я удивляюсь вашей неактивности. Чисто религиозные вопросы очень важны, но сейчас такой момент, когда страна кипит, как котел. Большевики стараются прекратить кипение, герметически закупорив этот котел, но такой метод может привести только к общему взрыву.

Лампа была ввинчена в патрон, приделанный прямо к спускающемуся с потолка проводу. Абажуром служил кусок слоновой бумаги, свернутой коронкой и скрепленной черной английской булавкой. Стол был накрыт газетой и завален книгами и журналами. Димитрий Димитриевич кутал рыхлое пятидесятилетнее тело в грубую солдатскую шинель, заменявшую ему пальто, шубу и домашний халат. Желтоватый свет лампы отражался на лысой голове, бросал глубокие черные тени от крупных складок обрюзгшего лица и блестел в возбужденных серых глазах.

— Один из моих племянников учится в сельскохозяйственной академии. Недавно он ездил в Центрально-Черноземную область. В деревнях определенно назревает восстание. Мы не можем сидеть в такой момент сложа руки. Вы не связаны семьей, вы студенты. Мой племянник и его ближайшие друзья уже давно создали подпольную группу.

Павел насторожился.

— Простите, а как зовут вашего племянника? Я спрашиваю потому, что знаю некоторых студентов академии.

Димитрий Димитриевич замолчал и по лицу его пробежала неприятная тень.

— Простите, теперь не принято спрашивать фамилии, но поскольку вы со мной были так откровенны...

— Я вам вполне доверяю, иначе наш разговор был бы невозможен, — перебил с досадой Димитрий Димитриевич. — Его фамилия Золотарев.

Надо его проверить, — решил про себя Павел.

Назвав фамилию Золотарева, Димитрий Димитриевич замолчал и выжидательно глядел на собеседника. Необходимо было что-то ответить.

— Я думаю, — сказал Павел, — что вы недооцениваете силу ГПУ. Агентурная сеть настолько сильна, что любая подпольная организация обречена на неизбежный провал.

В глазах Димитрия Димитриевича появилось выражение неловкости, опасения и досады за несвоевременно начатый разговор — состояние, хорошо знакомое Павлу по опыту собственных неудач. На мгновение ему даже стало жаль старого друга отца и захотелось прекратить игру в прятки, но правила конспирации требовали предварительной проверки связей Димитрия Димитриевича, тем более, что неосторожное упоминание фамилии Золотарева заставляло быть осмотрительным и в то же время давало в руки Павла нужные нити.

— Боясь агентов ГПУ, мы никогда не сумеем освободить Россию.

Димитрий Димитриевич продолжал разговор уже без всякого увлечения, только чтобы не обрывать сразу, повидимому, считая игру проигранной.

Павел встал и начал прощаться.

— Вы не думайте, Димитрий Димитриевич, что я очень боюсь ГПУ, — сказал он пожимая большую мягкую руку адвоката, — если вы мне докажете целесообразность риска, я переменю свое мнение.

В глазах Димитрия Димитриевича сверкнула надежда.

— Заходи, заходи, Павлик, — сказал он опять прежним дружеским тоном, — мы еще с тобой до чего-нибудь договоримся.

Чтобы сократить дорогу, Павел прошел через Москва-реку. Мороз на льду чувствовался еще сильнее. Ночью река казалась шире и мрачнее. Дома на набережной и громада фабрики «Красный Октябрь» на острове между рекой и каналом, казалось, дремали, укрывшись морозной мглой. Снег хрустел громко и отчетливо.

Каково сейчас ссыльным на севере! — подумал Павел и поежился. На узкой тропинке, тянущейся темной полоской к противоположному берегу, не было ни души. Однако, если даже такие люди, как Димитрий Димитриевич, заговорили о подпольной деятельности, значит момент в самом деле острый. Павел вспомнил, как несколько лет назад Димитрий Димитриевич в той же солдатской шинели заходил «на огонек» к Вере Николаевне. Павел знал от матери, что в молодости Димитрий Димитриевич был страшным ловеласом и прожигателем жизни. Революция скрутила блестящего адвоката физически и нравственно, солдатская шинель была видимым символом этого упадка. Павел давно заметил, что люди, подобные Димитрию Димитриевичу, редко умели приспосабливаться к советскому режиму: они были слишком честны, чтобы, решительно перестроив жизнь, довольствоваться аскетическим минимумом, не падая духом. Поэтому Павел никогда серьезно не смотрел на Димитрия Димитриевича, а теперь Димитрий Димитриевич сам вдруг неожиданно заговорил о подпольной работе. Вот уж никак не ожидал! — удивлялся Павел.

Узкие переулки между Остроженкой и Москва-рекой казались родными и уютными после холодной пустоты реки. Через густо замерзшие окна таинственным теплом светилась жизнь.

Павел подошел к длинному одноэтажному особняку и три раза стукнул по мохнатому от инея стеклу. В комнате зашевелилась какая-то тень и приглушенный голос крикнул: «Сейчас открою!».

Павел подошел к деревянной калитке. С другой стороны заскрипели легкие шаги. Железный запор щелкнул, калитка отворилась. Павел хотел войти, но коренастая фигура Григория загородила дорогу. Серые жесткие глаза пристально посмотрели на Павла, по некрасивому лицу пробежала гримаса, похожая на улыбку, чуть-чуть заискивающий голос произнес:

— Уходи скорее, я заразный... вчера ночью был обыск — приходили за старшим братом, к счастью, он уехал в командировку. Поднимали полы, искали оружие и литературу... Уходи скорее, я заразный.

Павел не нашелся, что сказать от неожиданности и молча протянул Григорию руку. Глаза их встретились и оба поняли, что всё теперь ясно, можно друг другу доверять полностью, взаимная проверка кончена. Это продолжалось одно мгновение. Тяжелая калитка вторично щелкнула. Павел медленно пошел домой, анализируя всё происшедшее за этот странный вечер.

Григорий, поеживаясь от холода, вернулся в комнату. Мать с мучительным беспокойством посмотрела на него.

— Кто там опять приходил?

Григорию было жаль эту старую, слабовольную женщину и, вместе с тем, поминутно брала досада за ее слабость.

— Не бойся, не ГПУ, — ответил он грубее, чем хотел.

Старушка съежилась и ушла в свою комнату. Григорий сел в угол на зеленый ширпотребовский диван. Противное беспокойство не оставляло ни на минуту, кроме того, было обидно, что опять, не желая, оскорбил мать.

Ничего, пойдет в свою комнату, помолится и успокоится, — отмахнулся он от назойливого чувства жалости.

Посередине комнаты, над столом, склонялась гибкая фигура брата Алексея, заканчивавшего срочный

чертеж. Алексей работал молча, не обращая внимания ни на мать, ни на брата. Красивый парень, — подумал Григорий, глядя на греческий профиль брата, — неужели когда-нибудь и его посадят!

Неприятное тошнотное беспокойство усилилось. Жаль будет, если Алешка попадет — самый молодой и еще глупый. Григорий достал пачку «Дели», вынул две папиросы и бросил одну брату. «Закурим!». Алексей перестал чертить и сел на стул напротив брата.

— Телеграмму Василию послал? — спросил Алексей.

— Послал, — кивнул головой Григорий, пуская дым кольцами. — Если сумеет еще раз переменить службу и заберется на полгодика в тайгу, всё может обойтись благополучно.

Брат Василий кончил лесной техникум и уехал в Сибирь на практику. Теперь ему была послана телеграмма с советом подольше не возвращаться в Москву. Это был один из способов избежать ареста.

— Как ты думаешь, в чем дело, какой-нибудь донос? — спросил Алексей.

— Конечно, донос, — ответил Григорий, стараясь быть спокойным.

— У тебя бывает слишком много народа, — осторожно начал Алексей, — этот Истомин совсем махровый контрреволюционер. С такими людьми надо быть очень осторожным.

— Истомин и не знает Василия, — раздраженно ответил Григорий, — а на меня пока никаких доносов нет, иначе бы вчера арестовали.

Алексей докурил, подошел к столу и опять начал чертить молча и сосредоточенно. Григорий подряд закурил следующую папиросу и задумался: Алеша ничего не понимает. Истомин, правда, похож на слюнявого интеллигента и немножко противен со своей всегдашней вежливостью, но он не трус и не предатель. Когда

я ему сказал об обыске, он ни капельки не испугался, — парень крепкий.

Григорий с некоторым удивлением почувствовал, что этот высокий, тонкий молодой человек из чужого далекого круга «бывших людей» начинает его чем-то к себе притягивать. — Однако, хороша рабоче-крестьянская власть! Чем им мог помешать Василий, старый комсомолец, сын рабочего?

Григорий стал мучительно перебирать в мозгу все события последнего года и вдруг вспомнил:

Полгода тому назад Василий поспорил с комсоргом техникума по вопросу о начавшемся раскулачивании. Василий прямо сказал, что зажиточные крестьяне и кулаки не одно и то же. Крепкий крестьянин, потом и трудом создавая свое относительное благополучие, делается основой государственного благосостояния. Настоящий кулак — это деревенский ростовщик, иногда лавочник, да и то не всякий лавочник эксплоатировал бедноту, многие наоборот — помогали бедным односельчанам. Наверное он и донес, — решил Григорий. Эх, — подумал он опять с досадой, — говорил ему, что надо не болтать, а начинать активную борьбу молча — не хотел. Теперь сядет и не будет знать, за что!

На минуту Григорий почувствовал себя одиноким и непонятым, но перед глазами вдруг встало лицо Павла — спокойное, уверенное и понимающее.

Павел шел по улице и подробно обдумывал план вовлечения Григория в организацию.

Надо выждать, чем кончится история с обыском, — размышлял он, — по всей вероятности уехавший в командировку брат будет спасен своим отсутствием. ГПУ перешло на массовые методы работы: идет не снайперская стрельба по отдельным целям, а обстрел целых участков фронта противника — ушел человек с участка и спасся, специально искать не будут. Если Григория не арестуют в ближайшее же время, с ним

можно будет безопасно продолжать работу. Его реакция на обыск? Как он предупредил меня об опасности — выражение лица и глаз определенно доказывает, что такой человек не может оказаться агентом.

Павел вспомнил свое первое знакомство с Григорием.

Прошлой весной, решив заняться аппаратной гимнастикой, Павел записался в один из спортивных клубов. Помимо спорта, это давало возможность создания подпольных групп в спортивной среде. В большом зале выстроилось человек 50 гимнастов. Перед строем появилась сутуловатая фигура инструктора с грубым лицом и жесткими глазами. Григорий был знаменитым на всю Москву тренером баскетбольных команд, но одновременно занимался и аппаратной гимнастикой.

Вольные движения закончились бегом между расставленными по залу в шахматном порядке булавами. Инструктор бежал впереди, не задевая неустойчивые булавы. Кто-то из середины бегущей цепочки сбил одну булаву. Вдруг на группу напало озорное настроение — мгновенно булавы полетели в разные стороны. Григорий закончил круг, перешел на шаг, выстроил группу и стал перед строем. Озорное настроение моментально исчезло.

— Если вы сбили булавы только по своей неловкости, то я с сожалением скажу, что вы не гимнасты, а медведи, — начал он медленно, чуть заикаясь, — если же вы сделали это не только по неловкости, но еще и нарочно, то я скажу, что вы вдвойне медведи, т. к. это значит, что вы распущены не только физически, но и морально.

Серые глаза сурово пробежали по пяти-десяти лицам. Группа замерла, всем было стыдно.

Глава пятая

В УНИВЕРСИТЕТЕ

Историю партии читал известный лектор, крупный коммунист из старой Ленинской гвардии. Бывшая богословская, теперь коммунистическая аудитория Московского Университета была полна. Павла всегда неприятно поражало впечатление грубости и неопрятности, вызываемое у него студенческой толпой. Период, когда для комсомольца считалось зазорным надеть белый воротничок и повязать галстух еще не кончился. Большинство студентов состояло из бывших рабочих, рабфаковцев, прошедших по партийным путевкам. Это были грубые великовозрастные парни, небритые, бедно и небрежно одетые, жившие в плохих общежитиях, редко ходившие в баню, но упорные и настойчивые. Уже много лет спустя, после окончания университета, Павел иногда поражался, как изменились внешне, а иногда и внутренне его товарищи по факультету. Конечно, не все, но многие, работая в институтах и редакциях, стали совсем интеллигентными людьми. В университете этого изменения почти не чувствовалось.

— Истомин, ты еще не уплатил членские взносы в МОПР.

К Павлу подошла высокая черноглазая Игнатьева.

— Подожди, заработаю уроками — заплачу, — неохотно ответил Павел.

Девушка ничего не сказала, но с осуждением взглянула на новые, хорошо разглаженные брюки молодого человека, неосторожно высовывавшиеся из-под поношенного пальто.

Нет хуже активисток, — с досадой подумал Павел, проходя дальше, — сейчас же заметила, что купил новые брюки, а в МОПР не заплатил.

В проходе стояла группа, продолжавшая, повидимому, давно начатый спор...

— Империалистическая тенденция крупного капитала, — громко напирая на слово «тенденция», говорил высокий студент, самодовольно поднимая белобрысую голову, — основная мысль моего доклада...

Бирюков считался одним из самых умных и талантливых студентов.

Ни рыба, ни мясо, — подумал Павел, проходя дальше, — подкоммунивает. В партию не идет — ни Богу свечка, ни чорту кочерга.

Протискиваясь через группу, собравшуюся около Бирюкова, Павел наткнулся на Боброву, конечно, стоявшую тут же... Мелкозавитыми волосами и особой формой носа Боброва напоминала папуаску. Она была умнее своего всегдашнего спутника Бирюкова, но еще самодовольнее и наглее.

В середине аудитории Павел заметил кудлатую голову Миши Каблучкова, но даже не поздоровался: членам организации не полагалось показывать свою близость.

— Пойдем, Истомин, сядем вместе, — на плечо Павла легла небольшая крепкая рука.

— А, Григорьев, — обернулся Павел.

Григорьев, парторг юридического факультета, был стопроцентным продуктом советской системы. Наследственный пролетарий, грубый, хитрый, прекрасно понимавший законы человеческих взаимоотношений в коммунистическом государстве, уже начавший подъем по партийной лестнице, руководитель партийной группы самого партийного факультета, в то же время обладатель ясного, чисто русского народного ума, воспринимавшего все явления с юмором и смекалкой. Иногда он поражал аскетически настроенного Павла своим цинизмом:

— Был вчера у приятеля, выпили, — рассказывал Григорьев, сыто улыбаясь, — попалась какая-то рожа

— гостья... Ты всё в стиле буржуазно-помещичьей романтики, — хитро прищуривался Григорьев, замечая тень отвращения на лице Павла, — ну, а я по пословице — подбирай то, что попадется, рожу, так рожу... Бог увидит — хорошую пошлет...

Умные глаза Григорьева после таких шуток с интересом следили за выражением лица Павла. Один раз Григорьев прямо спросил, идя с Павлом из университета в Ленинскую библиотеку: — А ты, Истомин, в Бога веришь?

Павел посмотрел в лицо парторга и ответил, не опуская глаз:

— Верю, а ты?

Григорьев, повидимому, не ожидал такой прямоты, помрачнел и вместо ответа задумался.

— Знаешь что, Истомин, — сказал он через некоторое время, — я тебя уважаю: ты не подлизываешься. Знаешь, — голос парторга чуть-чуть дрогнул, — велика ли моя должность — парторг факультета и только, а знаешь, надоело... все подлизываются, даже эти умники, Бирюков и Боброва — и те подлизываются, еще хуже, чем... — Григорьев замолчал и с досадой плюнул.

Павел и Григорьев прошли по ряду к центру зала. На ряд выше, чуть-чуть наискось, сидела хорошенькая девушка с умным лицом в изящной шапочке. Девушка что-то читала вместе с смазливым откормленным молодым человеком. Головы их близко склонились одна к другой.

— Дочка Вышинского, — подмигнул Григорьев, — со своим хахалем — будущий прокурор. Тоже шкуру с людей спускать будет, — наклонился он совсем к уху Павла.

Аудитория затихла. К кафедре быстрым шагом шел невысокий мужчина лет пятидесяти с простоватым круглым лицом, в поношенном синем костюме, плотно облегающем крепкую коренастую фигуру. Бросив небрежно портфель на кафедру, профессор повернулся к

аудитории и начал лекцию, свободно, не заглядывая в конспекты, с приемами опытного оратора, а не лектора. Павел давно заметил пристрастие профессора к начальному периоду русской революции. Он много и с увлечением рассказывал о Германе Лопатине и революции 17-го года. Сталинский период увлекал профессора меньше, лекции становились вялыми и бесцветными, хотя привычка говорить интересно помогала освещать затверженную ортодоксальность нудного повествования неожиданными блестками остроумия. Павел всегда с интересом ожидал этих лирических отступлений. На этот раз профессор еще более обычного вышел из границ дозволенного:

— Вот, товарищи, — почти неожиданно обратился он к аудитории, — мы с вами говорили о том, что настоящая свобода существует только у нас, а как вы объясните такой факт? В 1922 году я путешествовал по Германии, объехал много городов, иногда ходил пешком один, без всяких провожатых. И вот, в немецких пивных, а пивные у них напоминают наши клубы, я постоянно видел, как собирались представители разных партий, в том числе социал-демократы, и все свободно высказывали свои мнения. Полиция никого не арестовывала, а у нас троцкисты и те разгромлены... Голос профессора стал напряженным и в абсолютной тишине смело звучал на всю аудиторию.

— Нельзя ли из этого сделать вывод, что в Германии свобода, а у нас нет?

Павел почувствовал, что всем стало страшно. Профессор вдруг замолк, аудитория замерла в зловещей тишине.

— Конечно, вы все, и я вместе с вами, — заговорил опять лектор совсем другим, скучным голосом, — легко опровергаем такую ложную постановку вопроса. В буржуазной Германии рабочие не имеют ничего: все фабрики, заводы, пресса и государственный аппарат находятся в руках капиталистов и эксплоататоров. У

нас рабочие управляют всем этим и потому настоящей свободой пользуемся мы, а не они.

Григорьев и Павел вышли на улицу. Лицо Григорьева было мрачно.

— Эх, выпить бы! — выдавил парторг сквозь стиснутые зубы.

— Следующая лекция по истории империализма, Лукина, — осторожно напомнил Павел.

— Не пойду, — решительно отрезал Григорьев.

Неожиданная мысль блеснула в уме Павла:

— Знаешь, сегодня похороны знаменитой русской артистки... заупокойная литургия в церкви Большого Вознесения, совсем близко. Служит архиепископ Трифон, архиерей очень образованный, умный и прекрасный проповедник. Пойдем, наверно, ты таких служб еще никогда не видал.

Мрачное выражение лица Григорьева сменилось удивлением и даже стало несколько растерянным.

— Ну, что же, сходим, — наконец, решил он и в серых хитрых глазах парторга блеснуло озорное любопытство.

Большой ампирный храм был полон, стояли плечом к плечу. Невысокий Григорьев совсем потерялся в толпе и сразу утратил свой обычный апломб. Величественные заупокойные песнопения звучали над толпой. «Отче Наш» пропели молящиеся.

— Будем петь все, — обернулся протодьякон с амвона и повел общенародный хор звонким металлическим баритоном.

Середина храма была полна мужчинами. Москвичи привыкли и любили петь всем народом — храм дрогнул от торжественного гимна.

Павел искоса взглянул на Григорьева. Лицо парторга было бледно, на лбу от непривычной тесноты выступил пот.

«Но избави нас от лукавого»... И сразу наступила тишина.

На амвоне, вместо высокого, широкоплечего протодьякона, появилась худенькая фигурка старика. Старчески проникновенный и в то же время неожиданно мощный голос заговорил:

— Таинственны явления смерти и рождения. Пути Господни неисповедимы. Невидимая рука направляет материальные процессы физической жизни. Из неведомого нам небытия, темной стезей утробного развития родится на земле новый гений, очаровывающий человечество своим дивным дарованием, разгорается необыкновенным светом и внезапно тухнет, сходит опять в неведомое небытие. Значит ли это, что все земные ценности безвозвратно исчезнут после физической смерти, как говорят материалисты, или есть что-то, что не поддается тлению?

Толпа замерла. Голос проповедника стал громче и тверже. Павел опять взглянул на Григорьева. Он еще более побледнел, в глазах чувствовалось напряжение и мука: от ответа на вопрос зависел смысл жизни, но ответ архиепископа был предрешен и это не был ответ самого Григорьева. Павел невольно вспомнил такую же тишину, водворившуюся в зале Московского Художественного театра, когда в пьесе Горького «На дне» задается тот же роковой вопрос бытия: «А что, Бог есть?». И хотя босяцкий святой Лука и уклоняется от прямого ответа, а сам автор предрешает ответ отрицательный, в тишине, наступившей после рокового вопроса, чувствовалась неутоленная, вечная жажда веры.

— Ну, как? — спросил Павел утомленного непривычным стоянием Григорьева.

— Как? — конечно, хорошо — не сразу ответил парторг. — Знаешь, надоело повторять, подобно попугаю, то, что тебе на сегодняшний день партия мелом на доске напишет... надоело. Я попов не люблю, — раздраженно обернулся он к Павлу, — но то, что он говорил сегодня, выше жвачки, которой нас пичкают каждый день!

— Ну, и что же? — спросил Павел. На мгновение у него мелькнула мысль довести разговор до конца, но, с точки зрения конспирации, это было бы непоправимой глупостью.

— Ну, и ничего, — приходя полностью в себя, ответил Григорьев. — А ты не боишься, что я на тебя за антимарксистскую пропаганду в ГПУ донесу? — вдруг криво усмехнулся он и пошел по шумной, грохочущей трамваями улице.

Павел некоторое время стоял и смотрел на широкую спину парторга.

Кого он мне напоминает? Григорьев... Григория! — обрадовался Павел. — Да, это тот же тип, только Григорьев уже развращен партийной работой, а Григорий честен и потому сильнее... С парторгом лучше не связываться, а за Григория надо будет взяться всерьез.

Глава шестая

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ БУДНИ

Павел склонился над книгой и старался, не отвлекаясь посторонними мыслями, целиком погрузиться в подготовку к экзамену. Но мысли не давали покоя. Многое изменилось в жизни Павла за последние годы. Павел давно потерял комнату, в которой жил с Верой Николаевной — ее занял крупный коммунист, живший ранее в том же доме, а Павлу предоставили жилплощадь на окраине города в облупленном, полуразрушенном доме. Дом был полон бедноты и сомнительных личностей. Квартира состояла из четырех комнат, кухни и коридора. В одной комнате жил сапожник, такой, каких описывали в социальных романах XIX века — тихий, забитый человек с вечно беременной женой и кучей оборванных ребятишек. Сапожник работал дома, беря работу в артели, ребятишки копались на грязном полу, в комнате пахло сыростью, грязью, кислой капу-

стой и селедками. В другой комнате жила семья, повидимому, занимавшаяся воровством и спекуляцией. Туда постоянно приходили таинственные фигуры и трудно было понять, какой народ там живет. В третьей комнате, рядом с Павлом, жил бывший бухгалтер, отсидевший уже три года за растрату и ожидавший окончания еще 3 лет т. наз. поражения в правах. По его словам, это значило, что в течение 3-х лет он не имел права работать. Жил растратчик на средства жены — худенькой забитой женщины, с утра уходившей на службу и возвращавшейся поздно вечером. Пил он денатурат и за всё время совместной жизни Павел ни разу не видел соседа совсем трезвым, менялась только степень опьянения. Раз или два в день в дверь Павла раздавался неуверенный стук.

— Войдите! — говорил Павел. Дверь со скрипом отворялась, не сразу вся, а постепенно, неровными рывками. В образовавшееся отверстие высовывалась тощая, бледная фигура, одна рука опиралась на ручку, другая судорожно цеплялась за притолоку..

— Здрасьти... — Павел неохотно отрывался от книги. Вы знаете... моя жена... ик... знает французский, английский... ик... и немецкий.

— Простите, — говорил Павел по возможности вежливо, — мне очень некогда, я готовлюсь к экзаменам.

— Ах... извиняюсь... я зайду после...

Фигура исчезала так же медленно и неуверенно, как и появлялась.

К вечеру сосед напивался до такого состояния, что уже не мог передвигаться по комнате. Бедная жена, придя с работы, иногда часами не могла попасть в комнату. Тогда в коридоре раздавался нудный, безнадежный стук и измученный женский голос механически повторял: «Саша, открой, это я, проснись, Саша».

Но не мысли об отвратительной квартире и сомнительных соседях волновали и отвлекали Павла. Он уже

привык переносить внешние материальные лишения, уходил в себя, — просто игнорировал окружающую обстановку. Волновало его другое.

Минувший год не прошел даром для организации. Она выросла и окрепла. Регулярно работало несколько кружков. Человек 15 молодых людей полностью отдавались делу, около 100-150 человек оказывали ту или иную поддержку. Группы работали разрозненно и разными методами. Николай и Павел были не столько руководителями, сколько связующими звеньями организации. И вот за последнее время Павел начал чувствовать всё возрастающее беспокойство. Что-то было не так. Неприятные признаки слежки всё возрастали. Первые глупые ошибки не прошли даром. Валентин, арестованный еще давно член организации, в свое время рассказал достаточно. После этого, несколько месяцев тому назад, двоюродного брата Павла Вячеслава, совсем не члена организации, вызвали в ГПУ. Через неделю Вячеслав как-то вечером зашел к Павлу. Войдя, он тщательно закрыл за собою дверь и подозрительно осмотрелся.

— Вот что, Павел, — начал он тихо, — я твоих дел и знакомств не знаю и знать не хочу, но должен предупредить, что тобой интересуется ГПУ. Откуда я это узнал — дело мое, но имей ввиду, я точно знаю, что на тебя имеется целое дело.

Павел знал, что расспрашивать в таких случаях не полагается. Глаза Вячеслава чуть бегали, но не от подлости, а от волнения и беспокойства, в них не было ни тени враждебности, раздражения и надрыва, обычно появляющегося в глазах невольных агентов ГПУ.

— Спасибо, — сказал Павел, крепко пожимая руку Вячеславу, — мне бояться нечего. Я, конечно, не сторонник советской власти, но и вины за мной никакой нет.

— Ну, это уже твое дело, — недоверчиво ответил Вячеслав, берясь за ручку двери. — Конечно, тебя не

надо предупреждать, что этот разговор останется между нами.

— Митя арестован!

В суровом, почти холодном лице Николая сквозила жалость.

Павел невольно смутился. Он уже давно ждал этого и всё-таки неприятное известие потрясло его.

— Жаль, но, к счастью, мы уже приняли меры и арест не должен отразиться на организации.

— Может быть, не отразится... — в тоне Николая чувствовалось сомнение.

— А мать?

— Наверное теперь совсем сойдет с ума, — задумчиво ответил Николай.

— Уже целый год Митя отстранен от организации, — невольно раздражаясь, сказал Павел.

Митя, слишком порывистый и нервный, был отстранен за неосторожность. Кроме того, мать Мити, потерявшая во время революции мужа, так боялась за сына, что могла пойти на любую истерическую выходку.

— Я слышал, что он был связан с какой-то новой партией — группа крупных инженеров и экономистов вырабатывала свою программу. Митя каким-то образом сумел их обнаружить и войти с ними в контакт.

— У меня несколько иные сведения, — возразил Павел, — он, говорят, хотел использовать уголовников для приобретения подложных документов.

— Вернее всего было и то и другое, во всяком случае, мои сведения о партии верны, — Николай не проявлял никакой нервности.

— Надо организовать помощь, вероятно, мать сможет носить передачи, — сказал Павел.

Уже сделано — в нашем приходе много девушек, одна из них давно знакома с Телегиным, ей поручили помощь Митиной матери.

— Кстати, как с вашим приходом? — спросил Павел.

— Главный священник, как ты знаешь, арестован, но у нас недавно посвятили двух новых — один бывший юрист, другой — врач, они и служат. Мы на всякий случай уже начали подготовку к полному разгрому. Следующие три кандидата в священники примут тайное посвящение и не будут носить ряс.

В дверь постучали. Павел повернул страницу истории Покровского и сказал, как бы отрываясь от чтения: «Войдите!».

— Извиняюсь... моя жена знает английский, французский и немецкий...

— Простите, — почти грубо вырвалось у Павла, — мы готовимся к экзаменам.

— Извиняюсь... ик... я потом... Дверь медленно закрылась.

— Ох, уж и надоел! — тяжело вздохнул Павел. — Вот что, Николай, я наткнулся, повидимому, на две организации. Миша Каблучков в твоем ведении, у него есть знакомые в сельскохозяйственной академии. По моим сведениям, студент Золотарев из этой академии и его ближайшие товарищи создали группу. Надо проверить, что они за люди. В случае, если они действительно нам подходят, я смогу с ними связаться. Вторая группа, очевидно, создается одним инструктором волейбола. Я его наблюдаю уже целый год, около него много совсем хорошего народа. Сейчас ГПУ хотело арестовать его брата — факт этот и то, как он себя при этом держит, окончательно склоняют меня в его пользу.

— А проверял ты его со стороны? — холодно спросил Николай.

— Не проверял... постой, — вдруг сообразил Павел, — у меня есть одна возможность расспросить о нем.

— Но ты ведь говорил, что он атеист и бывший комсомолец?

— Да, бывший комсомолец и бывший атеист. Теперь он хотя и неверующий, но понимает значение религии и сочувствует православию. По правилам мы бракуем только воинствующих безбожников.

— Не забывай правил, которые сам вырабатывал, — продолжал Николай прежним тоном. — Кандидат должен быть сознательным врагом советской власти, не может быть воинствующим безбожником, должен любить родину и быть нравственным, честным человеком. Личная жизнь должна быть также изучена.

— Я же тебе говорю, что изучаю его год, — обиделся Павел, — верь моему опыту, человек подходящий...

Павел ехал в трамвае через неделю после разговсра с Николаем. Народу в вагоне было немного. Стройная молодая дама несколько раз оборачивалась и внимательно всматривалась в Павла.

Почему она на меня смотрит и где я ее видел? — думал Павел. Дама сошла вместе с Павлом, решительно подошла к нему и спросила:

— Простите, если я не ошибаюсь, вы Павел Истомин?

— Да, — удивленно ответил Павел.

— Вы меня, очевидно, не узнаете? — Дама несколько смутилась и улыбнулась. Улыбка была ясная, хорошая.

— Простите, никак не могу припомнить, где я вас видел, — в свою очередь смутился Павел.

— Я сестра инструктора Быстрова.

Павлу сразу всё стало ясным. Быстров был одним из помощников Григория, белобрысый, некрасивый молодой мужчина из хорошей дворянской семьи, не получивший, благодаря этому, высшего образования и существовавший преподаванием гимнастики. Одно время он вел спортивную группу в школе Павла и Павел

несколько раз бывал у инструктора дома. Быстров жил с старушкой матерью и двумя сестрами. Павел вспомнил, как поразило его тогда, что у такого заурядного человека, как Быстров, оказались такие умные и интересные сестры. Павлу с первого взгляда стало ясно, что это типичная семья «бывших людей», обреченных режимом на уничтожение. Быстрова поручили взять на учет, как своего человека, одной из групп, и на этом дело кончилось. Вскоре незадачливый инструктор был арестован и выслан на три года в Вологду.

— Вспомнили?

— Конечно. Простите меня, пожалуйста.

— Видите ли, — замялась опять дама, — я через две недели еду к брату на свидание, может быть, вы захотите что-либо передать ему?

Павел понял, что у Быстрова совсем нет денег и надо произвести сбор среди знакомых.

— Спасибо, — сказал он, — я к вам зайду через две недели и занесу передачу.

Сестра Быстрова в свою очередь поблагодарила Павла за заботу и память и исчезла в переулке, легкая, гибкая и несчастная.

Собирание денег для ссыльного было делом небезопасным, но интересным. Если бы Павел во время сбора натолкнулся на секретного агента ГПУ, тот немедленно бы донес, а донос мог повлечь за собой арест.

С другой стороны, именно в таком деле можно было проверить людей. У Павла был хороший знакомый старичок-доктор, знавший многих спортсменов, в том числе ближайших друзей Григория. Со старичком, конечно, нельзя было говорить о вербовке в организацию, но говорить о сборе средств для ссыльного было вполне уместно и, таким образом, открывались возможности спросить о Григории и его друзьях.

— Быстрова? Как же не знать... знаю, знаю, вот, молодой человек, как теперь надо быть осторожным. За что посадили Быстрова, никто не знает, не знает, конечно, и сам Быстров — а всё потому, что кругом много разных мерзавцев. Так и норовят на кого-нибудь донести, так и норовят!

Доктор даже рассердился и от негодования его гладко выбритые щечки покраснели, а козлиная бородка затряслась. Павел был очень рад такому обороту дела и сейчас же использовал создавшееся положение.

— Вы совершенно правы, Иван Иванович, — начал он осторожно, — теперь людей надо сначала проверить и только потом иметь с ними дело. Быстрову надо помочь, я предполагал обратиться к его старым товарищам спортсменам, например, к Григорию Сапожникову и Юрию Чернову. — Чернова Павел назвал, зная, что он близок к Григорию. — Вы их знаете лучше меня, как по-вашему, не подведут?

— А, Юра Чернов? Как же — сын моего покойного приятеля, конечно, конечно... Юра? Ему вы можете доверять, как мне. Юру я еще маленьким знал — под стол пешком ходил... — Старичок одобрительно закивал головой. — Что касается Сапожникова, знаю мало. Ничего плохого сказать не могу, но знаю мало, — доктор развел руками, — а вы вот что — идите вы сначала к Юре. Я ему записку напишу. Ведь вы его адрес знаете?

— Нет, я у него дома не бывал.

— Ну, тогда сходите на стадион, знаете стадион общества пищевиков? Он недавно переехал на новую квартиру, я знал только его старый адрес. Сходите, передайте мою записку и посоветуйтесь насчет Сапожникова. Они хорошо знакомы, он вам всё о нем расскажет. Ну, с Богом... Вот для Быстрова 25 рублей, а насчет осторожности вы правы: теперь надо быть осторожным.

Павел ушел, довольный своей выдумкой. — Иван Иванович хоть и не умен, но знание человека с пеленок

может заменить ум, а Чернов, повидимому, очень умен — его характеристика Григория будет весьма ценной.

Павел застал Чернова на беговой дорожке. Осторожно ступая шипами беговых туфель, Чернов прошел следом за Павлом к лавочке, сел, перекинул одну гибкую ногу через другую и спокойно посмотрел на собеседника. Павел передал записку Ивана Ивановича. Чернов мгновенно прочел ее, как бы схватив сразу одним взглядом, и сказал так же холодно и спокойно, как глядел:

— Я готов помочь вам чем только могу.

Павел уже давно собрал кое-какие сведения о Чернове. Блестяще способный, волевой, Чернов был сыном очень известного врача. Три года подряд он выдерживал первым конкурсные экзамены в высшее техническое училище и три раза его не принимали по социальному происхождению. Теперь Чернов, отчаявшись в возможности получить высшее образование, налег на спорт и уже сильно выдвинулся в легкой атлетике. Это был как раз тот тип людей, за которыми особенно охотился Павел, но в то же время в умном, самолюбивом лице спортсмена было нечто возбуждающее подозрительность Павла. Такой человек, если ему будет нужно, ни перед чем не остановится.

— Вы, конечно, знаете Быстрова?

— Знаю, — Чернов охватил Павла одним взглядом, как только что схватил письмо.

— Быстров находится в ссылке на севере. Я встретил его сестру, она едет на свидание, надо собрать денег на передачу.

Чернов молча достал бумажник и передал Павлу не считая пачку трехрублевок.

— Молодец, — подумал Павел, — я предполагал, что он более расчетлив. — Как вы думаете, к кому можно еще обратиться? — спросил Павел.

— А к кому вы предполагали сами?

На одну секунду подозрительность усилилась в

душе Павла. Может быть не спрашивать? Нет, уже поздно останавливаться.

Я хотел обратиться к Сапожникову. Как вы думаете, можно ему доверять?

Взгляд Чернова погас и ушел куда-то в темноту.

— Сапожников человек совсем наш, — сказал он просто и дружески.

— Вы ведь его давно знаете? — небрежно спросил Павел.

— Да, очень давно, когда он еще был в комсомоле... — Черные глаза чуть-чуть усмехнулись.

— Очень вам благодарен.

— Если надо будет еще кому-нибудь помочь, я к вашим услугам.

Павел от всего сердца пожал тонкую сильную руку. Идя по улице, Павел всё время обдумывал детали разговоров с Иваном Ивановичем и Черновым. Вдруг одно странное обстоятельство пришло ему в голову: почему Чернов ничего не сказал об обыске у Григория? Он должен был об этом знать. Нет, мог и не знать: такие вещи остаются неизвестными иногда самым близким людям. А всё-таки это свидетельствует о том, что Григорий говорит ему не всё. Если у Григория и есть организация, то Чернов в нее наверное не входит.

Глава седьмая

ГРИГОРИЙ

Прошел месяц после обыска у Григория. Опасность как будто бы миновала, но настроение его нисколько не улучшилось. Став врагом советской власти, Григорий внешне оставался вполне советским человеком: произносил на клубных собраниях стандартные речи, скопированные с передовых «Правды», призывал под-

писываться на заем, не пропускал демонстраций — одним словом, делал всё, что полагается делать лояльному советскому гражданину. Одновременно он подбирал единомышленников. В технике подбора и вербовки Григорий уже давно пришел к той же системе, которой придерживалась группа Павла и Николая, с той только разницей, что проблемы глубоких душевных сдвигов были ему чужды и непонятны. Зато техника внешней проверки и понимание психологии молодежи совсем советского воспитания были у Григория на еще большей высоте. Григорий исходил из очень простых и общедоступных положений: правящий слой царской России устарел, отстал от жизни и разложился. Революция очистила путь для выдвижения нового слоя, вышедшего из недр народа. Энергичная, руководимая умным и сильным Лениным группа большевиков воспользовалась моментом междувластия и узурпировала завоевания всего народа. НЭП был необходимой поправкой нереальных идей коммунизма — гибкий Ленин пошел на требуемые народом уступки. Сталин хочет опять повторить старые ошибки, стало быть, народ опять будет готов к восстанию и свержению неудовлетворяющей его требованиям кучки. Важно не пропустить удобный момент и собрать к этому времени достаточно энергичную и многочисленную группу, способную организовать вооруженное восстание. Переубеждать и особенно перевоспитывать никого не надо, это бесполезная и даже вредная работа: здоровые элементы отсеются сами, а кто не способен разобраться, тот либо дурак, либо мерзавец и карьерист. Обе категории могут только засорить любую организацию. Программы тоже никакой не надо. Лозунга кронштадтских матросов — «Советы без коммунистов» вполне достаточно, тем более, что в НЭП это почти и было осуществлено. Вопросы религии и материализма — частное дело каждого. Попы разложились, их теперь поразогнали. Конечно, гонения на религию надо прекратить,

тем более, что большинство крестьян верит в Бога и исторически православие имеет много заслуг перед русским государством. Этим требованиям удовлетворяли многие товарищи Григория. Единомышленники были уже в Ленинграде и Нижнем Новгороде. Виделся с ними Григорий на различных соревнованиях, коротко делился сведениями о ходе отбора и об изменениях общих настроений, знал каждого до тонкости и в самое последнее время перед обыском уже хотел создавать координационный центр для руководства планомерным проникновением в армию и в важные, в военном и политическом отношении, учреждения. Политический карантин, вызванный обыском, и неясность судьбы брата заставили Григория приостановить всю свою деятельность. И вот тут-то на него нашли сомнения. Бессонные ночи с ежеминутным ожиданием ареста, слезы и непрерывные молитвы матери заставили Григория углубиться в те вопросы, которые он раньше считал второстепенными и ненужными.

А если они что-то обо мне узнали, если попытка ареста ни в чем неповинного брата просто ловкий обман и маскировка, если они хотели обнаружить нити моей организации? Кроме того, имею ли я право рисковать семьей? Ну, предположим, мать уже стара и ей не грозит опасность, но Алеша и Леночка? Леночка была сестрой Григория, самым младшим ребенком в семье. Отчаяние охватило Григория при одной мысли об этом. — Могут арестовать и сразу пустить в расход... — думал дальше Григорий. Смерть впервые стала перед ним — близкая, простая и реальная. — Что там за этой черной бездной, пустота? Странно всё-таки, как это ничего не будет? Может быть, когда-нибудь наука совсем просто и здраво разрешит и эти вопросы... Но как их можно вообще разрешить? Вот в математике вопрос о бесконечности не поддается никаким правилам, просто он их отрицает: бесконечность деленная на бесконечность равна бесконечности. Какое

же это решение? Это отказ от всякого решения. А как вообще можно себе представить вопрос бесконечности? Перед глазами Григория встало бесконечное звездное небо. Если продолжать прямую вверх, то она нигде не встретит препятствия. Как это может быть? Григорию вдруг стало жутко. Всему должен быть какой-нибудь конец. Что же тогда, выходит, что у неба есть потолок, твердь небесная, как представляли себе в древности. А что за потолком? Тьфу, получается чепуха! Нечего забивать себе голову проблемами, которых всё равно разрешить нельзя — этак, чего доброго, и в Бога уверуешь! Да, но если посмотреть на дело совсем с другого конца: для свержения коммунизма кому-то надо погибнуть и это считается высшим героизмом, но какой прок человеку в героизме, если он превратится таким образом в ничто, а через 50 лет те, за кого он погибал, тоже обратятся в ничто. Нет, на этом остановиться невозможно, тут должно быть какое-то решение... Григорий совсем измучился. Не надо распускаться — это у меня просто напросто от перенапряжения нервы сдали. Успокоюсь, отдохну и всё пойдет само собой. Но Григорий так и не успокоился.

Однажды, когда Павел по обыкновению сидел и занимался, раздался стук. В комнату вошел Григорий. Лицо его осунулось, глаза глядели сосредоточенно.

— Пришел поговорить по душам, — начал он без обиняков. — Как видишь, меня еще до сих пор не арестовали.

— А как брат?

— Получил письмо на имя одного приятеля — переменил работу и уехал в тайгу в экспедицию. Пишет, что полгода будет так далеко от почты, что вестей о себе подавать не сможет.

— Молодец! — от всего сердца одобрил Павел.

— Молодец, — подтвердил Григорий. Помолчали.

— Ну, а как твои настроения? — выжидательно спросил Павел.

— Настроение лично у меня неважное, но дела это не меняет.

— Какое дело?

Григорий посмотрел прямо в глаза Павлу и невольно усмехнулся.

— Вот что, Павлуха, — сказал он просто, — пора кончить игру в прятки, довольно друг друга обнюхивали, давай договариваться.

— Давай, — также просто согласился Павел. — Давно работаешь?

— Года два, а ты?

— Мы года четыре.

— Много у тебя народа?

— Таких, чтобы уже всё было договорено, не так много. Большинству мы вообще ничего не говорили — просто держим на учете. А у вас много?

— У нас такая же картина. Определенно работает человек 10-15, но за каждым на круг надо считать не меньше десяти еще.

— А из какой среды твои люди? — спросил Григорий.

— Интеллигенция и интеллигентная молодежь, очень немного рабочих, да и то из бывших людей.

— У меня, главным образом, хороший спортивный молодняк, зеленый еще, но напористый.

— А как, у вас есть связи среди крестьян? — в свою очередь спросил Павел.

Григорий задумался.

— Есть один золотой человек, да давно я его не видал. Собственно он уже завербован, только связь с ним до сих пор была нерегулярная.

— Я думаю, что с началом ликвидации кулачества главной нашей базой должна стать деревня, — сказал Павел.

Григорий помолчал.

— Слишком мы слабы, — сказал он наконец с досадой. — Я раньше думал, что действовать придется

позднее и к тому времени всё само собой будет готово, а сейчас вижу, что вода в котле уже закипает, а суп заправлять нечем.

— А как у вас с воспитательной и идеологической работой?

Григорий нахмурился.

— А как тут еще воспитывать? — Мы вербуем только тех, кто уже сам во всём разобрался, остальные разберутся позднее, либо вообще нам не нужны.

Павел покачал головой.

— Ты был бы, может быть, прав, если б в стране была свобода слова, — сказал он. Беда в том, что большевики уничтожают не только людей, но и книги и идеи. Стихийный, непосредственный протест главный залог успеха, но его надо оформить организационно и идейно и, может быть, еще морально. Недаром большевики так усиленно создают нового человека. Люди, лишенные исторической традиции, религии и нравственности становятся невольным орудием власти, основавшей свое господство на использовании низменных инстинктов и моральном разложении своих подданных. Покуда аппарат властвования находится в цепких руках людей, не останавливающихся ни перед чем для достижения своих целей, а народ систематически обескровливается уничтожением всего самостоятельно мыслящего и способного к сопротивлению, стихийная революция возможна только в случае войны или сильного ослабления партии взаимной борьбой за власть между различными группировками. Да и то, даже в самом благоприятном случае, нужна будет большая организация с широкой, гибкой, но в то же время внутренне цельной программой и, конечно, руководители такой организации должны быть людьми идеологически зрелыми и хорошо образованными.

Григорий глубоко задумался — постановка вопроса в таком разрезе никогда не приходила ему в голову.

— Кроме того, — продолжал Павел еще с большим

увлечением, — мы не знаем, сколько времени нам придется дожидаться благоприятного момента для активных действий и какие испытания придется перенести до этого. Только религия может действительно спаять людей между собой и спасти их от неизбежного загнивания в такой давящей, безнадежной обстановке, как теперь.

Григория даже кольнуло в сердце — это было как раз то, о чем он решил не думать и что неотвязно преследовало его с момента душевного потрясения, вызванного обыском.

Неужели этот восторженный, недостаточно практичный юноша знает что-то такое, чего не знаю я? — с досадой подумал Григорий и переменил разговор.

— Я думаю, что уже теперь надо стараться найти подходящих людей во всех крупных учреждениях, на всех фабриках и заводах и дать им одно только задание: учесть заранее, кого надо будет потом отстранить, кого уничтожить и на кого можно будет опереться в случае переворота.

На этот раз удивился Павел.

— Для этого пришлось бы создать огромную организацию, вряд ли это вообще возможно, — сказал он.

— Может быть, попробовать охватить такие объекты, как МОГЭС?[1].

— МОГЭС не подкачает! — сказал Григорий не без некоторого удовлетворения. — У меня там уже есть свои люди, а потом, для такого дела на первый случай надо иметь только по человеку на предприятие. Теперь народ пошел тертый — каждый примерно знает, на кого в его учреждении или предприятии можно положиться, на кого нельзя. Остальное придется доделывать после начала активных действий.

---

[1] МОГЭС — Московская Государственная Электрическая Станция.

Долго еще Павел и Григорий обсуждали детали совместной работы, делились опытом и достижениями. Во время этих разговоров обоими не было названо ни одной фамилии — говорили только об имеющихся у них возможностях. Решено было продолжать работу попрежнему и только координировать действия постоянной связью. Тут встал довольно неприятный вопрос: за обоими уже, повидимому, следили.

— Вот что, — сказал наконец Григорий, — я тебе пришлю паренька для связи. Он тебе как раз в масть — из бывших, а у меня он играет в одной из волейбольных команд и мне с ним легко встречаться в клубе. На вид он немного слабоват, но на деле исключительно выдержанный, а главное — умеет держать язык за зубами. Отец у него военный инженер царского времени, до сих пор работает. Так у них, пока Алеша вырос, 17 обысков было! Такой кремень из мальчишки вышел, что секрет у него клещами не вытянешь... У меня он уже давно работает, я его тебе пошлю для связи.

— А как его фамилия?

— Желтухин.

— Желтухин! Я про него слышал, это старая дворянская семья.

— Тем лучше, если уже знаешь, — как видишь, Москва мала! — улыбнулся Григорий. — Ну, прощай, будем теперь тянуть двойной тягой...

— Постой, у меня еще один маленький вопрос, — сказал Павел, задерживая руку Григория, — какого мнения ты о Юрии Чернове?

— А тебе зачем?

— Откровенно говоря, я через него наводил о тебе справки — у меня с ним есть общие знакомые.

— Парень свой, только очень жесткий, — сказал Григорий. — Мы его, в случае чего, в полицию назначим, — этот большевиков щадить не будет...

— А не слишком он себе на уме?

— Это ничего, мы его ни во что не посвящаем. Ты вот что, имей в виду, что брат Алексей и вообще семья не знают и знать не должны... — проговорил Григорий чуть изменившимся, даже немного дрогнувшим голосом, и вышел.

Глава восьмая

ФЕДОРОВЦЫ

Миша Каблучков зашел к Павлу и принес с собой мяса, крупы и картошки.

— Давай вместе зубрить исторический материализм, а пока готовимся, поставим варить суп — так оно выйдет дешевле и сытнее, чем переть в столовую и питаться там всякой дрянью, — сказал он покровительственно. Миша считал Павла и Николая непрактичными идеалистами и немного обижался на то, что приятели посвящают его не во все вопросы. Это случилось как-то само собой. Вначале Миша, благодаря прежнему комсомольскому опыту, часто оказывался незаменимым на общих собраниях, но постепенно, особенно когда дело стало расти и налаживаться, Миша стал отставать и перешел на второй план. Этому способствовала еще одна глупость, допущенная Мишей год тому назад. Неудовлетворенное самолюбие возбуждало его воображение и он решил, не говоря никому ни слова, заняться исследованием подмосковных лесов на случай организации партизанской борьбы и для налаживания связей среди крестьян. Миша достал собаку, похожую на волка, но не чистой породы, надел шляпу, взял компас, карту и отправился. На беду его занесло в лес около Шатурской электростанции. Охрана станции, увидя странную фигуру, да еще в шляпе, да еще с собакой, решила, что это, конечно, иностранный ди-

версант и арестовала беднягу. Двое суток просидел герой, пока наводили справки по месту жительства, два дня его не кормили. Собака сбежала сама, карту и компас у него отняли. Общее мнение было таково, что Михаил еще очень счастливо отделался, но организация не может доверять полностью лицам, способным на подобные выходки.

Теперь Михаил опять куда-то исчезал на целый месяц и, судя по таинственному виду, узнал нечто интересное. Когда кастрюля с супом была водворена на шипящий примус, а учебник по истмату открыт, Миша небрежно бросил:

— А я был только что в бывшей Воронежской губернии.

Павел вопросительно поднял глаза.

— Слышал ты что-нибудь о Федоровцах? — спросил Миша.

— Нет, не слышал, а что?

— А то! Это целое крестьянское антикоммунистическое движение.

— В чем же оно состоит?

— Это нечто вроде секты, — начал Миша с оттенком превосходства в голосе, — понимаешь, целый большой район в Центрально-Черноземной области объявил, что большевистская власть это власть антихриста, что с ней надо прервать всякое общение. Нашили на одежду кресты, отказываются платить налоги, сдавать хлеб, мясо и другие продукты, ждут, что придет князь Михаил и избавит Россию от безбожной власти.

— Ты сам там был и всё это видел? — недоверчиво спросил Павел.

— Был и видел! — даже обиделся Миша. — Уже начинаются процессы. Как всегда, хотят выявить руководителей, уничтожить головку, а затем передушить и всех остальных.

— А почему же они называются Федоровцами?

— Этого я хорошо не знаю. Очевидно, в распространении этого учения главную роль сыграл какой-то Федор.

Павел задумался. Отовсюду доходили неясные, неопределенные, но настойчиво повторяющиеся сведения о волнениях в деревне. — Неужели назревает общий взрыв? — подумал он с болью в сердце, — а мы не то что руководить и подготовить, а и узнать во время ни о чем не можем!

— Есть у тебя там свои? — спросил Павел.

— Никого.

— Как же ты ездил?

— Так вот и ездил — сел на поезд да и поехал. Я еще раньше слышал, что там что-то творится. Приехал, походил по селам и установил, что это не выдумка, а так и есть.

— А кресты нашитые видел?

— Конечно, видел!

— А говорил с ними?

— То-то и дело, что с ними особенно не поговоришь — всем чужим не доверяют. Ты думаешь, там мало агентуры шляется! Ведь это открытое неповиновение, этого, знаешь, как боятся большевики!

— Надо еще туда съездить, — сказал Павел.

— Конечно надо, да без денег не очень поедешь. Ведь чтобы что-то сделать, надо пожить, а для этого нужны деньги, которых у нас с тобой нет. Кроме того, сами они к себе не примут, а устроишься, скажем, в каком-нибудь городке около, «товарищи» сейчас же заинтересуются — зачем приехал и чем занимаешься? Я уже об этом думал, — не так оно просто...

Глава девятая

АЛЕША ЖЕЛТУХИН

С тех пор, как Павел, по рекомендации Григория, познакомился с Алешей Желтухиным, они очень подружились. Алеша представлял из себя странную смесь женственности, лени, доброты, уравновешенности, ума и выдержки. Каждое воскресенье Павел заходил за Алешей, чтобы вместе идти к обедне. Павел привык приходить в церковь к началу и стоять до конца. Алеша любил утром поспать.

— Я за тобой больше заходить не буду, — говорил каждую субботу Павел, — ты просыпаешь.

— Не сердись, — отвечал Алеша, смотря на рассерженного друга бархатными карими глазами, — вот увидишь, не просплю!

— Ну, хорошо. Только если проспишь, это будет в последний раз.

— Хорошо, хорошо, — соглашался Алеша.

На другой день Павел заходил и заставал приятеля в постели.

— Свинья! — говорил он яростно.

— Ну, не сердись... зачем понапрасну нервы трепать? Мы сейчас кофе выпьем... — Алеша сладко потягивался, зевал и, наконец, медленно поднимал худое, гибкое тело с мягкого матраца.

Никакими упреками невозможно было вывести его из благодушного состояния.

В комнату входил отец Алеши, такой же стройный, тонкий и широкоплечий, как сын, только еще выше и красивее.

— А, Павлик! — говорил он, улыбаясь в седую бороду. — А мой, как полагается, опять проспал: вчера с Джеком до двух часов ночи прогулял.

Джек был черный доберман, принадлежавший Алешиной сестре Наталии Михайловне, жившей в той же квартире с мужем и дочерью.

— Я сейчас уйду! — говорил Павел, но уже начинал чувствовать, что гнев и возмущение его тонут в ласковости и невозмутимости Алеши.

Алеша подходил к старинному мраморному умывальнику, занимавшему всю середину комнаты, наливал воду в громадный белый таз из такого же громадного кувшина и начинал медленно, с удовольствием мыться, фыркая и по временам оборачивая на друга мокрое, блаженно ласковое лицо. Павел снимал пальто и садился, всё еще время от времени чувствуя приступы возмущения.

— Я даю тебе пятнадцать минут на сборы и потом ухожу...

Алеша начинал медленно вытираться мохнатым полотенцем. В это время отец приносил из кухни кофейник и горячее молоко — Михаил Михайлович и Алеша вели свое, отдельное от Наталии Михайловны хозяйство. В тот момент, когда проходило двадцать минут, Алеша кончал одеваться и наливал приятелю стакан кофе.

— Ну вот, опять злится! Сейчас выпьем кофе и пойдем... — говорил он необыкновенно убедительным голосом.

Отец Алеши считался настолько крупным специалистом, что его приглашали на самые важные заседания в ВСНХ.

— А почему бы нам не использовать Михаила Михайловича для организации в виде консультанта? — спросил как-то Павел Алешу.

Алеша задумался.

— Видишь ли, я никогда не говорил отцу о том, что мы что-то предпринимаем, а сказать по совести, и не могу этого сделать. Мы для него еще слишком молоды

и неопытны. Таких людей, как он, можно привлекать только уже к большому, хорошо организованному делу. Он, как и всё наше старшее поколение, слишком осторожен. Сам посуди — все мои дяди расстреляны, у нас было 17 обысков, папа сидел 5 раз по несколько месяцев и освобождался только потому, что без него пока что обойтись не могут. Нет, с ним сейчас говорить не следует.

Алешина сестра появлялась редко. Когда Павел увидел ее в первый раз, у него екнуло сердце так же, как при первой встрече с Натой. Наталия Михайловна вошла в комнату Алеши на минуту, чтобы проститься с отцом перед отъездом на дачу.

— Познакомься — это новый товарищ Алексея, — сказал Михаил Михайлович с любовью глядя на дочь.

Она подошла, чуть-чуть изгибаясь при движениях, как тростинка, колеблемая ветром, и протянула длинную породистую руку.

— Алешины друзья — мои друзья, — сказал звучный, глубокий голос.

Павлу показалось, что он уже давно знает эту изящную и, вместе с тем, такую простую женщину. Поздоровавшись с Павлом, она подошла к отцу, обвила его шею, поцеловала в лоб и выскользнула в дверь, оставив в комнате ощущение ласки и свежести.

Алеша учился в сельскохозяйственной академии и Павел сразу поручил ему не выполненное Мишей Каблучковым задание по проверке группировки Золотарева. Алеша учился с Золотаревым на разных факультетах, встречался редко и поэтому было решено отложить это дело на неопределенное время — впредь до получения достаточной информации. Алеша оказался прекрасным, способным работником. Григорий не ошибся, сведя его с Павлом: психологически Алеша стоял ближе к кругу Павла, чем к кругу Григория. Очень скоро он настолько вошел в работу, что заменил

отставленного Михаила Каблучкова, и Павел познакомил Алешу с Николаем. Все вместе разрабатывали план так называемого закрепления набранных Григорием людей. Для этого специально разыскивали у букинистов и собирали необходимую литературу. Принцип неупотребления листовок, брошюр и книг совсем нелегальных сохранился попрежнему. Но и среди полулегальных, не допускаемых только в общественные библиотеки книг, можно было найти достаточно материала. Помимо Достоевского, Соловьева, Булгакова, Челпанова и других писателей идеалистов, была подобрана историко-политическая библиотечка. В нее вошли три тома «Истории революции и гражданской войны в описании белогвардейцев» — издание, составленное посредством подбора выдержек из эмигрантской литературы, тенденциозно подогнанных, но всё же дающее отрывки по 20-30 страниц из мемуаров Милюкова, Керенского, Краснова, Деникина и других бывших государственных деятелей и генералов. Кроме того, Павел и Алеша систематически скупали все переводы мемуаров, относившихся к Первой Мировой войне. Всё это давало обильную пищу для самообразования и развития политического мышления. Надо сказать, что эта литература не особенно читались группой Григория, зато несколько групп Павла и Николая систематически проглатывали книгу за книгой. Была разработана целая система чтения для обработки лиц с разными интересами и кругозором. С некоторыми, совсем равнодушными к религии, начинали даже с «Исповеди» Л. Н. Толстого, другие углублялись уже в святоотеческую литературу.

Наша задача состоит в том, — думал Павел, — чтобы создать костяк организации. В благоприятный момент он моментально обрастет массами. Массовые организации теперь немыслимы, но отобранные группы, законспирированные друг от друга, составленные из людей честных, твердых и самоотверженных, с про-

стой, короткой программой, свободные от партийной узости и находящиеся в тесной связи с народом, в благоприятный момент могут очень быстро развернуться в общенациональное движение. Самое главное приобрести опыт, получить образование и остаться на высоте в моральном отношении.

Глава десятая

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Сергей Иванович жил в чистом, опрятном домике, выходившем окнами в сад. Павел любил эти две уютные, низкие комнатки: стены, увешанные старинными гравюрами, старинные книжные шкапы... После смерти Веры Николаевны одинокий профессор стал относиться к Павлу совсем по-отечески. Павел часто по вечерам заходил к нему. Работал Сергей Иванович много и редко бывал свободен. Заседания, съезды, журнальные статьи, работа над бесчисленными книгами заставляли экономиста вести жизнь, рассчитанную по минутам. Обычно, когда заходил Павел, Сергей Иванович вставал из-за письменного стола, радостно улыбался, звал старушку-соседку, убиравшую его комнату и ведшую хозяйство, заказывал ей чай, давал в руки Павла какую-нибудь интересную книжку и говорил:

— Почитай, пока чай греется, а я еще поработаю — потом будем чаевничать и поговорим...

Павел садился в большое вольтеровское кресло с откидными полочками по бокам и погружался в чтение. Седая голова профессора склонялась над письменным столом. Было тихо и уютно. Хозяйка приносила чай и ставила на круглый полированный столик две

фарфоровые чашечки императорского завода. Сергей Иванович вставал и сам доставал из шкапчика баночку земляничного варенья.

— Ну, как живешь?

— Спасибо, хорошо живу, Сергей Иванович.

— Хорош чай?

— Очень хорош!

— То-то... покойница Вера Николаевна тоже была чаевница — всегда меня хорошим чаем поила.

— Ну, а как у вас с экономической программой, Сергей Иванович? — спрашивал Павел. Лицо профессора делалось серьезным.

— Я думаю, что после проведения коллективизации в деревне дело будет обстоять совсем просто. Раздел колхозной земли между крестьянами даст нам не менее боевой лозунг, чем раздел помещичьей земли в 1917 г. — с этой стороны всё обстоит весьма благополучно. Вот с промышленностью положение более сложное. Сейчас весь мир стоит перед одной и той же задачей: государство должно взять в свои руки какую-то часть промышленности. По-моему это должна быть военная промышленность, может быть, транспорт и недра. Вопрос идет не о социализме, а о контроле государства в том же плане, как в свое время государство сосредоточило в своих руках армию, администрацию и чеканку монеты. Как когда-то централизация государств уничтожила феодализм политический, так сейчас надо что-то сделать с феодализмом экономическим. Недаром и терминология совпадает. Теперь говорят о промышленных магнатах так же, как раньше говорили о магнатах политических и земельных. Самое главное в этом процессе — найти правильную меру и не убить частную инициативу. Когда-нибудь жизнь сама укажет простую и ясную формулу этого соотношения, пока же мы должны остановиться на том, что частная собственность в промышленности восстанавливается, но государство оставляет за собой право

контроля над недрами и предприятиями, имеющими общегосударственное и военное значение.

Как-то Павел спросил профессора о причине победы большевиков в 1917 году.

— В 1917 году победил не коммунизм, не социализм даже, — заговорил Сергей Иванович, — победили апрельские тезисы Ленина: «долой войну!», «земля крестьянам!» и «грабь награбленное!». По существу главный лозунг о земле был своровал у эсэров. Если бы тогда армия, составленная преимущественно из крестьян, узнала бы о коллективизации, от Ленина и Ко. не осталось бы и клочка мяса: их бы живьем на части разорвали. В 1917 году я специально ездил к Корнилову, еще до его злосчастного выступления, с предложением заключить сепаратный мир с Германией, пообещать землю крестьянам, распустить армию, сформировать отборные ударные части и при их помощи разогнать все эти советы солдатских и рабочих депутатов.

— Ну и что же? — с замиранием сердца спросил Павел.

— Корнилов на это не согласился — это казалось тогда слишком чудовищным, начиная с измены союзникам. А союзники сразу после узурпации власти большевиками стали делать попытки с ними договориться... Сергей Иванович с досадой махнул рукой.

— Они и теперь начнут продавать машины для выполнения пятилетки и специалистов своих на подмогу пошлют, чтобы большевики скорее построили военную промышленность и смогли атаковать капиталистический мир не только демагогической пропагандой, но и при помощи модернизированной Красной армии!

— А как вы думаете, Сергей Иванович, не упустим мы, а, может быть, не одни мы, а и весь цивилизованный мир, удобный момент для свержения большевиков в связи с начавшейся коллективизацией?

Сергей Иванович посмотрел на молодого человека с некоторым сожалением.

— Так называемый цивилизованный мир даже и не ставит перед собой такой задачи. Цивилизованный мир будет считать коллективизацию внутренним русским делом. Цивилизованный мир хочет успокоить себя рассуждением, что коммунизм возможен только в варварской России, и что чем больше русских погибнет от этой специфически русской болезни, тем для них лучше — одним конкурентом в мировой торговле меньше! Что же касается нас, то мы слишком слабы организационно. Ты на меня не обижайся, сам знаешь, я вашим начинаниям сочувствую и, чем могу, помогаю, но это, конечно, детская игра — хорошая, может быть, необходимая с точки зрения чести и морали, но, конечно, на это серьезно рассчитывать не приходится...

Глава одиннадцатая

В ДЕРЕВНЕ

Несмотря на усталость от стакилометрового пробега на велосипеде, Григорий никак не мог уснуть. За перегородкой каморки всё время шумели и разговаривали. Вытопленная утром русская печь дышала жаром, под потолком стоял туман от махорки и газетной бумаги, употребляемой крестьянами на завертку. Промучившись с полчаса, Григорий встал и вышел в соседнюю комнату. У пузатого медного самовара сидела теплая компания и резалась в козла[2].

В тот момент, когда вошел Григорий, хозяин дома и друг Григория — Борис вскочил и торжествующе занес над столом могучую руку с картой.

— Федька, козел! — закричал он с детской радостью и лихо швырнул карту на стол.

[2] Козел — карточная игра.

Корявый уродец Федька, рабочий Бориса, покраснел от досады и обтер вспотевшее, изрытое оспой лицо загорелой ладонью.

— Проиграл — теперь лезь под стол, — напомнил Сергеев, щуря красивые глаза с хитринкой и степенно поглаживая окладистую бороду. Федька «маленький», не глядя от досады ни на кого, отстранил другого Федьку, именуемого «большим» в отличие от него самого, стал на четвереньки и, под общий хохот, полез под стол.

Григорий сел в сторону и стал наблюдать за играющими.

Представители всех «борющихся» между собой слоев деревни, — подумал он с иронией. Сергеев — владелец чайной и первый богач — самый что ни на есть кулак. Это ничего, что он в четырнадцать лет остался сиротой и нажил всё собственным пóтом и кровавыми мозолями. Его, конечно, разорят и уничтожат особенно потому, что во всей деревне нет человека, которому он чем-нибудь не помог. Он пользуется большим влиянием, а таких Сталин боится больше всего. Мой Борис хоть и жил до НЭП-а в городе, всё равно кулак — меньшего размера, чем Сергеев, но кулак хотя бы потому, что эксплоатирует в сапожной мастерской труд двух Федек. Эксплоатируемые Федьки без Бориса пропали бы и спились, но они пролетарии, а он эксплоататор. Большой Федька — классический бедняк. Бедняк именно потому, что работает только тогда, когда заставит Борис, да и то плохо. Федька-маленький — батрак, чистый пролетарий, правда с сомнительным прошлым — он или дезертир Красной армии или скрывшийся солдат Белой армии.

— Чего же не спишь? — обернулся к Григорию Борис. — Иль русского духа махорочного не выносишь, товарищ тренер? — Все опять засмеялись.

Григория удивляла полная беззаботность Бориса перед надвигающейся катастрофой. Борис был завер-

бован Григорием уже около года тому назад, когда Григорий приехал отдыхать летом в деревню, где жил Борис. Отец Бориса, еще при царе, выбился из крестьян в бухгалтеры одного из уральских приисков. Борис окончил гимназию. В начале революции отец умер и мать захотела вернуться в родную деревню. Борис приехал с ней и занялся сапожным ремеслом. Вся округа издавна была знаменита сапожным промыслом. Борис скоро завоевал славу лучшего мастера. Мать умерла, а Борис по лени и инертности так и остался в родной деревне.

Настоящий Илья Муромец! — решил Григорий, когда первый раз увидел богатырскую фигуру Бориса. — Только его надо раскачать, а то он просидит в этой дыре сиднем тридцать лет и три года!

«Расшевелить» Бориса оказалось не трудно — его цельная, правдивая натура инстинктивно отталкивалась от плакатно-крикливого коммунизма. Борис примкнул к организации Григория и скоро стал главным лицом, ведущим работу среди крестьян. Методы Бориса были прямо противоположны методам Григория. Борис знал всех окрестных крестьян, как свои пять пальцев, и его знали. Борису надо было только прийти и распорядиться и его слушали.

— Ну, ребята, кончим игру — давайте чай пить, — сказал Борис, собирая колоду. — Придвигайся ближе, — обратился он к Григорию, — а ты, Федька, расскажи — как Кузьмич от ареста убежал.

— Где им Кузьмича взять! — обрадованно заговорил Федька-большой. Кузьмич, Кузьмич, туды его растуды... Кузьмич еще в империалистическую во флоте офицера убил. Да, убил! Хотел его офицер по морде съездить... на тебе! — не на такого нарвался... хватил офицера железякой по голове, да и был таков. Убежал... да, убежал. Поступил потом добровольцем в пехоту, четыре Георгия потом имел, чин офицерский по-

лучил. Ей-Богу, офицерский чин получил, не вру, — вдруг усомнился сам в своих словах Федька.

— Правда, правда, — подтвердил Сергеев усмехаясь.

— Ну, вот, — продолжал рассказ Федька, — приезжают два милиционера и один «сотрудник органов»... Под «сотрудником органов» Федька разумел агента НКВД. — Приезжают прямо к дому — окурат в обед... А Кузьмич только встал из-за стола да и вышел на крыльцо. Они к нему, говорят: «Ты Лука Кузьмич Курбанов?» А Кузьмич не моргнув глазом: «Нет, говорит, я здесь работник, а Лука Кузьмич мой хозяин — вон в избе сидит, кашу трескает». Они скорее, как бы не пропустить, все в избу, а в избе работник его и впрямь кашу доедал. Набросились на него... покудова разобрались, а Кузьмича и след простыл. Вот как, туды его растуды... и теперь ищут...

Дверь скрипнула и в комнату вошел невысокий крестьянин с хитрым, живым лицом и неторопливой уверенной повадкой, сосед, тоже Петров.

— Борис Петрович, выдь на минутку — дело есть, — сказал Петров, лукаво ухмыляясь и медленно выговаривая слова.

Борис вышел и через минуту вернулся.

— Ну, ребята, шабашить пора, а то завтра работу проспим, — весело сказал он.

Сергеев и Федька поднялись. Когда дверь за ними закрылась, Борис подошел к Григорию и тихо сказал:

— Кузьмич здесь у Петрова, поговорить хочет.

Был конец августа 1929 года. Ночи делались уже холодными и темными. Борис тщательно закрыл окна и ставни. Через сени в мастерской раздавался храп мгновенно засыпавшего Федьки-маленького. Григорий попрежнему сидел у стола, смотрел на зеленую клеенку и обдумывал предстоящий разговор с Кузьмичом. Борис вышел, тихо притворив дверь. Затем дверь отворилась снова, так же бесшумно, как и первый раз, в ком-

нату вошли Борис, Петров и Кузьмич. Григорий молча встал и поздоровался с Кузьмичом. Все четверо сели к столу.

Григорий заметил, что Кузьмич, войдя в комнату, мгновенно осмотрел ее единым взглядом серых, исподлобья глаз. Взгляд как бы разом взвесил все возможности бегства и сопротивления, он не был злобным, но чем-то напоминал взгляд зверя.

На вид ему было лет 45, лицо веснущатое, волосы рыжие — мужик, как мужик, зато в широких плечах и во всей сильной фигуре чувствовалось напряжение и стремительность. Уже сев за стол, Кузьмич в упор, холодно и подозрительно посмотрел на Григория. Григорий не отвел глаза под водянисто-серым взглядом Кузьмича. Затем этот взгляд немного смягчился и Кузьмич попробовал улыбнуться.

— Ну, что же, беседовать начнем?

— Чем помочь можем? — прямо спросил Борис, уставив на Кузьмича серые, честные глаза.

Кузьмич немного помолчал.

— Помочь что... Организовываться надо... надо начать террор. Во всей округе несколько десятков этих сволочей, что мы их перебить не сумеем? Я вот уже две недели, как скрываюсь... Не поймали... и не поймают! — с искренним убеждением вдруг добавил Кузьмич.

Григорий заметил, что при упоминании террора глаза сидевшего рядом с Кузьмичом Петрова заблестели, а лицо потемнело и сделалось жестоким.

— Теперь по всей России волнения начнутся, — продолжал Кузьмич, — где им со всем крестьянством справиться! Надо организовывать летучие отряды... Перевешал коммунистов и чекистов в одном районе, сразу переходи в другой, да куда-нибудь подальше... Можно захватывать ссыпные пункты и кооперативы — часть делить среди населения, частью снабжаться самим.

— У них танки и авиация, а у нас что? С голыми руками не пойдешь... — задумчиво сказал Борис. — Они не задумаются оцепить и уничтожить несколько районов сразу. Для них безразлично, что на одного виновного погибнет 10.000 невинных — им бы только у власти удержаться...

— Да, но ведь когда-то начинать надо! Когда же, как не теперь? — помрачнел Кузьмич.

Григорий чувствовал, что внутри у него что-то закипает.

Действительно, может быть, оставить всю медленную, кропотливую, неблагодарную работу последних лет? Может быть, бросить, очертя голову, маленькую, с таким трудом созданную организацию в водоворот стихийной крестьянской революции? Может быть, действительно эта стихия в состоянии сбросить дьявольски-продуманную, сцементированную злом сталинскую организацию?

Григорий чувствовал, что слова Кузьмича еще более задели за живое Бориса, хотя Борис и старался изо всех сил не показать этого. Лицо Петрова стало совсем зловеще каменным. Григорий решился и сразу ослабил создавшееся напряжение:

— Согласиться на террор и немедленные выступления мы сейчас не можем, еще не готовы. Тебя, Кузьмич, просим ничего не начинать, не сговорившись с нами. Темп подготовки усилим максимально. Говори, чем тебе можем помочь лично?

Кузьмич опустил голову, помолчал и затем неторопливо ответил:

— Жену надо как-нибудь повидать, ее еще не взяли... Надо ей сказать, чтобы скорее забирала детишек и уезжала, пока не спохватились... Только как это сделать, не знаю — напротив сосед больно плохой живет, сразу сообщит, ежели что...

— Это мы тебе сделаем, — сказал Борис. — Садись, пиши записку — завтра она будет у жены.

Утром Федька-маленький вызвал к Борису Федьку-большого. Оставшись с Федькой-большим наедине, Борис внимательно посмотрел на него. Неказист был Федька-большой: давно небритый, с одутловатым, когда-то красивым лицом, с плохими зубами. Зато мутноватые, нетрезвые глаза смотрели на Бориса с восторгом и готовностью.

— Вот что, Федька, — заговорил Борис четко и раздельно, — возьми у Петрова шарабан, запрягай и гони к жене Кузьмича — она продает корову, будешь прицениваться. Ты бедняк, тебя никто ни в чем не заподозрит. Вот тебе письмо. Передай так, чтобы никто не видел. Понял?

— Понял, Борис Николаевич, — ответил Федька.

— А болтать не будешь?

— Что же я не знаю, о чем болтать можно!

— Смотри, в пьяном виде не проговорись...

— Эх, Борис Николаевич, я хоть и пьяница, а душа и у меня есть! — возразил Федька совсем разумным серьезным тоном.

Борис и Григорий пешком, как бы гуляя, обходили окрестные деревни. Борис знакомил Григория с людьми и проделанной работой. Они входили в избы — сразу появлялся самовар, иногда и водка, и завязывалась беседа на общие, часто ничего не значащие темы. В избе обычно бывали члены семьи, дети и посторонние. Уходя Борис улучал удобный момент и говорил, указывая на Григория: «Видел? — Можешь верить, как мне. В случае чего сделаешь всё, что он скажет».

Хозяин делался серьезным и понимающе кивал головой. Трудно было подсчитать и учесть организацию, созданную Борисом. Собственно, весь район знал, любил и слушался его. Среди его сторонников были и

комсомольцы, и милиционеры, и непутевые пьяницы, и крепкие хозяева. Только незначительное меньшинство явно стояло на стороне власти.

Кузьмич слез с дачного поезда и направился в сторону поселка. Была уже глубокая осень. С тех пор, как Федька-большой установил первую связь с семьей, Кузьмич несколько раз встречался с женой.

Марья Ильинишна была самой обыкновенной русской крестьянкой. Выйдя замуж накануне германской войны, она фактически не видела мужа в течение четырех лет. В гражданской войне Кузьмич не участвовал, хотя и состоял членом подпольной Савинковской организации. При приближении Деникина к Москве должно было начаться антибольшевистское крестьянское восстание... В организации активно участвовало несколько сот человек. Собрания происходили ночью, в лесу и оврагах. После провала центра организации, находившегося в Москве, Кузьмич распустил свою группу и все участники так и не были выявлены агентурой ЧК. Годы НЭП-а Кузьмич прожил спокойно. Появились дети — двое мальчиков. Теперь одному было 10, другому 8 лет.

Марья Ильинишна, когда-то красивая женщина с правильным, продолговатым лицом и большими карими глазами, теперь заплаканная и потухшая, очень боялась за мужа и страдала за детей. Хозяйство пришло в упадок, соседи сторонились, хотя внутренне и сочувствовали Марье Ильинишне. Каждый боялся за себя и поэтому Марья Ильинишна была очень одинокой. Рабочего пришлось рассчитать. Надо было на что-то решиться, но найти выход из создавшегося положения оказалось не так-то легко. Особенно она боялась свиданий. Каждый раз приходилось украдкой уходить из дома, идти по много верст целиной, лесом, делая вид, что отправилась за грибами или хворостом и по-

том, при непродолжительных встречах, каждое мгновенье бояться внезапного ареста.

При свиданиях Мария Ильинишна говорила мало — душили слезы, терялись слова. Она поспешно передавала узелок с выстиранным бельем и гостинцами, а затем молча слушала деловитые, сухие распоряжения мужа, нервно вздрагивая и смотря на него скорбными, жалкими глазами.

Пройдя поселок, Кузьмич направился к лесу. Там, на отшибе, стоял домик лесника, приятеля Кузьмича — там он должен был встретить жену.

Вечерело. В низинах поднимался белесый туман. Кузьмич нащупал в кармане старый, поржавленный от лежания в земле наган: надо было всегда быть наготове. Когда он почти уже достиг опушки, из кустов появились три мужских фигуры в черных осенних пальто с широкими плечами, в военных сапогах, выглядывавших из-под пальто.

— Разрешите, товарищ, прикурить, — сказал один из неизвестных, приближаясь к Кузьмичу. На мгновенье из-под поднятого воротника пальто показался ворот военной рубахи с красными петлицами. Кузьмич выстрелил почти в упор и рванулся к лесу. Двое других отпрянули от неожиданности, а когда Кузьмич их миновал, вслед ему защелкали револьверные выстрелы. Пуля пробила ворот теплой куртки. Добежав до опушки, Кузьмич обернулся и спрятался за первое попавшееся дерево. Две фигуры остановились в нерешительности. Кузьмич прицелился и спустил курок. Одна из фигур взмахнула руками и упала. Кузьмич, всё еще держа револьвер в руке, пошел вглубь леса, стараясь избежать дорог. Никто его не преследовал...

Глава двенадцатая

РАЗВЯЗКА

— Особенно нас интересуют командиры красной армии, хотя бы и резервисты: в случае общего крестьянского восстания понадобятся военные специалисты.

— У меня есть человек шесть подходящих ребят. Их недавно вернули из дальневосточной армии.

— Почему вернули? — насторожился Павел.

— Без объяснения причин — очевидно, за неблагонадежностью.

— Какие у них чины?

— 4 комвзвода и 2 младших командира.

— Надежные?

— О советской власти иначе, как матерно, не выражаются.

— А что они сейчас делают?

— Командировочные пропивают.

Павел поморщился.

— И ты с ними?

— И я с ними. А ты думаешь, с таким народом можно говорить о высокой морали и философии?

Саша Чупров расценивался в организации не слишком высоко: он был не дурак выпить, любил крепкие выражения, не отличался особенно стойким характером, но, происходя из интеллигентной военной семьи, получил контрреволюционные идеи, так сказать, по наследству. Числился он в одной из захудалых групп. Теперь оказалось, что именно у него есть связь с красными командирами.

— Вот что, — сказал Павел, — я тебя познакомлю с одним человеком. Верить ему можешь как мне. С ним будешь держать непосредственную связь, он очень заинтересован в твоих командирах.

Павел встал. Саша тоже поднялся. Павел еще раз

с сомнением взглянул на высокую широкоплечую, чуть сутулую фигуру Саши и на бледное большое лицо с припухшими глазами: не Бог весть какой подпольщик, но ничего не поделаешь...

— Ты сиди, — сказал он, — я сейчас приведу его, он здесь же в квартире.

Разговор происходил в комнате Алеши Желтухина. Борис Петров дожидался у Натальи Михайловны. В коридоре Павел встретил Алешу.

— Ну, как? — спросил Алеша.

— Надо знакомить — у него есть шесть командиров, только публика, повидимому, аховая, как бы не провалили...

— Я сейчас позову Бориса.

Алеша исчез за дверью сестриной комнаты.

Борис, как обычно, посмотрел на Чупрова очень прямо и крепко сжал протянутую руку. Саша невольно подобрался: Борис умел производить впечатление на таких людей. Павел успокоился: в конспиративном деле установление дружеских отношений и личное доверие играли решающую роль.

Через полчаса Саша ушел еще более подобранный, чем в начале разговора, и готовый к любому риску.

— Ну, каково ваше мнение? — спросил Павел, одновременно присматриваясь к Борису.

— Ничего, пригодится! — коротко отрезал Борис, — посмотрим как покажет себя на деле.

Павел познакомился с Борисом совсем недавно и, несмотря на привычку относиться ко всем подозрительно, вопреки всем конспиративным правилам, сразу почувствовал к этому могучему, до мозга костей русскому человеку непоколебимое доверие. Григорий тоже был сильной натурой, но сила Григория, тронутая городом и цивилизацией, не сочеталась, как у Бориса, с обаянием непочатости и стихийной народной мощи.

— Ну, пошли теперь знакомиться с химиком. Забирай у меня и подрывную команду! — улыбнулся Павел.

Пошли. Борис смаху накинул на плечи короткую куртку, пожал руку Алеше и вышел.

На улице слегка морозило. В полутемных переулках было пусто.

— А что, крепко жмут в деревне? — спросил Павел.

— Жмут, — ответил Борис мрачно, — меня тоже приходили описывать!

— Ну, и что же?

— Хотел я эту дрянь тут же прикончить, да вспомнил, что обещал Григорию зря не рисковать. Главное, кто пришел-то! — последние бездельники и пьяницы. — Ты, говорят, кулак, твое имущество будет потом национализировано, а пока мы его опишем. Обидно, всё ведь родное, родительское... икону и ту описали. Спрашивают: «а ты разве верующий, мы тебя в церкви никогда не видели!». Взорвало это меня: «отцы мои и деды, говорю, верили и я от веры никогда не отрекусь...». Честное слово — только ответственность перед организацией, а то тут бы их и прикончил!

Павла поразил неожиданный взрыв гнева в таком спокойном на вид человеке.

— Ну, ничего, — заговорил, немного успокоившись, Борис, — они еще узнают! Я уже сам себя расстрелял, — повернулся он к Павлу. — Каждый лишний день, который я живу — это на зло большевикам. О личной жизни я больше не думаю.

— Разве вы знакомы? — бойкие черные глаза Сорокина выразили удивление. Лена немного покраснела, пожимая Павлу руку.

Павел был тоже удивлен. Он прекрасно знал, что Сорокин любит поухаживать, но что у него может быть роман с такой девушкой, как Лена, его крайне удивило.

Лена училась в школе на класс ниже Павла, прекрасно писала сочинения и считалась очень развитой девушкой.

Сорокин напоминал провинциального льва, хотя и хорошо учился в химическом институте.

— В самом деле, откуда вы друг друга знаете? — Сорокин весело улыбался большим ртом, с белыми, как жемчуг, зубами.

— Не бойся, не бойся — я не твой соперник! — сказал Павел. — Мы с Леной кончили одну и ту же школу и больше ничего.

— Ему мама не позволяла ни за кем ухаживать... в школе он держал себя как красная девица! — вставила не без яда Лена.

Борис тихо сидел в стороне и смотрел добрыми, чуть лукавыми глазами.

— Ну, мне пора домой, — поднялась Лена. — Раз Павлик тут, значит будут серьезные разговоры...

— Подожди немного, я тебя провожу, — заметил Сорокин.

— Ничего, посиди с Павликом — тебе это полезнее, чем меня провожать, он у тебя ветер из головы немного повыгонит... — Лена ушла. Сорокин с сожалением проводил ее до передней, вернулся и вопросительно посмотрел на Павла и Бориса.

— Познакомьтесь, — сказал Павел. — Мы уже с тобой говорили в общих чертах о нашей организации. Теперь к тебе есть конкретная просьба.

— Какая? — немного смутился Сорокин.

Борис пододвинул стул ближе и, не спуская глаз с лица Сорокина, медленно и отчетливо заговорил:

— В деревне начинаются стихийные волнения, а оружия у крестьян почти нет. Надо на всякий случай запастись взрывчатыми веществами. — Сорокин вздрогнул и побледнел. — От вас будет требоваться только инструкция, как обращаться с тем, что нам удастся достать, и добывание или изготовление наипростейшего взрывчатого вещества. Можно на вас рассчитывать?

— Можно, — тихо ответил Сорокин еще более бледнея.

— Ванечка! — в маленькую дверь просунулось круглое, приятное лицо женщины с таким же большим свежим ртом, как у сына.

— Ванечка, ты бы гостей чаем угостил.

— Спасибо, нам некогда... — одновременно поднялись Павел и Борис.

— Нет, уж это вы оставьте... я сегодня пирог пекла, а если торопитесь, то выпейте скорее, да и идите себе с Богом.

— Останьтесь, останьтесь, — заговорил Сорокин, приходя в себя.

Приятели сели.

— Давно ты ухаживаешь за Леной? — спросил Павел.

— Знаешь, замечательная девушка! — оживился Сорокин, — мы с ней в церкви в одном хоре пели. Я даже хотел с тобой поговорить: ее вполне можно втянуть в организацию...

Храм был небольшой и полутемный. Не совсем обычная, очень тихая, напряженная толпа наполняла его. Павел с интересом вглядывался в лица окружающих. Среди молящихся поражало большое количество молодежи. Молодежь эта была тоже необычная. Павлу вспомнились слова Николая: «У нас пострижено несколько священников тайным посвящением». Очевидно, есть и тайные монахи — вот бледный большеглазый юноша, совсем похож на послушника... рыжеватая редкая борода, стоит и никого кругом не замечает. Вот две девушки сосредоточенные, в темных шапочках — тоже, может быть, монашки... что-то уж слишком молоды! А вон... — Павел очень удивился — он увидел ассистентку известного профессора древне-русской литературы. Было как-то совсем непривычно думать, что человек, которого часто видел в советском университете, может ходить в церковь, да еще в такую, как эта.

А это кто? — Павел был совсем поражен: мимо прошла бледная девушка, студентка его факультета.

За этих можно не бояться, — думал Павел, — они уже и сейчас больше походят на христиан эпохи катакомбной церкви, чем на современных людей, а всё-таки жаль их... Николай говорил, что в подвале храма систематически работали иконописные и богословские курсы. К закрытию прихода они, конечно, готовы, но без церковного здания им будет много труднее и рискованнее...

Павел сильно опоздал к началу всенощной. Когда он вошел, уже начали читать шестопсалмие. Традиционная вязь альта чтицы как нельзя более гармонировала с полумраком и общим торжественно грустным настроением.

Главный их священник в ссылке, его заменяет бывший юрист, совсем недавно посвященный... Почему я раньше к ним никогда не попадал? Шестопсалмие кончилось. Безголосый дьякон, тоже совсем молоденький, возгласил Великую ектению. Хор пел нестройно, чувствовалось, что певчие любители. После чтения Евангелия на амвон вышел старичок, похожий на Николая Угодника.

— Братья и сестры! — обратился он к молящимся, — два года тому назад мы с вами осиротели: не стало нашего настоятеля. Теперь у нас отнимают храм. Не унывайте! Спаситель сказал: «Там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них». Мужайтесь! Церковь Христова сильна не богатыми храмами, не пышными богослужениями, но подвигами, постом, трудами, делами добрыми, любовью и кровью мучеников. Ныне Господь посылает и нам с вами испытание. Примем его с любовью и смирением!

Все стояли тихо, тихо. Где-то в углу храма истерически зарыдала женщина. Молящиеся медленно, без толкотни, стали подходить под благословение. Священник благословлял и целовал каждого подходившего

в лоб. Мимо Павла промелькнуло красивое, сосредоточенное лицо Николая: он так ушел в себя, что не заметил друга. Павел подошел к батюшке и, когда целовал сухую старческую руку, подумал:

Может быть, и мне завтра предстоит испытание? Господи, помоги перенести его с кротостью, любовью и смирением, как учат нас этому мученики...

Партизаны стали собираться, используя темноту непроглядной ночи в рощах и лесах под самым городом. Захват столицы был основан на дерзости и внезапности. Заранее были учтены важнейшие объекты нападения: общежития чекистов, казармы и главное здание ГПУ неожиданно забрасывались ручными гранатами, в казармы московского гарнизона посылались агитаторы, в Кремль врывались отдельные группы, избивавшие без разбора всех, кто попадался под руку. Самое важное захватить московские радиостанции и продержаться хотя бы до утра. Первая передача должна начаться с объявления о свержении Сталина. Если Москва объявит о падении режима, власть на местах падет, как карточный домик.

Борис увидел перед глазами всю Россию сразу: бесконечные поля, луга, леса, серые деревни. Из всех деревень вставали на подмогу крестьянские отряды. Тихо шелестели верхушки высокого леса, туман залег в глубоком лесном овраге... Не курить! Кто смел зажечь спичку? Всё дело может сорваться из-за неосторожности...

Нет, это не спичка, это лесной пожар. Большевики подожгли лес.

— Борис Петрович, а Борис Петрович! — Федька держал в левой руке керосиновую лампу, а правой рукой теребил спящего Бориса за плечо. Борис с трудом очнулся от крепкого сна и сел на постели.

— Борис Петрович, тут к тебе...

— Кто ко мне? — Борис окончательно пришел в себя и увидел за Федькой мрачную фигуру Кузьмича.

— Здесь мне больше оставаться нельзя, — говорил Кузьмич, — они теперь всерьез за меня примутся. Надо уезжать немедленно и подальше...

Борис быстро оделся.

— Половина шестого, — сказал он взглянув на часы. — На нашу станцию идти нельзя, до Казанской железной дороги 10 верст, зато там никого знакомых. Важно затемно из деревни выйти... Мы тебя спрячем на несколько дней в Москве, а потом отправим в Сибирь. Там теперь везде на работу набирают, устроишься.

Борис открыл квадратную крышку, прикрывавшую лестницу под полом, опустился, дополз до угла, разгреб землю, нащупал герметически закрытую стеклянную банку, достал из нее наган, привел всё в порядок и вышел вместе с Кузьмичом из деревни.

Они молча шагали по безлюдной дороге. Тихо шелестел лес, туман залег в глубоком лесном овраге. Кузьмич остановился, зажег спичку и закурил.

— А я перед тем, как меня Федька разбудил, хороший сон видел! — сказал Борис весело...

Павел спал плохо. По городу шли аресты и обыски. Арестовывали студентов, врачей, ученых и больше всего инженеров. В деревне развертывалось раскулачивание. Казалось, что власть обезумела и нарочно уничтожает самых ценных для страны людей. Павлу снились какие-то кошмары: безобразные лица чекистов мешались с лицами друзей, а под утро приснился Сорокин в форме ГПУ.

После мучительной ночи наступило неприятное утро. Надо было сходить в университет. Правило волчьей жизни гласит: волк никогда не должен охотиться близко от своего логова. Павел никогда не занимался вербовкой в университете и ходил туда как

можно реже. Может быть, потому он и дотянул благополучно до окончания. Но сегодня надо было узнать сроки последних экзаменов, и настроение Павла с утра испортилось.

Он уже оделся, когда в комнату вошли Борис и Кузьмич. Сели.

— Ставь, Павлушка, чайник и корми! — сказал Борис.

Когда примус зашипел, Борис рассказал в чем дело.

— Надо найти Кузьмичу убежище, пока будут добыты деньги и документы.

Павел задумался: все квартиры были либо на подозрении у ГПУ, либо к людям невозможно было обратиться с таким рискованным делом.

У Надежды Михайловны, матери Николая, есть одинокий старичок-родственник, — наконец, решил Павел, — может быть, у него...

Трам, пам-пам, трам-пам, пам-пам... — сухая старческая рука энергично отбивала такт мелодии по старинному столику. Около столика стояло красного дерева кресло с выгнутой спинкой. На кресле сидел худощавый старичок в поношенном костюме и матерчатых ночных туфлях... Над невзрачной фигурой высилась гордая осанистая голова с гривой густых белых волос. Орлиный нос напоминал французского аристократа, в черных глазах было что-то испанское, во всей голове что-то львиное, а в общем можно было с уверенностью сказать, что это настоящий русский барин, ничуть не сломленный революцией.

Трам-пам-пам, пам-пам... — продолжали барабанить пальцы. Ответив на стук Павла, Алексей Сергеевич никак не мог оторваться от поглотивших его мыслей.

— Да-с! — гневно обратился он к Павлу, — торговать можно и с людоедами... — эти большевиков не

свергнут. Государь Николай Павлович послал армию против Кошута и спас этим династию. Он не думал ни о какой выгоде, но защищал принцип, которому служил всю жизнь. А эти? — «Торговать можно и с людоедами»...

Нет, дело всё в том, что раньше народы управлялись государями, а теперь управляются милостивыми государями... Да-с, не им бороться с большевиками!

Пальцы Алексея Сергеевича опять стали выстукивать грозный, негодующий мотив. Постепенно молнии, сверкавшие в черных глазах старика, угасли, и они приняли обычное ласковое и задорное выражение.

— А моего подвижника нет — где-нибудь молится, — сказал старичок саркастически, отбросив газету. — Садись, мы сейчас попробуем у матери справиться. Наденька! — громко позвал Алексей Сергеевич. — Где ты, Наденька?

За перегородкой, сооруженной из пианино и громадного шкапа, что-то зашевелилось и через мгновенье оттуда появилась чистенькая, сухая старушка со смешными круглыми щечками и очень добрыми глазами.

— Мне с вами надо поговорить об одном очень важном деле, — сказал тихо Павел.

Алексей Сергеевич пододвинулся с креслом к стоявшему рядом с ним обеденному столу и, наклонившись вперед, приготовился слушать.

— Надежда Михайловна, Алексей Сергеевич, — начал Павел с некоторой опаской, надо спасти одного человека...

— Как? — спросила старушка.

— Нам надо его куда-нибудь спрятать на два-три дня. У меня нельзя, потому что...

— Приведите его к нам, — прервала Надежда Михайловна.

— Я думал о вашем двоюродном брате, он...

— У него неудобно. Приведите к нам...

— Его ищет ГПУ, он убил агента... — сказал Павел.

— Это меня не касается, я и знать этого не хочу, я в ваши дела не вмешиваюсь, — рассердилась старушка. Вы говорите: надо спасти человека, я вам отвечаю: приведите его к нам. Я его в углу за пианино помещу.

Алексей Сергеевич ничего не сказал, но энергично закивал головой в подтверждение слов жены.

— У нас нет другого выхода, — сказал Павел. — Большое вам спасибо.

Прощаясь, он от всей души поцеловал огрубевшую от работы руку Надежды Михайловны.

Подходя к университету, Павел увидел идущего навстречу Григорьева.

— Погоди, не торопись, — сказал парторг, — проводи меня немного.

Молодые люди вошли в Александровский сад и сели на лавочку. От кремлевской стены падала сумрачная тень, в саду было холодно. Лицо Григорьева выглядело так же мрачно, как эта тень, глаза смотрели куда-то мимо Павла, на широком бледном лице отросла рыжеватая щетина. Очевидно Григорьев не брился дня три.

— Вчера было заседание учебной части совместно с профсоюзными, комсомольскими и партийными представителями... Весь идеологически чуждый элемент решено исключить, не допуская до окончания университета.

Сердце Павла болезненно сжалось.

— Многие будут исключены... — Григорьев стал перечислять фамилии. Нахальные Бирюков и Боброва, бедный Миша Каблучков тоже попали в роковой список.

— А я? — спросил Павел.

— А ты остался. — Странное выражение пробежало по лицу Григорьева. — Тебя я отстоял, только смотри — никому ни звука... — В серых глазах вспыхнуло бес-

покойство. — Мой совет — не попадайся ты пока никому на глаза. Сдай экзамены понезаметнее, сходи к профессорам на дом что ли... а то увидят — вспомнят и сделают какую-нибудь гадость.

Павел сидел понурый и не знал, радоваться или печалиться от выпавшего на его долю счастья.

— Спасибо, — выдавил он, наконец, из себя. Оба встали. Обоим было стыдно.

— Ну, как, в церковь больше не тянет? — спросил Павел.

— В церковь меня не тянет, — вдруг вспылил парторг, — а вот когда посмотрю на карту, на душе легче делается — всё-таки велика наша Россия. Шутка сказать — шестая часть мира! Велика... и будущее у нее большое. Мы умрем, а она жить будет! Прощай... — оборвал сразу Григорьев.

Через несколько дней Кузьмич был отправлен в Сибирь с письмом к брату Григория. Борис и Павел проводили его на поезд.

— А всё-таки это не дело, — сказал Кузьмич на прощание, — момент упускаем. Теперь надо бы начинать террор, а не по Сибирям прятаться... Крепко обнялись. В мутноватых глазах Кузьмича появились слезы.

— Спасибо... помогли. Большое дело на Руси дружба. Ну, не в последний раз видимся... — Кузьмич вошел в вагон, поезд тронулся.

Павел возвращался с вокзала успокоенный. — Одна непосредственная угроза миновала... Тяжело всё время на нервах, — думал он, — надо отдохнуть.

— А вас тут какая-то девушка спрашивала, — сказала жена сапожника, встретив Павла в коридоре. — Она вам записку под дверь сунула.

Странно, — подумал Павел, — кто бы это мог быть?

На полу лежал клочок бумаги. Павел поднял его и прочел:

«Ваня заболел и увезен в больницу. Лена».

Павел тяжело опустился на стул. — Волей-неволей отдыхать придется, — горько размышлял он. — Сорокин арестован! Лена молодец — сразу известила. Неприятно... только что получил такое задание. Да, во всяком случае недели на две прекращу всякое общение с организацией. Отдохну и сдам экзамены.

В течение двух недель Павел отдыхал, если можно вообще отдыхать, ожидая каждую минуту ареста.

Как-то вечером в дверь постучали. — Опять сосед идет сообщить, что жена знает английский, французский и немецкий, — подумал Павел с досадой и недовольным голосом крикнул: «Войдите!».

Вошла Лена.

— Ваню освободили — выпалила Лена прямо с порога.

— Тише, тише... — остановил ее Павел вскакивая.

— Вчера вернулся... — Лена села на стул и сняла шапочку. — Освободили, — сказала она еще и улыбнулась.

— Что рассказывает? — спросил Павел.

— Ничего. Очень измучился... просил передать, что недели две посидит дома, а потом зайдет и обо всём расскажет. — Лена ушла.

Две недели самый скверный срок, — подумал Павел, — обычно при вербовке осведомителей держат две недели... но ничего, как-нибудь разберемся — всё-таки хорошо, что освободили... — повторил Павел. — Надо скорее включаться... — Павел почувствовал прилив нервной энергии. — Может быть разумнее еще выждать, но дело не терпит — такого момента больше не будет; надо его не упустить во что бы то ни стало.

Один чекист был в чине помощника командира взвода, другой рядовой солдат. Помимо их, в качестве свидетеля при обыске, привели наскоро одетого сапожника — он жался к двери и трясся мелкой дрожью от страха и внезапного пробуждения. Павел, кое-как одевшись, сидел на неубранной постели. Помком взвода обыскивал письменный стол, солдат, невзрачный паренек, непрерывно следил за Павлом, не выпуская из рук нагана. Было тихо, шелестели перебираемые бумаги.

Книжку с адресами я уничтожил после ареста Сорокина, больше ничего компрометирующего у меня нет. Могут обратить внимание на специфический подбор книг... — думал Павел.

В дверь постучали. Стоявший около нее сапожник вздрогнул и отодвинулся. Чекист, обыскивающий стол, поднял голову, красноармеец, следивший за Павлом, повернулся и поднял револьвер. Дверь медленно отворилась: «Вы знаете, моя жена знает английский...». При виде красных околышей растратчик, повидимому, сразу отрезвел, потому что дверь мгновенно захлопнулась.

— Кто это? — строго спросил помкомвзвода.

— Пьяница, бывший растратчик, — пролепетал сапожник.

Чекист на минуту задумался. Водворилось напряженное молчание. Затем он опять повернулся к столу и углубился в просмотр конспектов по историческому материализму.

Прошло не менее двух часов. У Павла заболела голова. Помкомвзвода перешел к осмотру комнаты. Книжный шкап он просмотрел поверхностно, зато его заинтересовала стоявшая в углу корзина.

— Ваш отец был священником? — спросил чекист, вынимая серебрянную сахарницу.

— Мой отец был юристом.

— А почему у вас хранятся церковные сосуды?

— Это сахарница.

Чекист с сомнением повертел в руках незнакомый предмет и стал копаться дальше. Бледный, медленный рассвет пополз по окнам.

— Собирайтесь, вы поедете с нами, — сказал помкомвзвода.

Арестовали... наивно было ждать чего-нибудь другого, а всё-таки тяжело. — Павел стал лихорадочно собираться.

Одеяло, подушку, зубной порошок, бритву нельзя, пальто... жаль нет шубы, смена белья...

— Скорее собирайтесь, гражданин Истомин!

Плохая комната, а всё-таки жаль — сколько переговорено и передумано! Надо самому забыть, что я работал в подпольной организации — убедить самого себя, что ни в чем не виноват... Господи, хоть какая-нибудь родная душа посочувствовала бы! Нечего слюни распускать. Надо самого себя сразу расстрелять, как говорил Борис. Интересно, взяли его или нет?

На улице рассвет чувствовался больше, чем в освещенной комнате. Тянуло холодом. Никого прохожих. Постояли... — Где же черный ворон? Ах, ты ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной?

В конце переулка показался грузовик. Ближе, ближе...

Счастливые люди — куда-то едут, свободные... Грузовик подъехал и остановился. В кузове стояли два солдата в фуражках с синим верхом и малиновым околышем, из-за стенок кузова высовывались чьи-то головы.

— Садись! — сказал чекист.

Вот тебе и позавидовал! Любопытно, как четко работает сознание — каждую деталь отмечает.

Павел бросил в машину одеяло, влез сам и сел на дно. В противоположном углу сидел типичный интеллигент в поношенной шляпе, пенснэ на птичьем носу и черной крылатке, растерянно смотря в одну точку. В другом углу сидел маленький круглый человечек с за-

дорно вздернутым носом. — Похож на артиста-комика... — решил Павел. В середине, спиной к шоферскому окошечку, на самых удобных местах устроились два краснорожих парня. Лица у парней были полупьяные, глаза закрыты — они дремали.

Очевидно растратчики кооператоры..

Автомобиль тронулся. Остро реагирующее до сих пор сознание вдруг отказало, как бы выключилось. Павел не мог потом вспомнить, как он проехал город. Автомобиль сходу завернул в узкий проезд между двумя высокими стенами и остановился у тяжелых ворот. Все слезли. Сознание заработало с прежней четкостью. Большое, полное людей помещение имело полукруглый потолок, у стен — вокзального типа лавки. С каждой стороны по нескольку дверей. Справа от входа нечто, напоминавшее прилавок, оттуда раздавался звон серебряной монеты. Червонец падал. Мелкая монета, имевшая некоторое количество серебра, стала исчезать из обращения. ГПУ приняло свои меры... За серебро попадали, главным образом, священники и старосты церквей, не успевшие почему-либо сдать в банк кружечный сбор. Предлог для ареста и ссылки был удобный — брали не за религию, а за серебряную монету.

Павла подвели к одной из скамеек и заставили раздеться. Пальто, пиджак, брюки солдаты вывернули наизнанку и прощупали каждый шов.

— Одевайтесь!

Павел оделся.

— Следуйте за мной! — один из солдат открыл ближайшую боковую дверь и втолкнул Павла в небольшую комнату. Посреди комнаты стояли такие же широкие скамейки, как и в зале. На скамьях сидели угрюмые фигуры арестованных и дремали. В углу стоял стол, на столе, обняв руками колени, сидел молодой человек. Что-то лицо очень знакомое! Павел вспомнил: студент-технолог, известный волейболист, соперник

Григория. Фамилия его, кажется, Эртель, его собирались втянуть в организацию.

— Здравствуйте. Давайте знакомиться! — Павел нарочно подошел к Эртелю, как к незнакомому.

Молодой человек быстро взглянул на Павла, узнал его и тоже отнесся, как к незнакомому. Он был чем-то возмущен — лицо его покрылось красными пятнами.

— Знаете, что они хотели со мной сделать? — заговорил он громко, на всю комнату, — хотели после обыска всунуть квитанцию за будто бы отобранный револьвер. Хороши! Только взяли и уже пришивают то, чего совсем не было. Я буду скандалить...

— Эртель! — дверь раскрылась.

Эртель одним прыжком очутился у нее и сразу после того, как она закрылась, в зале поднялся непривычный для этих мест шум. Через толстую деревянную дверь слышен был возмущенный голос Эртеля и крики чекистов. Через десять минут он вернулся с видом победителя.

— Квитанция уничтожена!

Павел вообще никогда не считал ГПУ ни всеведущим, ни всемогущим. Пример Эртеля возбудил в нем молодой азарт. — Гоголевский казак в «Пропавшей грамоте» играл с чертями в карты. Наша задача — обыграть дьявола в шахматы. Без тюрьмы образование подпольного работника нельзя считать законченным, — думал Павел.

Дверь отворилась. На пороге стоял солдат с бумажкой в руке.

Ка... ка... Каблучков! — прочел бедняга с трудом. — Нет такого?

Регистрируем первый зевок противника — Михаил арестован. Интересно, как другие...

Григорий был больше всего удручен тем, что взяли Алешу. Повидимому, первоначально в ордере на арест

стояло одно имя, но, обнаружив в комнате другого брата, чекисты ходили куда-то звонить по телефону. В результате Алеша был арестован. Братьев разделили в большой зале после обыска. Теперь Григорий сидел в боковой камере и мучился. Несколько сумрачных фигур уткнули носы в поднятые воротники и пытались дремать. Между молодым, полуинтеллигентного вида мужчиной и стариком, похожим на ученого, завязался вялый разговор.

— Я уже второй раз... — говорил молодой потухший голос. — Это помещение заключенные называют вокзалом. Через несколько часов нас разведут по камерам.

— А в чем нас, собственно, могут обвинить? — задал наивный вопрос старик.

Собеседник ответил не сразу:

Большинству предъявляют статью 58. Она разбита по пунктам: например, пункт 11-тый — контрреволюционная организация, пункт 10-тый — агитация против советской власти, 6-ой — шпионаж, а 7-ой — вредительство.

Оба замолчали.

— Интересно, что предъявят нам? — подумал Григорий, — всё-таки, страшная вещь жизнь!

Где-то, в глубине тоски, охватившей Григория, зашевелились нерешенные и неразрешимые, по его убеждению, вопросы бытия... Они, как хищные птицы, появились откуда-то сверху и готовы были напасть на ослабленное горем сознание. Это было так мучительно, что Григорий, чтобы избавиться от них, стал думать об Алеше, сестре и матери. Проснувшаяся жалость к чужому страданию облегчила ощущение страдания собственного.

Каково Алеше! Я хоть знаю, за что, а он... из-за меня. Как Леночка и мама? Мама стара, а Леночка еще глупенькая. Трудно ей будет одной. Почему это так устроено, что человеку приходится переносить столь-

ко тяжелого? — Григорий вспомнил свою юность, комсомол... собирались, шумели, верили в возможность перестройки мира... Всё разрешалось очень просто, даже вопрос бессмертия — изобретут какую-нибудь там сыворотку, вспрыснут — и живи сколько душе угодно: наука всесильна! Нет таких крепостей, которые не возьмут большевики! Увлекал порыв, бесконечность открывающихся возможностей, а главное — всегдашняя занятость, суматоха... Когда Григорий вырос, именно эта суматоха стала его отталкивать. Даже для того, чтобы хорошо вытренировать спортивную команду, надо было подойти к каждому индивидуально, каждого изучить, о каждом подумать в тишине и каждому найти свое, единственно подходившее для него место. Это уже был не безличный, стандартный коллектив... Если не каждый спортсмен может быть хорошим голкипером, то почему же каждая кухарка может управлять государством — рассуждал Григорий. Кроме того, очень часто в команду, тренируемую для ответственных состязаний, сильные мира сего пытались продвинуть неподходящих кандидатов, или плохого спортсмена нельзя было заменить хорошим потому, что он пролетарского происхождения или тайный осведомитель. Если в спорте советские методы работы не давали положительных результатов, то как же они могли быть пригодными для народного хозяйства в целом?

Отступление от коммунизма в НЭП сразу оздоровило страну. Став в своем деле специалистом, Григорий возненавидел крикунов-активистов, шумом прикрывающих неумение создать что-нибудь положительное. Сама собой проснулась любовь к родине. Григорий стал читать книги по истории. — Не могли русские цари быть только дураками и кретинами, если они создали государство, собравшее территорию в 1/6 часть мира.

— Сапожников!

Григорий вскочил с лавки.

— Забирайте вещи!

Камера была полна народа. В нос ударила вонь от стоявшей у двери гигантской «параши». Григорий, с трудом втискиваясь, переступил порог. Дверь сзади хлопнула тяжело и безнадежно.

Борис постучался и уже взялся за ручку двери, когда из темноты коридора услышал испуганный шопот сапожника:

— Осторожней, осторожней — комната опечатана...

— Арестовали? — сразу понял Борис.

— Сегодня утром. Уходите, пока целы.

Отойдя от дома на несколько кварталов, Борис остановился.

— Куда идти? Раз взяли Павла, значит дело дрянь — добрались до головки. Если что-нибудь знают в самом деле, постараются арестовать всех сразу... Но почему же меня не взяли? Чорт с ними, схожу к Алеше. Едва ли они засаду в квартиру устроили...

Лицо Наталии Михайловны было заплакано.

— Да, сегодня ночью. Отец лег немного отдохнуть, заходите ко мне.

Сели.

— Папироса есть?

Борис протянул портсигар. Жадно проглатывая дым и сдерживая слезы, она рассказала, что пришли в час ночи, увели в пять часов утра. Обыск был сравнительно поверхностный, держался Алеша хорошо и вообще на него можно рассчитывать. Борис сидел, слушал и глядел в потемневшие от горя глаза женщины. Между ним и Наталией Михайловной происходило то сближение, которое произошло в одно мгновение между Павлом и Григорием, когда Григорий, загородив дорогу во двор, сказал грубо: — Уходи; я заразный.

Странно только, что она меня ни капельки не боится! — думал Борис.

Какие у него хорошие глаза. Он немножко невоспитанный, но, наверно, очень хороший друг и товарищ, — думала Наталия Михайловна.

Когда Павел переступил порог камеры, первой его мыслью было, что тут не так плохо. Два больших решётчатых окна выходили во двор и давали достаточно света; правда, воздух был не особенно чистый и в камере было тесновато. В свое время средняя камера в Бутырской тюрьме в Москве была рассчитана на 25 заключенных: 13 человек с одной стороны и 12 с другой. Место 26-го человека занимала «параша». Каждому заключенному полагалось иметь отдельную койку, поднимавшуюся на день к стене. В 1930 году в такой камере, в среднем, содержалось 65 заключенных. Иногда это число поднималось до 100 и больше, иногда падало до 50-ти, но в среднем было 60-65 человек. Так как при всём желании 65 человек не могли улечься на 75 кв. метрах площади камеры, была придумана целая система ухищрений: на откидные койки положили доски и сделали сплошные нары — это позволяло использовать небольшие расстояния между койками и, таким образом, на нарах можно было поместить около 35 человек. Остальные 30 ложились на полу, наполовину забиваясь под нары и оставляя снаружи только голову и плечи. Человеколюбивое ГПУ для того, чтобы заключенные не спали прямо на бетонном полу, выдало на каждую камеру доски, которые на ночь стелили на пол в виде матрацев, а днем складывали около окна на нары. По конституции, составленной самими заключенными, выборный староста следил за внутренним порядком и распределением мест в камере. Каждый новичок получал место на ночь около двери, напротив громадной, вонючей «параши». По мере ухода старых заключенных и появления новых, а текучесть в камере равнялась в среднем человеку в день, счастливец посте-

пенно ложился всё ближе и ближе к окну. Пройдя по полу путь от «параши» до окна, после месяца мучительного ожидания, можно было рассчитывать получить место на нарах, но опять у двери, в непосредственной близости к благоухающей «параше». Место на нарах давало колоссальное преимущество: можно было положить свои вещи, лежать днем и вообще вести какой-то образ жизни. Не имеющий на нарах места новичок ходил днем, как неприкаянный, имея право только сидеть на краю нар или отдохнуть на чужом месте с разрешения хозяина.

Когда Павел вошел, то он, конечно, ничего не знал об этом железном порядке.

— Где у вас можно занять место? — спросил он наивно.

Пожилой мужчина в пенснэ отложил в сторону французский роман и строго посмотрел на легкомысленного молодого человека.

— Обратитесь к старосте, — сказал он сухо.

Староста оказался красивым, бледным мужчиной лет пятидесяти, с голубыми, измученными глазами. Встретил он Павла снисходительно ласково, достал тетрадку и записал его фамилию, год рождения и специальность.

— Я это делаю для себя, — пояснил староста полуулыбаясь, — получается интересная картина...

— Действительно интересно — согласился Павел, — И вам разрешают вести такой учет?

— В Бутырской тюрьме особенно легкий режим, — сказал староста. — На Лубянке 2 или 14 об этом и подумать нельзя, а здесь мы даже песни поем.

— Интересно, из кого же состоят заключенные?

— Извольте — я только вчера подводил итоги: у нас было 64 человека, из них 27 крупных инженеров. В среднем 66 процентов состава имеет высшее образование.

— Очень интересно. А где вы отведете мне место?

— С этой стороны порадовать вас нечем — вечером ляжете на пол у «параши», а днем можете сидеть где-нибудь на нарах.

Это объяснение не очень обрадовало Павла.

— Тито Руффо! — раздался рядом смачный возглас.

— В камере ругаться запрещено! — нервно вздрогнул пожилой мужчина в пенснэ, отрываясь от французского романа.

— А я и не ругаюсь... — нагло ответил смачный голос. — Тито Руффо был известный итальянский певец.

Старичок ничего не нашелся ответить и опять уткнулся в книгу.

Павел посмотрел в сторону смачного голоса. Широкоплечий, толстый мужчина с полными губами и мясистым носом заканчивал партию в шахматы с щупленьким, кудлатым человечком. Одет он был в серый летний пиджак и белую шелковую рубашку с открытым воротом.

— Новенький? — толстяк повернулся в сторону Павла.

— Новенький.

— Я тоже новенький, — сказал мужчина. — Из дома взяли?

— Из дома, — с удивлением ответил Павел.

— Одеяло взял?

— И одеяло и подушку.

— Молодец — отрезал мужчина и решительно поднялся на крепкие, толстые ноги. — Меня взяли у знакомых, на вечеринке. В чем одет, в том и привезли, — с презрением тыкнул он толстым пальцем в тоненький пиджак. — Ну, ничего — будем спать вместе. Вы со мной поделитесь одеялом и подушкой. Не беспокойтесь — со мной не пропадете, — закончил толстяк почти отеческим тоном и опять сел за шахматы.

— Мужчина довольно нахальный... — подумал Па-

вел. В то же время неунывающий тон толстяка и что-то действительно отеческое в его бесцеремонном обращении понравилось Павлу. Он прошел к окну и, усевшись на куче досок и вещей, стал осматриваться. Напротив старосты сидел татарин. Ноги у него были скрещены, как у Будды, лицо величаво спокойное с таящейся где-то за спокойствием свирепостью.

— Простите, кто это такой? — тихо спросил Павел сидевшего неподалеку некрасивого молодого человека в очках, надетых на очень большой, нескладный нос. Молодой человек ласково улыбнулся маленькими умными глазами и подсел ближе.

— Это бывший красный партизан. Сидит по делу монголов — «буржуазных националистов»; уже год в заключении. Иногда на него находит... терпит, терпит, а из-за какого-нибудь пустяка·взрывается: приходит в такое бешенство, что страшно делается, а потом обойдется и опять недели на две оцепенеет. Они со старостой самые старые в камере — оба в тюрьме уже по году отсидели.

— А кто староста по специальности?

— Технический директор одного из крупнейших авиационных заводов в Союзе; обвиняется во вредительстве.

— Простите, а вы кто по специальности? — не выдержал Павел. Любознательность не покидала его ни на минуту.

— Я доцент-математик, — скромно улыбнулся молодой человек. Меня наверное взяли потому, что я не скрывал своей религиозности.

— А скоро здесь вызывают на допрос?

— Разно... Я сидел месяц до первого допроса. Некоторые ждут еще больше, других вызывают скорее.

Ясно, что надо махнуть на всё рукой, запастись терпением и постараться извлечь из всего этого как можно больше жизненного опыта, — решил Павел. Он продолжал свой осмотр дальше. Всё пространство

между старостой, татарином и окнами занимали пожилые люди интеллигентного вида — очевидно те 27 инженеров, о которых говорил староста.

— Части камеры около окон у нас называются «Дачей» и «Дворянским гнездом». Инженеров держат подолгу и поэтому они прочно заняли лучшие места.

— А как называется место у двери? — спросил Павел.

— «Парашиной слободкой», — улыбнулся доцент, там сейчас укрепились кооператоры, обвиняемые в воровстве и растратах.

Действительно, «Парашина слободка» несколько нарушала высокий стиль камеры. С самого утра кооператоры что-то жевали и даже могло казаться, что хватили спиртного — настолько красны и возбуждены были их лица.

Дверь с шумом раскрылась и двое рабочих внесли в камеру корзину с черным хлебом.

— Староста, сколько у тебя? — спросил чекист, оставшийся в дверях.

— Сегодня 66 человек.

Чекист что-то отметил на листе бумаги.

Хлеб делили не поровну: старые заключенные, получавшие передачи, уступали половину своей порции новичкам. Следом за хлебом принесли кипяток в больших медных чайниках. Павел с наслаждением выпил кружку горячей жидкости и съел порцию хлеба. Начинало хотеться спать после бессонной ночи, но лечь было негде. От долгого сидения в неудобной позе болела спина. — Ничего, это ерунда, — подбадривал он себя, — надо переносить все лишения — впереди предстоят гораздо более серьезные испытания.

Из разговора с доцентом Павел узнал, что в Бутырскую тюрьму обычно попадают после Лубянки 2 или Лубянки 14. То, что его привезли прямо в Бутырки, должно было значить, что обвинение у него не очень серьезное, но на освобождение рассчитывать трудно,

потому что на Лубянке больше мучили, но зато чаще освобождали.

— Оправка! — возгласил надзиратель, с грохотом открывая дверь.

Все радостно повскакивали со своих мест. Павел заметил, что многие надевали сверх ботинок еще деревянные сандалии, вырезанные из досок и укрепленные на ногах различными импровизированными способами. Камера выстроилась в коридоре под наблюдением двух чекистов.

Хотя Павел и пробыл в тюрьме всего несколько часов, прогулка в конец коридора до уборной доставила ему настоящее удовольствие. Войдя в уборную, он понял, почему старые заключенные подвязывали к ногам дощечки. Уборная состояла из двух половин: умывальной и собственно уборной. В обеих половинах на полу стояла жидкая грязь, не менее как на сантиметр глубиной. К кранам и унитазам устанавливалась очередь. Чтобы не смущать друг друга, стояли спиной к достигшим заветной цели. Все стены уборной были испещрены надписями. Павла удивило, что ГПУ, повидимому, равнодушно относилось к этим нарушениям тюремных правил. Во всяком случае, за перепиской через уборную наверное следят специально посаженные в камеру лица и пользоваться этой возможностью не следует. Коли попал, то прерывай всякую связь с организацией, считай сам себя невиновным и не верь ничему, что видишь или слышишь в тюрьме или на допросах, — гласил кодекс организаций, созданных в условиях советского режима.

После оправки, занявшей около получаса, камера была вызвана на прогулку. Гуляли на небольшом дворике, расположенном прямо против окон тюрьмы. Ходить полагалось попарно. Один единственный солдат при этом стоял у двери, ведущей из корпуса во двор, и более следил за песочными часами, чем за поведением заключенных. Во всех окнах тюрьмы видны были лица

арестованных. Многие обменивались знаками, некоторые кричали в форточки. В левом окне нижнего этажа Павел увидел грустную физиономию Алеши. Алеша поглядел на него пристально и отвернулся с безразличным видом.

Надо будет пробраться к окну и понаблюдать за прогулкой всех камер. Дворов только два, можно будет проверить кто из наших еще сидит, — думал Павел.

После прогулки был объявлен «вшивый час». Тюрьма изобиловала всеми видами насекомых. В баню водили один раз в месяц. Единственным способом борьбы с паразитами была одновременная ловля их. Солидные профессора, крупные инженеры и неунывающие кооператоры по команде сняли рубашки и стали осматривать швы. Подслеповатый интеллигент, любитель французской литературы, подносил близко рубашку к глазам и давил с ненавистью и раздражением. Кооператоры относились к этому занятию равнодушно, перекидывались шутками и остротами, крякали и прищелкивали языками. Мрачный татарин давил плотоядно, методически; лицо его стало хищным и жестоким. Староста делал это неприятное дело тоже методически, но спокойно — как одну из своих многочисленных обязанностей.

После «вшивого часа» Павлу удалось пробраться к окну, со стороны «Дворянского гнезда». Крайнее место занимал шестидесятилетний путеец, седой и рыхлый, как пожилая дама. Пустил он Павла на свою территорию неохотно — очевидно молодость и любознательность мало импонировали старику. Впоследствии Павел убедился, что путеец признавал за людей достойных только старших инженеров, а из лиц других специальностей — известных адвокатов, доцентов и профессоров. Вся остальная камера рассматривалась им, как недостойный плебс.

Наблюдение из окна привело Павла к выводу, что аресты приняли значительный размах: среди выводи-

мых на прогулку он последовательно увидел Григория, Алешу, несколько спортсменов из окружения Григория и старичка Ивана Ивановича. — Этот-то как сюда попал, — подумал Павел, — к нашему делу его, кажется, пришить невозможно. Миша, наверное, гуляет на дворе рядом... Интересно, какова судьба Бориса и Николая.

Днем принесли обед. Он состоял из супа, сваренного из бараньих голов. В больших медных тазах, рассчитанных на 10 человек, в мутной вонючей жиже плавали глаза, куски губ и даже шерсть.

— Надо отказаться от такого супа — каждый день кормят всё хуже и хуже! — раздались отовсюду возмущенные голоса.

— Камера просит принести другой суп, — обратился староста к дежурному по коридору.

Дежурный, не теряя презрительного спокойствия, дал знак рабочим вынести вонючие миски. На сегодня заключенные остались голодными. Вечером, после второй оправки, была устроена для любителей прогулка внутри камеры. Человек двадцать построились в затылок и, насвистывая «Стрелочку», стали крутиться по проходу между нарами.

Перед глазами Павла в зловещем полумраке замелькали бледные лица. В этом шествии обреченных под аккомпанемент беззаботного мотива «Стрелочки» было что-то страшное. Наигранная бодрость почти оставила Павла.

Пляска смерти... — почему-то вспомнил он. — Самое страшное, когда ужас перемешан с весельем. Если бы они насвистывали что-нибудь грустное, было бы не так ужасно.

Павел опять сидел в неудобной позе у окна на досках, упираясь спиной в чьи-то вещи. — Господи, помоги пережить всё это — укрепи, поддержи! Сознание стало мутиться, глаза закрылись, безобразный видимый мир пропал — сознание искало отдыха и утешения внутри, в глубине души. Там, как во всякой глубине,

чем глубже, тем было спокойнее и невозмутимее. Только в отличие от морской глубины, где чем ниже, тем чернее и непригляднее, душевная глубина освещалась внутренним светом, и этот свет был, чем дальше от поверхности, тем ярче.

Павла, как и Григория, иногда мучили «роковые вопросы», только начались у него эти мучения раньше, совсем еще в юности, и были разрешены сами собой с пробуждением религиозности. Еще лет девяти-десяти от роду он иногда просыпался ночью от страха и бежал к матери. Вера Николаевна просыпалась, брала дрожащее существо под одеяло и согревала своей лаской и теплотой. Страх разгонялся прикосновением любящей руки. Впоследствии Павел справлялся с этими ужасами сам. Он начинал думать о Боге, о любви его к людям и от этих мыслей становилось так же тепло и радостно, как от материнской ласки.

Теперь, когда камера и кружащиеся в трагическом марше лица исчезли, внутренний глубинный свет засиял ярче обыкновенного. Павлу стало совсем тепло и радостно. — Только бы еще вытянуться и расправить спину, больше мне ничего не нужно... — сквозь забытье подумал Павел.

— Поверка! — зычный возглас пронесся по сводчатому коридору. Одновременно кто-то бил железом по отоплению. Внутренний свет погас, спина болела. После внезапного пробуждения камера показалась чудовищно отвратительной.

Григорий видел в окно, как Павел занимался гимнастикой. От этого зрелища в душе инструктора поднялись злоба и раздражение: — Нашел себе дом отдыха! И упражнения-то делает тяжело и неуклюже... Зачем бравировать! — Григорий отошел от окна. В его камере это место принадлежало старосте, инженеру Власову. Власов с первого взгляда понравился Григорию: на

коротком мускулистом теле сидела крупная седая голова; серые умные глаза покалывали собеседника из под седых, косматых бровей. Власов напоминал сильного ощетинившегося волка с оскаленными зубами, но весь этот оскал был направлен не на товарищей сокамерников, а на следователей и администрацию тюрьмы. Власов просидел уже восемь месяцев и был на двадцати допросах. Видя, что Григорий подавлен, староста подозвал его к себе, посадил на нары и грубовато спросил:

— Ошарашили, никак в себя не придешь?

Это сразу встряхнуло Григория.

— А как по-вашему? Не к матери на побывку приехал! — огрызнулся он, но в глубине души почувствовал благодарность к этому сильному, прямому человеку.

— Привыкнете... — уверенно сказал Власов. — У нас еще хорошо — народ всё приличный, большинств интеллигентов, а я вот два месяца в чисто уголовно камере просидел, это несколько похуже!

— А что это за уголовная камера? — Григорий почувствовал пробуждение интереса к жизни.

— В каждом блоке есть по одной чисто политической и одной чисто уголовной камере: в политической камере сидят члены старых дореволюционных партий: меньшевики, социалисты-революционеры, анархисты. В такой же камере, как наша, их всего 12 человек. У каждого своя постель, белье, хорошее освещение. В уголовной камере сидят воры, бандиты и беспризорные. Иногда их бывает еще больше, чем нас, иногда совсем мало. Меня посадил в эту камеру следователь, недовольный моими ответами на допросе.

— И тяжело вам пришлось?

— В самый первый момент было очень тяжело, потом я привык и ко мне привыкли. Самое главное — не надо от них сторониться. Двоим особо наглым я разбил физиономии, с другими делился передачами и для всех писал различные заявления. Кончилось тем, что

меня выбрали старостой, а когда переводили в нашу камеру, я со многими прощался, как с друзьями. Знаете, это смешно, но у настоящих уголовников много широты и товарищества — как раз того, что вытравлено большевиками из молодого поколения. За донос они своих убивают, а в пионерских отрядах донос считается доблестью.

— А что, на допросах плохо приходится? — спросил Григорий. Откровенность старосты сначала его поразила и испугала, но необычайность обстановки нарушала все привычные правила осторожности.

Серые глаза прямо посмотрели в глаза Григория.

— Самое лучшее говорить как можно меньше, — сказал старик. — Имейте в виду, что, виновны вы или невиновны, всё равно будут стараться вас обвинить. Чем вы меньше дадите о себе материала, тем к меньшему могут прицепиться. Доказать, объяснить всё равно ничего нельзя. Правило одно: не верьте ничему, что говорит следователь, и как можно больше молчите. Я вижу вы устали, лягте пока на мою койку, а я пойду играть в шахматы.

Григорий с удовольствием вытянулся. Вечерело. Где-то за окном, за каменными стенами, заходило солнце. Чем больше мерк свет, тем четче на противоположной стене обрисовывалась тень решётки. Стена была серовато-белая, с трещинами, бледно грязная, как лицо арестанта. Красный отблеск заката окрасил ее в розовый цвет.

Румянец это или кровь? — почему-то подумал Григорий. — Интересно, как они расстреливают? Говорят, заставляют идти по темному коридору и потом неожиданно стреляют в затылок... Это, наверное, почти безболезненно — сразу. Сразу оглушат, сознание помутится, а там темнота... темнота и бездна. Павел говорил, что немецкий философ Шпенглер считает, что сознание современного человека привыкло мыслить себя окруженным бездной, как на картинах

Рембрандта: всё окутано мерцающей бесконечностью. Странная вещь искусство! Целое миросозерцание эпохи выражается колоритом или даже фоном... Однако, как понять эту бесконечность? Стукнет по затылку и сразу вся картина пропадет; останется только фон из этой самой мерцающей бездны. Нет, уж лучше пускай ничего не останется, не хочу никакого фона! Либо уже жить полноценно, красочно, либо пускай ничего не будет! Это верующие выдумали всякую там посмертную жизнь... Жизнь и сознание просто физиологический процесс. Прекратился процесс и всё кончится. Сразу вообще ничего, ничего не будет — так спокойнее, а то...

— Поверка! — раздался отвратительный, резкий крик. По отоплению застучали так, что Григорий невольно привскочил. — Дожидайся, — подумал он с озлоблением, — пока ничего не будет... Вот она красочная гамма жизни, не окруженная мерцающей бездной!

Серые фигуры заключенных повскакивали со своих мест и стали строиться в два круга: одни на полу, вдоль нар, другие за ними, на нарах. Григорий встал около двери, как раз против «параши».

Два ряда бледных лиц, один над другим — круги Дантова ада.

Сколько жизней, сколько биографий! Целые тома Достоевского в одной камере ожили и стали скорбными тенями...

Дверь с шумом распахнулась и в камеру скорым шагом вошел латыш в форме комвзвода войск ГПУ. Серыми рысьими глазами он посчитал выстроившихся заключенных, быстро тыча пальцем в каждого. Лицо его застыло в маске деловитости и презрения. Около двери чекиста нагнал староста и, как показалось Павлу, слишком подобострастно сверил правильность наличия камеры. В этом сотрудничестве с палачами было

что-то унизительное. Дверь закрылась так же шумно, как и открылась. Тюремный день был закончен.

— Можно устраиваться на ночь! — скомандовал староста.

Сразу поднялся невообразимый шум и беспорядок. Разобрать и разложить доски в густой толпе было вообще нелегко. Положение осложнялось еще тем, что доски были разной толщины и подобрать их так, чтобы было можно лежать, требовало большого искусства. Не обошлось без споров и скандалов, и тут Павел полностью оценил необыкновенные способности своего будущего соседа. Нахальный толстяк оказался гениальным организатором: как только начался шум и споры, он прыгнул в самую гущу и сразу всех примирил. Когда два человека спорили из-за одной хорошей доски, он всовывал им в руки две одинаково плохих, брал в свой угол хорошую — и таким образом в несколько минут подготовил пол к спанью.

— Итак, мы возьмем себе по одному одеялу и положим головы на одну подушку, — обратился он к Павлу, засовывая ноги под нары и завладевая имуществом Павла. Делал он это с таким беззаботно компанейским видом, как будто оказывал молодому человеку одолжение.

— Моя фамилия Грубилкин, — пояснил он звучным баском, — но я с людьми обыкновенно не ссорюсь. Наоборот, мой жизненный принцип — живи и давай жить другим. — Грубилкин лег, заняв крупной головой всю середину подушки. Павел попробовал было устроиться сбоку, но понял, что из этого ничего не выйдет.

— Вот что, — сказал он решительно, — я захватил с собой еще смену белья и полотенце. Эту ночь я просплю на узле белья, вы спите на подушке, а на следующую ночь мы переменимся.

Грубилкин несколько смутился.

— Я могу вообще отдать вам подушку — сказал он.

— Не надо. Сегодня спите, завтра я ее возьму у вас сам.

Это тронуло нахального толстяка.

— Не сердись, — сказал он примирительно, незаметно для себя самого переходя на ты, — ты не бойся — со мной не пропадешь, я тебе еще пригожусь...

Глава пятнадцатая

ДОПРОС ГРИГОРИЯ

— Сапожников!

Днем редко вызывали на допрос. Григорий с трудом пробрался к двери.

— Может быть, освободят... Брать вещи? — спросил он мента[3].

— Вещи можешь оставить в камере, — ответил тот сухо, смотря куда-то в сторону.

Коридор показался очень пустым, большим и гулким. Охранник шел сзади, побрякивая связкой ключей. В коленях чувствовалась слабость, руки слегка дрожали. — Я же не мальчишка! — рассердился Григорий. — Власов советовал говорить поменьше. Действительно, у меня столько знакомых, что легко запутаться в показаниях... Интересно, что они знают? Этот Павел со своей интеллигенцией... Чорт их знает, что они могли выдумать!

Двор промелькнул быстро большим свежим пятном. Три серых ступеньки, короткий коридорчик, поворот направо, дверь, длинный коридор, устланный коврами... светло, опрятно, совсем как на воле. Внутри противное, тошнотное чувство — свет, уют, чистота отравлены чем-то гнусным и отвратительным. Справа в

---

[3] Ментом заключенные называли надзирателя.

коридоре ряд окон, слева — небольшие, свежевыкрашенные двери в кабинеты следователей.

— Подождите здесь. — Мент подошел к одной из дверей в середине коридора, постучал и просунул в дверь голову.

Сердце Григория сильно колотилось, голова кружилась. — Чорт знает что такое! Я ни в чем не виноват и кончено. Знакомые у меня только по спортивной линии, я не понимаю почему арестован...

Мент кончил говорить, затворил дверь и указал на нее глазами Григорию.

Ну, сразу — как в холодную воду!

За письменным столом сидел молодой человек с бледным скуластым лицом и что-то писал, не поднимая глаз.

Странно — не в форме, а просто в пиджачке...

Дверь закрылась, Григорий подошел к столу. Молодой человек продолжал писать, не обращая на него внимания. Это равнодушие не испугало, а рассердило Григория.

Хамством меня не прошибешь! — решил он, вдруг успокаиваясь, взял от стены стул и сел к столу против молодого человека. Колючие черные глаза поднялись от бумаг и зло уставились на Григория. Григорий спокойно принял вызов и, смотря в неприятные черные зрачки, обрамленные припухшими красноватыми веками с короткими ресницами, стал изучать противника.

Обыкновенный советский парень, злой и нервный к тому же. Строит из себя больше, чем есть на самом деле.

Черные глаза не выдержали взгляда Григория и опустились.

— Куришь? — вдруг спросил следователь.

— Курю, — ответил Григорий.

Черномазый парень протянул пачку папирос. Григорий с удовольствием закурил и отвел глаза от лица противника.

— Павлуху знаешь? — спросил следователь.

— Какого?

— Не прикидывайся — конечно, Истомина.

— Нечего мне прикидываться. Истомина я знаю.

— Давно?

— С 1928 года.

Следователь достал лист бумаги и начал писать протокол допроса.

— Когда он принял тебя в контрреволюционную организацию? — спросил он, не поднимая головы от протокола, совсем простым, дружеским тоном.

— Никогда, — ответил Григорий небрежно, в тон вопроса. Следователь поднял бледное лицо от стола и изобразил удивление.

— Как никогда? Он прощупывал тебя на лавочке, в сквере против Храма Христа Спасителя и потом принял в организацию у себя на квартире...

Холодок пробежал по спине Григория.

Неужели Павел предал? — В сквере они беседовали несколько раз, окончательно договорились на квартире у Павла. «Не верь ничему, что говорит следователь», — вдруг вспомнились слова Власова. Еще толком не обдумав ситуации, Григорий почти машинально сделал возмущенное лицо и ответил:

— Я вообще никогда ни с кем в жизни не вел контрреволюционных разговоров потому, что я рабочий и сын рабочего, а не буржуй.

В следующий момент он понял по глазам следователя, что тот ничего не знает и брал только «на пушку». Неприятные зрачки подло забегали и, желая сбить Григория с уверенного тона, бледный молодой человек спросил максимально язвительным голосом:

— Но ведь вы сами говорите, что хорошо знакомы с Истоминым. Чем он вызвал в вас такой повышенный интерес?

— Только тем, что Истомин здоровый, крепкий парень и мог стать хорошим гимнастом.

— Странно... Истомин уже сознался, что принял и вас, и вашего брата в организацию. Ваш брат это подтверждает...

Всё врет! — окончательно успокоился Григорий. — Однако, чуть было не поймал...

Следователь, повидимому, не исчерпал возможностей вежливого разговора и поэтому продолжал в том же подчеркнуто предупредительном тоне, обращаясь на вы.

— Нам известно, что вы в дальнейшем работали по заданиям Истомина в спортивной среде. Мы понимаем, что вы введены в заблуждение, что вы были только исполнителем чужой воли. Чистосердечное признание может не только облегчить вашу участь, но...

Вся эта тирада окончательно поколебала авторитет следователя в глазах Григория. — Дурак! — думал он, — туда же суется допрашивать...

— Что же вы молчите?

— Только потому, что я не понимаю, о чем идет речь. Я не настолько знал Истомина, чтобы ручаться за его политическую благонадежность, но если он в чем-то сознался, то я к этому никакого отношения не имею.

Лицо следователя исказилось бешенством. Он вскочил, ударил кулаком по столу и заорал на весь кабинет:

— Так ты тоже такая же сволочь, как Истомин и Желтухин! Мы тебя заставим сознаться, всё равно нам всё известно!

Григорий взял со стола еще папиросу, закурил и сел, молча, спокойно поглядывая на вышедшего из себя противника. Это подействовало на следователя отрезвляюще. Он замолчал, сел опять за стол, взял новый лист бумаги и начал допрос заново с заполнения анкеты и расспроса о родных и знакомых Григория.

Несмотря на первую победу, нервы Григория были

напряжены до крайности. Тошнотное чувство возобновилось с прежней силой. Каждый ответ приходилось взвешивать и обдумывать. Следователь прицеплялся к каждой мелочи и передергивал при записи каждый ответ. Трудно было сохранять непринужденно невинный тон. В перечислении знакомых Григорий всё время говорил только о тех, кого встречал в официальных местах — на службе, с кем был знаком по спорту. Об остальных связях, особенно неслужебных, он умалчивал совсем. Явно было, что следователь плохо осведомлен об его знакомствах и тем более надо было быть осторожным. Часы шли за часами. Когда Григорий думал, что допрос уже кончен и остается только подписать протокол, оказалось, что в протоколе записано совсем не то, что он говорил. Вместо заявления, что Григорий не участвовал ни в какой контрреволюционной организации и ничего не знал о существовании каких-либо группировок, было написано: «О моей работе в контрреволюционной организации, созданной Истоминым, показывать отказываюсь...» и так далее — все ответы были переделаны в том же стиле.

Григорий так обозлился, что силы вновь вернулись к нему. Он стукнул кулаком по столу и обругал следователя матерной руганью. Следователь еще более побледнел, глаза его совсем ввалились. Он вскочил и разыграл снова приступ бешенства и возмущения упорством Григория.

Не допрос, а чёртов водевиль!, — подумал Григорий, вновь чувствуя приступ слабости.

— Вон! — закричал следователь и открыл дверь кабинета. Григорий вышел шатаясь. В коридоре появился солдат и велел ему стать к стене.

Это не конец, а только начало... ну ладно, у меня тоже упрямства хватит!

Окна коридора уже давно были темные, электрические лампочки неприятно резали утомленные глаза, ноги одеревенели и ныли. Время от времени двери ка-

бинетов открывались и в них вводили или из них выводили арестованных.

Не будут же они меня вечно держать в коридоре — я могу слишком много увидеть. Вытерплю... вызовет — увидит, что со мной не так легко справиться!

Ненавистная дверь открылась. Бледный молодой человек вышел с портфелем в руках и, даже не удостоив Григория взглядом, скрылся в конце коридора. Настроение Григория упало.

Надо во что бы то ни стало вытерпеть — когда-нибудь это да кончится, в жизни всё имеет конец.

Первый раз мысль о неизбежности смерти не испугала Григория. Охранник давно сидел на стуле и, посматривая в окно, пускал клубы дыма. Хлопнула дверь. По коридору шел мент со связкой ключей в руках. Поровнявшись с Григорием, он что-то тихо сказал охранявшему Григория красноармейцу; тот кивнул головой:

— Следуйте за мной!

Григорий с трудом сделал первый шаг, ноги почти не слушались.

Куда? Внезапный ужас овладел всем его существом. Ужас этот заставил забыть про боль в ногах.

Двор выглядел таинственно и мрачно. Высокое здание посередине высилось, врезаясь в звездное небо прямыми, ровными стенами.

Эх, эти вечные мучения и вечное беспокойство! Никакого ада нет, как нет и рая. Смерть это полное уничтожение... Как хорошо ничего не чувствовать!

Тюремный коридор показался родным и знакомым.

Ведут в камеру... Попрошу у Власова разрешения отдохнуть на его койке.

Дверь с грохотом отворилась. В тусклом, зловонном полумраке весь пол был устлан распростертыми, тяжело дышащими телами. Власов сел на нарах, тихо поманил к себе Григория и участливо спросил:

— Здорово мучили?

Григорий почувствовал, что рыдания сдавили ему горло.

— Ешь — на окне в консервной банке суп, мы тебе оставили, — сказал староста ласково.

Глава шестнадцатая

ЖИЗНЬ ТЮРЕМНАЯ

В камере Павла по вечерам, после проверки, читались лекции. Когда все укладывались и водворялась некоторая тишина, заранее намеченный лектор садился на нары и начинал лекцию. Организацией лекций ведал театральный критик — толстый сорокасемилетний мужчина с круглым лицом, круглыми глазами и круглым носом, Сергей Сергеевич Дальский. Дальский сам был прекрасным лектором. Говорил он настолько гладко, что некоторые приподнимались, чтобы посмотреть, действительно ли Дальский говорит или читает по книге. Камера прослушала специальные лекции по истории Художественного театра, о Щепкине, об основателе русского театра Волкове и многие другие. Приятель Павла, доцент математики, прочел так просто и интересно о четвертом измерении, что инженеры и кооператоры слушали его с одинаковым интересом.

Иногда лекции прерывались лязгом ключей и грохотом двери — кого-нибудь вызывали на допрос. Случалось, что вызванным оказывался лектор. После того, как дверь хлопала, Дальский обращался к аудитории с объявлением что, по независящим от организаторов доклада обстоятельствам, лектор не может продолжать начатое выступление. Русские люди не теряли чувства юмора даже на краю могилы.

Павел сдружился со многими своими сокамерниками, но что его неприятно поразило, это ложное самолюбие инженеров. Казалось бы, в тюрьме всеобщим уважением должен пользоваться тот, кто лучше других себя держит на допросах, легче переносит страдания и проявляет больше других чувство товарищества. Оказалось наоборот — инженеры расценивали человека по его положению на воле. Это несколько задевало только что окончившего университет Павла, его как бы третировали за молодость. С другой стороны, прощали такие вещи, которые он не простил бы никогда. В камере однажды появился высокий молодой инженер в золотом пенснэ, с умным лицом, покрытым рыжими веснушками и украшенным золотистой бородкой. Инженер, по его собственным словам, сидел уже давно и попал в камеру с Лубянки. На основании старого арестантского правила, ему сейчас же дали первое освободившееся на нарах место. Через несколько дней инженер пропал: его вызвали на допрос и он не вернулся. Еще через неделю он появился снова — выбритый, чистый и еще более спокойно самоуверенный, чем раньше. Пробравшись к старосте, он сразу попал в дружеское окружение инженеров.

— Где вы так долго были?

— Возили опять на Лубянку — инженер загадочно улыбнулся. — Мне предложили работу — некоторые уже работают до приговора... Представьте себе, я вчера гладил живую собаку! Для большей наглядности рассказчик наклонился и сделал такое движение, как будто собака и сейчас еще стоит у его ног, а он ее гладит.

Павел увидел, что на окружающих рассказ произвел сильное впечатление: спастись от приговора все равно нельзя, а тут появляется перспектива работы по специальности, вместо бессмысленного сидения в вонючей, переполненной людьми камере — прекрасное чистое помещение с большими окнами, паркетным полом, совсем как в хорошем проектном бюро.

— Как это вам так повезло? — не выдержал дебелый старик, занимавший место у окна.

В ответ из-под золотого пенснэ блеснула загадочная улыбка:

— Я подписал протокол... кое-что там преувеличено, но что же делать — всё равно общего положения это не меняет, а спорить из-за деталей нет никакого смысла.

Глаза всех слушателей, как по команде, опустились и на лицах появилось выражение зависти, стыда и колебания.

— Тито Руффо! — шепнул Грубилкин на ухо Павлу, — это наверное специально подосланный агент.

Высокий инженер, как ни в чем не бывало, занял свое старое место и было совершенно незаметно, чтобы отношение окружающих к нему сколько-нибудь изменилось. Еще через неделю он навсегда пропал из камеры.

Павел сидел у того же самого следователя и в том же самом кабинете, как и Григорий за неделю до него. Перед этим Павел долго обдумывал свою тактику и решил, чтобы не запутаться в показаниях, отказаться называть фамилии своих знакомых. — Пусть расстреляют, — решил он с молодым задором — буду терпеть до конца.

Следователь был с ним очень осторожен. Как борцы, с полчаса они обменивались короткими репликами, нащупывая слабые места противника.

— Ваш отец был генералом?

— Мой отец был юрист.

— Как же так? У меня в деле есть показание, что ваша мать называла себя генеральшей.

— Мой отец был юристом и у меня сохранились его документы и фотографии.

— Когда вы начали борьбу с советской властью?

— Никакой борьбы я не начинал.

— Но вы ведь активно религиозный человек?

— Да, я активно религиозный человек, но церковь отделена от государства, а религия частное дело каждого.

— Вы, советский студент-историк, унижались до того, что прислуживали какому-то иподьякону!

— Я был сам иподьяконом и прислуживал архиерею.

— Это безразлично — я не знаю и знать не хочу этих идиотских названий! — черные глаза стали еще более злыми. — Назовите мне своих знакомых.

— Представьте мне сначала обвинение: я хочу знать, за что я арестован.

— Так ты хочешь обманывать советскую власть! Ты запираешься! Мы всё равно всё знаем, ты от нас не уйдешь!

— Коли вы всё знаете, стало быть, и спрашивать меня нечего. Я повторяю: предъявите мне обоснованное обвинение.

— Ну, постой, я тебе покажу! — Следователь выбежал из кабинета.

Через минуту дверь открылась и вошел молодой человек в военной форме без знаков различия. Лицо у молодого человека было сравнительно интеллигентное. Он сел против Павла и тоном снисходительного сожаления начал допрос сызнова. Павел почувствовал тоску и утомление. «Господи, просвети, спаси, помилуй. Дай, Господи, сил правильно отвечать!». Стало легче: внутреннее спокойствие противостояло холодной враждебности окружающей обстановки. Через пять минут Павел понял, что новый следователь совершенно не знает его дела. — Просто хотят утомить, — сообразил он и стал затягивать и комкать ответы, чтобы выиграть время и сохранить силы.

Дверь с шумом растворилась — вошел давешний бледный, черноглазый следователь и высокий, интел-

лигентного вида мужчина с длинным, горбатым носом и вьющимися волосами. Молодой человек в военной форме незаметно выскользнул в дверь.

— В чем дело? — обратился к Павлу высокий мужчина раздраженным тоном. — Вы отказываетесь давать показания представителям власти, стало быть, вы оказываете открытое сопротивление!

Лицо и глаза первого следователя изобразили священный ужас.

— Я хотел бы, чтобы мне предъявили обвинение.

— Вы обвиняетесь в участии в контрреволюционной организации.

Высокий мужчина сделал вид, что он не может даже допустить возможности каких-либо возражений со стороны такого мальчишки, как Павел.

— Говорите конкретнее. Я нисколько не скрываю своей религиозности и вообще ничего не собираюсь недоговаривать, но согласитесь сами, что прислуживание в церкви во время богослужения не есть контрреволюционная деятельность.

Говоря всё это, Павел заставил себя полностью поверить своим словам и глядел, не отводя глаз, в длинное лицо высокого мужчины. В умных серых глазах следователя появилось удивление и некоторая неуверенность — очевидно чекист не мог себе представить, чтобы такой неопытный мальчишка, как Павел, мог так хорошо врать; самое же главное, полная откровенность в таком предосудительном вопросе, как религиозность, сбивала с толку.

Ничего они как следует не знают, — с радостью почувствовал Павел, — а доносов у них столько, что и разобраться в них, наверное, времени нехватает.

— Да, но почему вы в таком случае отказываетесь давать имена своих знакомых? — следователь, очевидно, торопился, ему некогда было заниматься такими мелочами, как дело группы какой-то там молодежи.

— Очень просто — я взят, очевидно, по какому-ни-

будь совершенно нелепому обвинению. Если меня держат без всяких оснований, то это могут сделать и с теми, кого бы я назвал... какими глазами я на них потом смотрел бы?

Высокий следователь окончательно убедился, что имеет дело с не вполне нормальным человеком, во всяком случае с чудаком, едва ли в самом деле опасным для советской власти. На лице его явно отобразилось любопытство. Все трое всё еще стояли у стола посередине комнаты. Высокий чекист всё время собирался уходить.

— Дело ваше, — сказал он, следя за эффектом своих слов, — пять лет концлагеря вам всё равно обеспечено; зависит только от вас, сохраните вы жизнь или нет: упорством вы можете добиться только расстрела.

— Ерунда, — ответил Павел, — я ни в чем не виноват и вы меня, конечно, выпустите.

Мужчина презрительно усмехнулся — ну, что делать с таким дураком — повернулся и вышел, не считая возможным дольше тратить свое драгоценное время. Бледный следователь сел и допрос начался опять.

Вернувшись утром в камеру, Павел шопотом рассказал о своем допросе Грубилкину. Тихон Ильич выслушал всё внимательно. Павел ожидал похвалы своему мужеству, но инженер задумался.

— Тебя спасет то, — наконец, сказал он, — что против тебя вообще нет никакого материала, а доносам они сами знают цену. Если бы твое сознание было им действительно нужно, они сумели бы как следует нажать, но для нажима нужны время и усилия. Все следователи сейчас работают часов по 16-18 в день — где им терять время на такие пустяки, как твое упорство! Но расстрелять тебя действительно могут — на это ведь много времени не потребуется...

Один из сокамерников уступил Павлу место и он спал целый день тяжелым, бездумным сном.

Была ночь. Григорий сидел на нарах и курил: не спалось. От «параши» шла тяжелая, гнусная вонь. — Пожалуй, лучше было бы спать на полу около окна, чем на нарах около «параши», — думал он. — Как Алеша переносит весь этот ужас?

В коридоре тяжело хлопнула дверь. Кого-нибудь на допрос?

Каждый раз при мысли о допросе сердце Григория ёкало. Шаги двух человек зазвучали по коридору. — Ведут новичка — на допрос вызывает один охранник. Ключ с лязгом впился в дверь камеры. Григорий напряженно смотрел на толстые железные листы, покрашенные зеленой, облупившейся краской. Дверь отворилась. Через порог переступил худой, как скелет, юноша с двумя четко выделявшимися пятнами вылезших волос на висках. Мент захлопнул дверь и молодой человек застыл в нерешительной позе на пороге, обводя устланную спящими телами камеру лучистыми глазами.

— Садитесь ко мне на нары, — тихо сказал Григорий.

Такой же мальчишка, как Алексей! — подумал он про себя.

— Благодарю вас.

Молодой человек сел, с трудом сгибая костлявые, угловатые колени.

— Откуда?

— Из собачника, с Лубянки.

— Ложитесь на мое место — я всё равно спать не буду.

— Спасибо, я посижу. Меня зовут Валентин, — сказал молодой человек и протянул Григорию тонкую, прозрачно-бледную руку.

— Давно?

— Больше полугода. Сейчас у нас какой месяц?

— Май, — с удивлением ответил Григорий.

— Май, — повторил молодой человек и улыбнул-

ся. — Меня взяли в ноябре. Всё это время я провел в одиночках и потерял счет времени. Вы себе представить не можете, как я рад, что попал, наконец, в общую камеру.

За что его так? — с возрастающим интересом всматриваясь в молодого человека, подумал Григорий. На вид ему было лет двадцать. В том, как он держался, было что-то женственное и это отталкивало Григория. Не нравилась ему и слишком мягкая, вежливая манера говорить, но всё это были мелочи. Самое главное стояло где-то за лучистыми глазами, за всей изможденной мученической внешностью, и это самое главное своей ничем непоколебимой силой импонировало любящему всё сильное Григорию.

— Пытали? — не выдержал он после длинной паузы.

Тонкие пальцы поправили волосы на вылезших местах.

— Не очень... Самое главное, что долго. В собачнике такие камеры, что нельзя было выпрямиться, а кроме того, они меняли температуру: то очень жарко, то несколько градусов ниже нуля.

— Били?

— Вначале, потом перестали — надоело.

— Чего же они от вас добивались?

Добрые глаза поднялись на Григория. — Мне скрывать нечего и терять тоже нечего — они сказали, что меня расстреляют. Я даже не понимаю, почему меня перевели в вашу камеру... наверно, я им уже не нужен, приговор почему-либо не готов, а место в одиночке понадобилось для кого-нибудь другого.

Молодой человек помолчал, радостно осматривая камеру.

Григорию стало не по себе от этого игнорирования неизбежной и близкой смерти. Может быть, это специально подосланный провокатор? Нет, не может быть — несомненно, всё им рассказанное правда.

Григорий еще ни разу в жизни не видел сочетания такой физической слабости с такой душевной силой и спокойствием. — Похож на христианского мученика... я думал, что таких вообще не бывает.

Молодой человек заговорил опять:

— Я не советский — я эмигрант. Правда, я уже несколько раз бывал в России, но только нелегально — я работал от Обще-Воинского Союза.

Григорий затаил дыхание. Он уже и раньше слышал о белогвардейских террористах, но не особенно верил в реальность их существования, а теперь случай свел.

— Вас поймали?

— То-то и дело, что нет — я сам приехал.

— Как? — Григорий перестал что-либо понимать во всей этой необыкновенной истории.

— Да, я приехал сам. Мои родители выехали, но сохранили подданство. Мне исполнился 21 год и я приехал в армию.

— Зачем?

— Я знал, что меня, конечно, посадят, но надеялся, что удастся отделаться несколькими годами концлагеря, а потом... потом я мог бы продолжать подпольную работу на родине.

Лучистые глаза засветились.

— Ну, а дальше?

— Как только я попал на советскую территорию, меня арестовали — и в тюрьму. В провинции я просидел несколько месяцев — там очень сильно били. Оказалось, что они знали больше, чем я предполагал. Трудно пришлось, я уже тогда понял, что проиграл... Потом переодели в форму ГПУ, забинтовали голову так, что остались одни глаза, и привезли в Москву, на Лубянку. Тонкие пальцы опять пробежали по волосам.

— Эти пряди у меня выпали после одного допроса — было очень неприятно, а когда пришел в камеру и

поправил волосы — смотрю: в руках остались целые клоки. С тех пор никак не зарастают...

— А зачем вы ходили в Россию нелегально?

— Мы хотели создать подпольные группы по эту сторону кордона. Попутно приходилось заниматься террором...

У Григория на минуту проснулась старая комсомольская подозрительность и ненависть к эмиграции.

— Что же, вы хотели какого-нибудь генерала вместо Сталина посадить? — спросил он.

Юноша нахмурился. Первый раз легкая тень пробежала по его лицу.

— Обще-Воинский Союз готов служить России и никакого правителя ей навязывать не собирается. Белые боролись не за «помещиков и капиталистов», как говорят у вас пропагандисты, а за Учредительное собрание и законный порядок.

Григорию на минуту стало стыдно за свой непроизвольный выпад.

Чего это я? Все, кто против большевиков — наши союзники. Нечего разбирать — правые или левые. Вот он, сын белого офицера, я — сын рабочего, а сидим в одной камере и если его расстреляют, а меня нет, то только потому, что до моих дел не докопались и я сумею их обмануть лучше, чем он.

— А вы давно сидите? — спросил молодой человек.

Подозрительность опять проснулась в Григории.

— Я недавно, — ответил он небрежным тоном, — меня, наверно, скоро выпустят.

В коридоре опять раздались тяжелые шаги. Два мента открыли дверь.

— Павлов!

Молодой человек поднялся.

«С вещами по городу...». На тюремном языке это значило, что куда-то отправляют. Валентин шагнул к тяжелой двери, лучистые глаза последний раз взглянули на Григория. Чувствуя, что делает глупость, Григо-

рий вскочил и, не обращая внимания на чекистов, крепко пожал руку молодому человеку.

— Не унывайте, — сказал он.

— Спасибо — мне уже легче. — Валентин хотел сказать еще что-то, но вместо этого только взглянул. Взгляд этот Григорий запомнил навсегда.

— Ну, уже подружились! Нечего тут болтовней заниматься... — грубо цикнул один из чекистов.

Дверь особенно сильно хлопнула. Григорий лег, сам не понимая, что происходит в его душе. Ясно чувствовал он только одно: этого белогвардейца он никогда уже больше не увидит...

В камере Павла произошел скандал. Всё началось из-за окна. Ночи были еще холодные. Старики-инженеры, занявшие «Дачу» и «Дворянское гнездо», боялись простуды и вечером закрывали окна; «Парашина слободка» бурно протестовала. Там, в окружении кооператоров, жил главный враг инженеров — советский писатель, черный, вертлявый человек с острым носом, большим бледным лбом и глазами, скрытыми роговыми очками. Это был настоящий классический тип русского нигилиста. Завистливый, снедаемый неудовлетворенным честолюбием и вечным беспокойством, он постоянно ссорился со всеми, но на беду соседи его были грубы, зубасты, обладали железными нервами и связываться с ними не было никакого расчета, тем более, что писатель иногда пользовался их передачами. Главная его ненависть направилась по «классовой линии» на инженеров, но они жили далеко и были сплочены. Таким образом, желчь приходилось волей-неволей накапливать. Зато, когда поднимался скандал общекамерного размера, писатель делался неизменным лидером любой оппозиции, направленной против инженеров и старосты. На этот раз он даже вскочил на нары

и произнес целую обвинительную речь: инженеры узурпировали власть в камере. Староста был выбран четыре месяца тому назад, состав теперь другой... Если старики боятся простуды, то могут переселиться в «Парашину слободку» и уступить другим захваченные ими лучшие места у окна.

Старики разволновались, лица их покраснели. Они, в свою очередь, презирали и ненавидели писателя и дорожили своими местами у окна. Всех примирил неизменный Грубилкин.

— Тито Руффо! — воскликнул он на всю камеру, — надо назначить «Короля воздуха». Мы выберем человека, который один будет вправе открывать и закрывать окна.

Все засмеялись, большинству предложение понравилось. Коварная политика писателя, пытавшегося по вопросу о свежем воздухе сколотить блок из кооператоров и свергнуть инженерное правительство, потерпела крах. Грубилкин подавляющим большинством голосов был избран «Королем воздуха».

Личная судьба «Короля воздуха» в это время стала ухудшаться: всё чаще его вызывали по ночам на допросы и всё позднее он с них возвращался.

— Если тебя скоро освободят, — обратился он както к Павлу, — то зайди к жене и скажи, что вряд ли мы с ней увидимся — дело наше серьезно, арестовано несколько тысяч казаков. Очевидно на Кубани неспокойно — ну, они по излюбленному методу и устроили избиение младенцев. Я сейчас жалею только о том, что сижу без всякой вины. Надо было им хоть чем-нибудь досадить — хотя бы, действительно, вредительство организовать, а то я, как идиот, работал по 12 часов в сутки самым добросовестным образом, а теперь вот получил благодарность... Жена у меня хорошая, — продолжал он вдруг изменившимся голосом, — обманывал я ее — может, за это Бог и наказывает... Ну, по крайней мере передашь ей, что я не назвал ни одной

фамилии из своих близких знакомых и вообще, если расстреляют, то умру как русский офицер.

Павел почувствовал уважение и жалость к этому, недавно еще такому веселому и самодовольному человеку.

Через неделю Грубилкина вызвали с вещами. На прощанье он обнял Павла и по похудевшему, осунувшемуся лицу инженера потекли слезы.

— Прощай, не поминай лихом! Главное, если освободишься, зайди к жене...

Дверь хищно лязгнула. Все были уверены, что «Король воздуха» взят на свободу.

Через несколько дней было установлено, что Тихон Ильич посажен в одиночку в Пугачевскую башню для фундаментальной обработки. Через неделю пришедший с допроса кооператор рассказал, что встретился во дворе с Грубилкиным — он поседел и еле двигался. Это было последнее точное известие. Дальше поползли неясные слухи, что Грубилкин расстрелян вместе с группой кубанских казаков. Так ли это, Павел никогда не мог узнать. Попытки найти через несколько лет жену Тихона Ильича не дали никаких результатов.

Глава семнадцатая

БЕГСТВО БОРИСА

Борис вернулся домой совсем вечером. Федьки уже не было: Борис уволил парня после ареста товарищей. Федька давно начал чуять опасность и ушел без долгих разговоров.

Борис понимал, что и ему надо куда-нибудь уехать. Председатель сельсовета давно был ублаготворен спиртом и деньгами, все необходимые документы были у Бориса наготове. Надо было только продать остаток кожи и уехать.

Войдя в комнату, Борис зажег керосиновую лампу, достал из-под пола крынку молока и буханку хлеба и сел ужинать. С продуктами становилось всё хуже и хуже. После введения карточек, несмотря на громадные знакомства, покупать даже хлеб было очень трудно. Приходилось заходить ночью к родственнику-кооператору, торговавшему в пристанционном киоске, и выносить всё так, чтобы никто не видел.

Может быть, сжечь дом, чтобы этим мерзавцам не достался, — думал Борис, жуя черствый хлеб, да уехать... Куда? Теперь столько строек, что устроиться будет не трудно. Я когда-то хорошо чертил...

В ставню закрытого окна тихо постучали. Борис вздрогнул от неожиданности, подошел к самому окну и тихо спросил:

— Кто там?

— Это я — Ленька.

Ленька был дальним родственником Бориса и служил на станции милиционером.

— Выдь на минутку, только скорее.

Борис отодвинул деревянный засов и вышел. После избы ночь пахнула в лицо свежестью, летним благоуханием, щелканьем соловьев. Из темноты вынырнула фигура Леньки и зашептала Борису на ухо, всё время оглядываясь:

— Уходи скорее: со станции за тобой наряд милиции послан. Узнали, что Кузьмич у тебя скрывался... Я верхом прискакал по короткой дороге. Уходи!

— С собаками? — спросил Борис.

— Нет — два агента и два милиционера.

— Спасибо, иди. Да, постой, где у тебя лошадь-то?

— Я ее в барском парке спутал.

— Хорошо. Иди туда и подожди — может быть, понадобишься...

Ленька исчез в темноте. Борис прислушался, было совсем тихо. Чувство свободы и желание борьбы наполнили его грудь.

Так я вам и дамся, попробуйте взять!

Борис вернулся в избу, взял деньги, надел теплую куртку и вышел. Затем он подошел к окну соседа Петрова, три раза стукнул и отошел в тень цветущего куста сирени. На крыльце появилась коренастая фигура Петрова. Петров остановился и стал всматриваться в темноту.

— Это я, — сказал Борис.

Петров подошел к кусту.

— За мной сейчас агенты приедут... иди сам к сельсовету, а здесь накажи мальчишкам проследить. Я буду ждать в парке, у пруда. Если уедут, не оставив засады, я сегодня же ночью вывезу свое барахло; если оставят засаду, тогда сообразим, что делать.

— Хочешь их тут и прикончить? — спросил Петров.

— Нет, на что их приканчивать! Это ведь пешки. Ну, я пошел.

Борис обогнул пруд и лег на траву среди густого куста жасмина. Ночь дышала спокойствием и любовью. Борис вспомнил синие, с поволокой глаза Любы. Почему я ее не замечал раньше? — подумал он.

Люба была старой гимназической знакомой Бориса. С Любой он встретился совсем недавно: она переехала в Москву и Борис стал бывать у нее. Это была одна из причин, почему он тянул с отъездом.

Со стороны проезжей дороги, проходившей недалеко от пруда, раздался отчетливый стук колес и храп лошади.

А в самом деле, Петров почти прав — было бы приятно встретить их около леса с обрезом... что он зря в земле гниет!

Совсем над ухом, чуть ли не на том кусту, под которым лежал Борис, защелкал соловей.

Эх, не скрываться от ГПУ, а гулять бы в такую ночь с Любой!

Синие, с поволокой глаза опять ясно представились Борису. — Скоро уже тридцать стукнет — пора жениться. Власть проклятая — не дает жить нормально! А на Любе можно жениться — она всё понимает. Отец ее был богачом, теперь потерял всё и ни капельки не унывает — торгует себе газетами, на жизнь кое-как зарабатывает и удовлетворен. Да, но куда ехать?

Скоро Борису надоело разрешать трудные жизненные вопросы и стало клонить ко сну. Нервы у него были крепкие, выносливость железная, но, оставаясь в вынужденном бездействии в удобной позе на мягкой траве, он не мог противиться дреме.

— Борис Петрович, а, Борис Петрович! — Петров уже несколько раз подходил к пруду. — Может быть, уехал, не стал дожидаться...

Петров остановился и прислушался. Было тихо. Спугнутые его появлением лягушки и соловей молчали. Откуда-то доносилось тихое посапывание. Петров пошел по дорожке вдоль пруда — посапывание усилилось. Борис лежал на спине, лицо его слабо освещалось блеском звезд. Выражение было блаженно детское, руки сложены на груди. Петров остановился.

Вот спокойствие! — подумал он с завистью, — Я из-за него ночь не сплю, а ему хоть бы хны... и то сказать — парень здоровый, образованный, руки золотые. Куда ни уедет, кусок хлеба заработает.

Петров присел на корточки и стал трясти Бориса за плечо. Борис не сразу открыл глаза.

— Чего тебе? — спросил он недовольным голосом.

— Мне-то ничего! — не без ехидства ответил Петров, — а вот тебя так чего доброго и сцапать могут...

Борис протер глаза, сел, похлопал длинными ресницами, почесал спину и вспомнил всё.

— Уехали? — спросил он без нотки страха и волнения.

— Уехали. Два часа всё дожидались, теперь уехали. Дом-то опечатали, а в сельсовете приказали — как

придешь, так чтоб тебя беспременно задержать и в район отправить.

— Хорошо, — сказал Борис вставая, — пойдем...

— Куда? — спросил Петров, глядя исподлобья на широкоплечую фигуру Бориса.

— Куда? Домой, я хочу, всё свое барахло забрать.

— А как ты его заберешь? Дверь заколочена и сургучная печать наклеена.

— У тебя лишняя упряжь есть? — спросил Борис вместо ответа.

— Есть.

— Сходи в барский парк и разыщи Леньку-милиционера — он там лошадь пасет. У меня на дворе стоит телега. Мы с Ленькой перелезем через забор, войдем со двора, нагрузим воз, потом откроем ворота, запряжем и уедем. А своим мальчишкам накажи, чтобы, пока мы накладываем, постерегли лошадь да посмотрели, чтобы кто опять со станции не нагрянул...

Если бы ночь была светлее, Борис смог бы разглядеть на лице Петрова страх и некоторое колебание, но категорическая форма приказания и невозмутимое спокойствие Бориса заставили его исполнить всё сказанное беспрекословно.

Через час ворота двора Бориса бесшумно отворились, в них была заведена Ленькина лошадь уже в хомуте и шлее, а еще через четверть часа из них выехал нагруженный воз, поскрипывая проехал по улице и скрылся в темноте усаженной березами дороги. Никто из соседей не слышал или не хотел слышать скрипа колес телеги.

Глаза Любы наполнились слезами.

— Я не хочу, чтобы ты уезжал... — сказала она.

— Не могу же я сидеть в Москве без прописки или прописаться и через неделю попасть в тюрьму!

Люба вскочила с дивана и нервно прошлась по комнате. Борис сидел в углу дивана, лицо его изображало самую безутешную печаль от одной мысли о расставании. Между ними не было сказано еще ни одного слова о каких-либо чувствах, но обоим уже и раньше было скучно друг без друга, а теперь разразившаяся катастрофа заставляла быстро решать вопрос о своих взаимоотношениях. Некоторое время Люба ходила молча и что-то соображала, потом вдруг остановилась, подошла опять к дивану, села и посмотрела прямо в глаза Бориса.

— Куда же ты решил ехать?

— Думаю пока месяца на два скрыться в степь к Мишке.

— Кто такой Мишка?

— Его отец работал истопником в конторе отца, с сынишкой мы росли вместе. В начале НЭП-а он уехал в Астраханские степи и завел мельницу. Там все хутора и их пока еще не раскулачили. Еды довольно. Он меня звал в любое время...

— Я поеду с тобой, — решительно сказала Люба.

В глазах Бориса блеснула радость.

— Правда?

— Правда.

Синие глаза с поволокой подернулись влагой.

Борис привлек к себе Любу и поцеловал. В комнату вошел Никита Ильич, отец Любы, маленький белобрысый старичок с умными, хитрыми глазами.

— Папа, я выхожу за Бориса замуж, — объявила Люба.

Никита Ильич хорошо знал характер своей дочери и поэтому ни капельки не удивился быстрому решению. Кроме того, он любил Бориса.

— А как же это вы того?.. — Старик знал положение Бориса.

— Очень просто: вместо свадебного путешествия,

мы поедем в степь на мельницу к Мишке. Всё равно я на лето куда-нибудь поехала бы...

Люба прекрасно шила, хорошо зарабатывала и была вполне самостоятельной девушкой.

— Ну, что же — дай вам Бог!

Никита Ильич прослезился и поцеловал обоих.

— А теперь мы пойдем в кино, — заявила Люба, достала из модной кожаной сумочки губную помаду и стала красить полные, и без того розовые губы ловкими кошачьими движениями полных белых рук.

Глава восемнадцатая

ЖИЗНЬ ТЮРЕМНАЯ

Попав в камеру, Николай быстро применился к обстановке. Уже на воле он привык жить больше своим внутренним миром, чем видимой, внешней жизнью. Он почти не замечал мрачных стен камеры. Ложась вечером на жесткие доски, он натягивал на голову одеяло и читал вечерние молитвенные правила. Под праздники повторял наизусть целые всенощные. Утром Николай старался проснуться до поверки, чтобы так же, как кончил, с молитвой начать день. Из своих сокамерников он почти ни с кем не сблизился, заполняя день чтением и изучением языков. Допросов Николай не боялся — он почти о них не думал. Его только немного заботило, идет ли дело об организации или о приходе, ушедшем в подполье. — Это выяснится само собой... — решил он наконец, — сейчас надо готовиться к ссылке или концлагерю, всё равно, рано или поздно, я этого не избежал бы. Русская церковь обречена на мученичество; через мученичество и гонения она должна обновиться и окрепнуть. Надо собрать все силы тер-

пения и молиться, чтобы Господь помог выдержать посланные им испытания.

Николай не был монахом и не знал, вступит ли на эту трудную стезю. Слишком много страстей возмущало этого спокойного и холодного на вид человека. Год тому назад Николай встретил девушку — высокую, худую, почти некрасивую, с русыми волосами — дочь дальнего родственника. У девушки были большие, как бы удивленные, глаза и она чувствовала себя неуверенно в трудной советской жизни. Эта неуверенность требовала поддержки и помощи. Николай полюбил девушку тяжелой, неспокойной любовью. Ему часто снилось, что Вера заблудилась ночью в тумане и зовет на помощь. Сердце охватывала жалость и он бросался искать Веру. Искал, искал и не находил... Голос становился глуше, глуше и, наконец, таял в непроглядном молоке тумана. Николаю казалось, что Вера когда-нибудь влюбится в недостойного человека, как Вера в «Обрыве» Гончарова.

Мечты о Вере и ложная, порожденная влюбленностью и пылким воображением мысль, что он во что бы то ни стало должен спасти эту мечущуюся душу, отвлекала Николая от прямого пути в монахи. В тюрьме неизбежность разлуки, как это ни странно, несколько успокоила романтические страдания Николая. Единственно чего он с трепетом ждал, это какой-нибудь передачи, какого-нибудь знака внимания от любимой девушки. Но увы, передачи от Веры Михайловны поступали раз в неделю с математической точностью, но ничего напоминающего в них Веру не было. Николай узнал через год, что Вера вышла замуж за скупого и нечестного карьериста.

Однажды, уже попав на нары, Николай проснулся для утренней молитвы и увидел на полу у «параши», на чистой белой подушке, голову священника. Это был совсем молодой человек с тонким смуглым лицом, напоминавшим нестеровских угодников. Когда всех под-

няли на поверку, священник быстро встал, собрал одеяло и подушку, положил их в ногах Николая на нары и стал в строй. — Опытный — знает все тюремные законы! — горько усмехнулся Николай. После поверки он сразу подошел к молодому священнику под благословение и представился. Священник оказался иеромонахом, трижды побывавшем уже в ссылке. Когда Николай спросил его фамилию, иеромонах назвал известный в русской истории княжеский род. Вместе с иеромонахом в камеру попал невысокий, благообразный крестьянин. Николай сразу предложил им пользоваться своим местом на нарах и поделился передачей. Таким образом он, наконец, нашел близких, духовно родных людей.

Иеромонах, отец Иоанн, много повидал и много где побывал: отбыл он три года ссылки на Оби в глухой деревне, знал оленеводство и рыбную ловлю, умел плести сети и ездить на собаках. Знал он и Дальний Восток, и Байкал. Душа у него была спокойная, уравновешенная, мышление трезвое и ясное. Вечерами он рассказывал всей камере о своих странствованиях и этим завоевал всеобщее расположение.

Крестьянин, Василий Иванович, больше помалкивал и приглядывался. Только через две недели он потихоньку рассказал Николаю свою историю. Оказалось, что в бывшей Рязанской губернии, недалеко от станции Сасово, было крупное крестьянское восстание: в нескольких селах крестьяне перевешали присланных из города коммунистов, разогнали колхозы и пытались захватить станцию... Войска ГПУ окружили весь район. Несколько сот человек было расстреляно на месте. Все, кто принимал косвенное участие в восстании или только мог принимать, были арестованы и высланы. Василий Иванович хотел бежать и уже доехал до Москвы, но при случайной проверке документов был задержан и теперь ждал отправки на родину для разбора дела по местожительству.

Мы правильно оценивали обстановку, — думал Николай. — Если говорить о возможности внутреннего антибольшевистского переворота, то прошедший 1929 год и нынешний 1930 являются, конечно, годами упущенных возможностей... Имейся в стране хорошо сколоченная, достаточно разветвленная организация, даже не большая партия, а просто организация, имеющая представителей повсюду, безусловно, можно было бы взять на себя руководство стихийно нарастающими повсюду волнениями и восстаниями. Но этого не случилось и зависит это не от нас. Это промысел Божий... Очевидно, для России нужны еще страдания, очевидно, она недостаточно очистилась, а потому, может быть, правильнее направить всю энергию на духовное возрождение народа. Господь сам избавит нас, когда мы этого заслужим.

Идея искупления общенародного греха собственным подвигом и страданием всё больше и больше увлекала Николая. Чем дальше, тем он больше и больше разочаровывался в чисто политической деятельности.

С утра и до ночи Бутырки жили странной, трагической, но интересной и разнообразной жизнью. Стоило только утром сесть у окна и просмотреть серию камер на прогулке, чтобы почувствовать это. Во всех окнах, выходящих на дворик, мелькали лица, из рядов прогуливающихся всё время раздавались отрывочные возгласы. Многие переговаривались на пальцах. Один раз Павел видел, повидимому, настоящих специалистов по разговору при помощи рук. Гулял он вместе с заключенными Пугачевской башни, в которой были только одиночки и сидели те, кого следователи взяли в настоящую обработку. За недостатком времени, обитателей Пугачевской башни выпускали на прогулку группами, человек по 5 или 6, но заставляли гулять не вместе, а на максимально далеком расстоянии друг от

друга. Среди них был молодой чернобородый заключенный с красивыми блестящими глазами и движениями хищного зверя. Не успел мент оглянуться, как чернобородый узник быстро вскинул глаза по направлению к политической камере и начал непонятный разговор при помощи рук. Пальцы у него двигались, как у хорошего пианиста, с быстротой молнии, сгибались, разгибались и складывались во всевозможные комбинации.

Группа Павла и Николая отрицала такую конспирацию. Их тактика сводилась к полной маскировке, к тому, чтобы не могло прийти даже в голову, что они заняты чем-либо нелегальным, но техника чернобородого восхищала Павла. Глядя на него, можно было прийти к заключению, что существуют какие-то политические группы старого образца.

Глава девятнадцатая

В СТЕПИ

Люба и Борис сошли с поезда на темном, заброшенном в степи полустанке. Борис составил чемоданы в угол крошечного зала ожидания, покосился не совсем доброжелательно на слишком столичный вид своей дамы и, тяжело вздохнув, сказал:

— Ты посиди, посмотри, чтобы не украли вещи, а я поищу подводу — до мишкиного хутора пятьдесят верст.

Люба села в угол, кокетливо поправила шапочку и приготовилась долго и терпеливо ждать. Борис ушел. Желательно было осуществить весь переезд возможно более конспиративно.

Да с женщиной не легко договориться... — рассуждал Борис. Любу невозможно заставить снять ша-

почку и повязать простой деревенский платок: «Это ее портит!», «Это ей не идет!»... Ну, ладно, авось кривая вывезет!

Достать подводу оказалось очень трудно. Около станции было всего несколько домиков и Борису пришлось идти на хутор, километра за полтора от станции. Встречали его везде подозрительно и недоброжелательно, принимая, очевидно, за крупного партийного работника, ехавшего ради какой-то новой каверзы. Наконец, он достал нечто вроде тарантаса, с придурковатым возницей и поджарой, костлявой лошадью.

Выехали среди ночи. Люба кое-как устроилась на жестком сидении, зарыла ноги в сено и посматривала из-под поднятого воротника пальто на всё окружающее синими, любопытными глазами.

— Ну, как, удобно? — спросил Борис.

— Очень, — ответила Люба кутаясь.

Лошадь взяла довольно бодро и шарабан углубился в темноту. На ухабах сильно потрясывало. Возница сидел на козлах молча, очевидно не доверяя своим седокам. Борис с Любой молчали потому, что не доверяли вознице. Борис, по своему обыкновению, задремал, Люба всматривалась в ночь и думала о том, как лучше Борису сызнова начать жизнь после возвращения от Мишки.

Большой огненный шар поднимался над туманным горизонтом, по степи дул свежий утренний ветер, жаворонки заливались, наполняя воздух радостным трепетом свободы. Борис проснулся и огляделся. Лошадь чуть-чуть трусила. Возница поднял воротник, нахлобучил на глаза шапку и, казалось, тоже дремал. Справа показался хутор.

Удивительно безжизненно... — подумал Борис. Дверь хутора была настежь раскрыта, одно окно закрыто ставнями, половина другого распахнута.

Что их пораскулачивать успели, что ли? Мишка в

последнем письме ничего не писал о раскулачивании хуторян в его районе.

Люба тоже проснулась, протерла глаза, достала из несессера одеколон, намочила носовой платок и освежила лицо.

— Что, нельзя ли тут заехать на какой-нибудь хутор попить чаю, позавтракать, да и лошадь заодно накормить?

— У кого тут остановишься! — неопределенно махнул головой возница, — никого и дома-то небось нет...

— Почему нет? — еще более удивился Борис.

Возница ничего не ответил. Бориса охватило беспокойство.

В чем дело? Может быть, убегая от одной опасности, сам наеду на другую?

По дороге попалось еще несколько хуторов — все были пусты и все производили такое впечатление, как будто бы хозяева только что куда-то вышли. Попытки добиться какого-нибудь разъяснения от возницы не увенчались успехом. Днем, когда солнце поднялось уже высоко, мрачный возница остановился у колодца одного из пустых хуторов, покормил лошадь, напоил ее, съел сам черного хлеба, выпил сырой воды и поехал дальше. Во время остановки Борис с Любой подошли к дому. Куры гуляли без присмотра какие-то растерянные, в степь вели свежие следы подков и коровьих копыт.

Уехали на покос, что ли? Только как это можно оставлять дом без всякого присмотра!

Люба тоже начала нервничать. Борис посмотрел ей прямо в глаза.

— Надо ехать, возвращаться в Москву теперь безумие... посмотрим, может быть, всё объяснится совсем просто, — сказал Борис.

Поехали дальше. Совсем вечером на горизонте замаячили крылья мишкиной мельницы, из-за бугра вы-

росла мазанка, крытая соломой. В оконце теплился свет. Шарабан подкатил к воротам. Борис с нетерпением спрыгнул на землю.. — Почему никто не выходит навстречу? — подумал он, решительно отворил дверь и вошел в хату. Комната была просторная и сравнительно чистая. На деревянном столе стояла простая керосиновая лампа. Сгорбленная старуха поднялась навстречу гостю.

— Здравствуй, бабушка, — моя фамилия Петров, я приятель Миши. Где он, как его увидеть?

Старуха удивленно и недоверчиво посмотрела на Бориса.

— Приятель? — протянула она с сомнением.

— Приятель, — повторил Борис, — из-под Москвы, из Зуева.

Старуха всплеснула руками и ахнула.

— Касатик... а мы-то думали — уполномоченный какой едет арестовывать или описывать, так Миша-то в степь и уехал.

Борису стало почти всё ясно.

— Да, но откуда же вы узнали, что к вам кто-то едет?

— А у нас, касатик, договорено: как чужой в степь, так хуторяне на крышу, на шесте, то ли тряпку, то ли порты старые выставляют. Ну, мы посмотрим и знаем... а тут еще утром верховой со станции прискакал и говорит, что какие-то городские, важные приехали — Мишутку нашего спрашивали. Береженого Бог бережет — собрался он, да и уехал.

— А куда он уехал-то? — забеспокоился опять Борис.

— Да тут недалеко — в балки, верст десять всего. Я сейчас мальчонку за ним пошлю.

— А ты, бабушка, как же приходишься Мите-то?

— Я бабушка евонной жены — Анастасии Павловны.

— А я к вам тоже жену привез, она меня в шарабане дожидается.

Старуха не по летам проворно выбежала на улицу. Люба была торжественно водворена в избу со своими чемоданами. Возница, узнав что Борис не страшный партиец, а приятель Михаила, стал сразу другим человеком: повеселел и даже начал шутить над всем случившимся.

— А здорово мы всех оповестили? Если бы в самом деле за кем-нибудь приехали, ни в жисть не поймали бы!

Борис успокоился.

— А всё-таки вы из Москвы? — многозначительно спросил возница, с интересом посматривая на Бориса.

— Из Москвы, а что?

— Так, ничего... а всё-таки из Москвы.

Борис в это время скинул куртку, достал мыло и полотенце и готовился приводить себя в порядок после дороги.

— Ничего... я так просто... — Лицо возницы стало еще многозначительнее и таинственнее и он вышел распрягать лошадь. Старуха вошла в избу с крынкой молока, корзиной яиц и большим куском вареной баранины.

— Мальчонку за Михайлом послала — к утру обязательно здесь будет, а пока покушайте, чем Бог послал. Утром Настя вам всего наготовит.

Люба быстро осмотрела все убогие уголки избы, двор и даже мельницу.

— Мы будем спать в сарае на сене, — заявила она решительно. — Очень уж у них грязно, — шепнула она Борису, когда старуха отвернулась.

— А что, бабушка, у вас молока много? — спросила Люба старуху.

— Много, милая, много — три коровы.

— Вы, наверно, рано печь топите, сварите нам какао.

Люба достала банку и передала старухе. Старуха с недоверием повертела ее в руках.

— Когда молоко закипит, положите какао и размешайте.

Старуха понимающе закивала головой.

После бессоной ночи на сене спалось превосходно. Утром появился Мишка — взволнованный, возбужденный, радостный. Мишка не выдержал ожидания и разбудил Бориса. Пока Люба одевалась, старые приятели пошли в степь. Росинки улыбались из сочной густой травы. Свобода и ширь, свежий ветер, жаворонки... Казалось странным, что где-то существует ГПУ, колхозы, советская власть. Но с первых же слов разговора пришлось вернуться к страшной действительности. Степь ждала погрома, ждала и глухо волновалась. Надеялись на всеобщее восстание, на волнения в армии. По слухам, на Северном Кавказе при подавлении восстаний армейские части были заменены войсками ГПУ потому, что красноармейцы переходили на сторону восставших.

— Как у вас в центре-то? — Длинная жилистая фигура Мишки, сухое лицо, глаза, всё его существо напрягалось от ожидания и надежды. — Ты не для организации к нам приехал?

Борису стало не по себе — он чувствовал себя виноватым в том, что даже ничтожно слабая организация и та разбита, что всё русское крестьянство ждет организаторов и руководителей, что такого благоприятного момента, может быть, уже никогда не будет. Мишка не понял причины молчания Бориса и опять заговорил:

— У нас несколько сот сабель наберется, киргизы тоже поддержат. Становись во главе — с местными коммунистами мы легко справимся. Только, если из центра войска пришлют, тогда плохо, да и оружия у нас маловато.

С какао Любу ждало горькое разочарование: Настя, скромная, худая женщина, как и бабушка, никогда его не видала. Посоветовавшись, они налили ведерный котел молока и, когда оно закипело, бухнули в котел всю банку какао сразу. Люба даже растерялась от неожиданности. При борисовом аппетите, и то было трудно выпить сразу ведро какао.

Когда Борис и Мишка вошли в комнату, Люба сразу поняла по расстроенным лицам, что обмен новостями не доставил удовольствия обоим. У Бориса внутри всё кипело. — Был бы я даже настоящим военным, и то без оружия, без заранее составленного плана начать восстание нельзя, — думал он. — Погибнут только солдаты из войск ГПУ и тысячи восставших — вот и всё. Удар надо наносить в центре, а не на окраинах.

На радостях от приезда Бориса Мишка решил несколько дней погулять, тем более, что к работе руки не лежали: всё равно отнимут и исковеркают всё сделанное.

Перед обедом приехал сосед-киргиз, о чем-то пошептался с Мишкой и важно сел на лавку, посматривая на Бориса хитрыми косыми глазами.

— Приглашает к обеду — обратился Мишка к Борису, — Хотят с тобой поговорить. И жену тоже.

Борис посмотрел с опаской на Любу, но любопытство уже загорелось в ее живых глазах — ей уже нравилось играть роль жены мужа, имеющего таинственные связи в центре и с неизвестной целью приехавшего в кипящую недовольством степь.

Не трусит...: — с одобрением подумал Борис и пообещал приехать.

В большой просторной мазанке на полу были разостланы цыновки. Сидели по-восточному, поджав под себя ноги. Пили крепкий самогон и ели жареного ба-

рана. Тучный, важный хозяин отрезал от зажареного барана голову и протянул ее Любе. Люба растерялась.

— Бери, бери — голову дают самому почетному гостю, — тревожно заметил сидящий рядом Мишка. — Откуси и передай тому, кого хочешь иметь своим другом.

Люба осторожно взяла жирную голову, скрывая отвращение, откусила и передала жене хозяина.

Когда баран был кончен, хозяин и несколько киргизов гостей подсели к Борису. Опять Борис переживал минуты стыда и мучения за свое бессилие. Несчастного, бездомного беглеца принимали за представителя таинственной, всеобъемлющей организации, готовившей переворот в столице.

Глава двадцатая

ЖИЗНЬ ТЮРЕМНАЯ

На Алешу Сапожникова заключение произвело подавляющее впечатление. Особенно его тяготили решетки и отсутствие свободы движения. Стены давили и, казалось, сжимали грудь физической болью. — Говорил Григорию, что все эти знакомства до добра не доведут: ВУЗ, спорт, вся жизнь, всё пропало даром!

По ночам он бредил ярким солнечным светом, травой, деревьями, шумными улицами Москвы, состязаниями. Утром он боялся просыпаться и открывать глаза — так не хотелось видеть снова камеру! Иногда на него находили приступы отчаянного бешенства: хотелось биться головой об стены, схватить и выломать решетку, перелезть во время прогулки через высокую стену и бежать. Сокамерники относились к Алеше хорошо: простота, покладистость и обаятельная внешность подкупали. Трудно было предположить, что в душе этого

юноши разыгрывается такая буря. Алеша не мог привыкнуть жить внутренней жизнью. Внутри бушевали бури, которым не было внешнего выхода, но найти в собственной душе успокоение он не мог.

Постепенно организм его стал приспособляться к лишениям и невзгодам, природная жизнерадостность пропадать, восприимчивость притупляться. Алеша грубел — и только.

Бледный следователь, вызвав на допрос Алешу, сначала подумал, что наконец нашел подходящего для себя человека. Он заговорил мягко и ласково, предложил курить и даже посадил Алешу в угол кабинета на диван, чтобы создать совсем семейную обстановку. Алеша сначала пошел на это и раскис, но как только почувствовал, что на карту поставлена судьба брата, ощетинился и замолчал. Напрасно следователь обещал свободу, напрасно грозил тремя годами концлагеря за отказ в содействии «следственным органам», как он деликатно выражался, напрасно кричал и топал ногами, подняв с дивана и поставив к стене — Алексей оказался тверд. Любовь к брату и врожденное чувство товарищества были сильнее отчаяния и страха.

— И ты как Желтухин! — вырвалось у следователя. Это неосторожное замечание только прибавило сил Алексею. — Раз другие выдерживают, почему я не могу выдержать? Тут сказался спортсмен — нельзя было отставать от товарищей. И Алеша выдержал. У следователя было еще несколько других дел. Дело группы молодежи, собиравшейся для религиозно-философских чтений, не считалось важным. — Сламывать упорство, тратить нервы и время? Чорт с ним! — подумал следователь. — Не хочет работать осведомителем, не надо — найдем других, дело ерундовское. Всыпем ему года три — пускай поработает!

Алешу отпустили и больше не вызывали до получения приговора.

Один из сокамерников Григория сошел с ума. Этот случай глубоко потряс Григория. Он стал просыпаться ночью от кошмаров и сердцебиения. Тень решётки, появлявшаяся вечером на стене, мучила его еще больше, чем сама решётка. Начинало казаться, что в мозгу от всего пережитого отпечатлелось много таких теней, что они давят его и что он больше никогда от них не избавится.

Надо больше читать — от безделья всегда лезут ненужные мысли, — пытался себя успокоить Григорий. Но чем дальше, тем труднее было отгонять сомнения.

В это время соседом Григория был очень спокойный, молчаливый инженер. Ему было около тридцати лет. И по воспитанию и по взлядам он представлял близкую Григорию среду.

Инженер Александров происходил из крестьян и, будучи человеком практическим, воспользовавшись НЭП-ом, открыл небольшую механическую мастерскую и добился некоторого достатка. После первых признаков новой волны коммунистического наступления Александров продал мастерскую и поступил на службу. Попал он в тюрьму по доносу. Следователь настаивал, что у инженера спрятано 1000 рублей золотом.

Однажды Григорий вскользь упомянул Александрову о своих мучениях и о способах приведения в порядок нервной системы в условиях тюрьмы. Александров выслушал Григория внимательно и сказал:

— Я незадолго до ареста прочел «Исповедь» Льва Толстого. С ним происходило нечто подобное, но без арестов и тюрем. Толстой стал верующим. Очень сильная книга, я о ней много думал. Только свалить решение сложных вопросов на Бога — значит отказаться от попытки разрешить их самому. Я полагаю, что наука постепенно разъяснит многое. Ведь в свое время люди не могли себе представить, как это земля не имеет конца, а потом она оказалась шаром. Я думаю, что многое,

что нам теперь кажется непонятным, со временем объяснится так же просто.

Один раз Александрова вызвали вечером на допрос и утром он не вернулся. Григорию стало не по себе. Как бы и этого не довели до сумасшествия! Вечером Александрова не было, утром тоже. Григорий подсел к старосте.

— Раз вещи в камере, значит Александров на допросе или в карцере — одно другого стоит, — сказал тот. — Если он сидит за золото, будут мучить — в делах о ценностях ГПУ беспощадно.

Под утро третьей ночи Григорий проснулся от физически ощутимого приступа тоски, а когда, справившись с нервами, собирался заснуть, услышал лязг двери и тяжелые шаги по коридору. Один из идущих громко топал, другой шмыгал ногами. Шум замолк у камеры Григория. Мент долго не мог попасть ключом в скважину замка, тяжело дышал и ругался. Наконец, дверь открылась и кто-то втолкнул в камеру Александрова. Несчастный прислонился к притолке и оперся рукой о «парашу». «Параша» пошатнулась. Вскочив, Григорий быстро пробежал по краю нар и поддержал Александрова. Глаза их встретились. Лицо инженера было трудно узнать — казалось, он постарел на десять лет и только что вышел из больницы.

— Ну, как? — прошептал Григорий.

— Потом... — ответил Александров. Губы его пересохли, язык шевелился плохо. Добравшись до койки, он лег лицом вниз и впал в полуобморочное состояние. Григорий укрыл его одеялом и уже не спал до поверки.

Александров пролежал не двигаясь целый день. Иногда он стонал и как-то странно хныкал. Камера притихла. Обычно с конвеерных допросов приводили в одиночки.

Вечером Григорий никак не мог заснуть. Кошмары наступали со всех сторон. Камера наполнилась туманом

и из него грозили глаза следователя. Григорий озлобленно боролся со своими собственными мыслями.

Это когда-нибудь кончится — все неразрешенные вопросы будут разрешены наукой. Если будет очень трудно, можно кончить жизнь самоубийством — тогда сразу будет покой. Чтобы никто не помешал, надо забиться под нары в угол — там темно и сыро, лечь навзничь и стеклом или жестью перерезать себе вены. Никто не заметит. Можно поднять из-под себя доску и незаметно спуститься вниз. Сначала польется кровь — горячая, скользкая, потом сознание начнет угасать и всё это безобразие кончится.

Сердце Григория сжалось уже привычной болью. Сейчас наступит самое страшное, потом будет легче... Григорий открыл глаза. Александров проснулся и смотрел на него не мигая. Григорий испугался, испугался, что прочтет в глазах инженера тот же ужас, который был в нем и с которым он не мог уже справиться. Но нет — за черными расширенными зрачками было что-то другое... Александров приподнялся на локте, сухие губы его зашевелились и он сказал:

— А знаете, Григорий: Бог есть!

Глава двадцать первая

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Надежда Михайловна вернулась из тюрьмы усталая и расстроенная. С тех пор, как Николая взяли, весь несложный семейный уклад пришел в упадок. Алексей Сергеевич часто оставался без завтрака и обеда потому, что Надежда Михайловна постоянно была занята либо покупкой продуктов для передачи, либо самой передачей, либо продажей оставшихся еще вещей. Старик осунулся, постарел и наполовину утратил обыч-

ный задор и бодрость. Целыми днями сидел он над рукописями и почти никуда не выходил.

Серый день незаметно переходил в сумерки. Надежда Михайловна поставила на кухне на примус чайник, чтобы хоть чем-нибудь поскорее согреться, и торопливо вернулась убрать с утра неубранную комнату. Вдруг она услышала пять прерывистых, тихих звонков. Надежда Михайловна была глуховата, звонки же были какие-то совсем странные, неуверенные.

Кто бы это мог быть? — подумала старушка. Последнее время почти никто не посещал стариков. Кто бы это мог быть? Может быть мне показалось... Старушка открыла парадную дверь — за ней никого не было, только темнела лестница. Надежда Михайловна хотела закрыть дверь, когда слева кто-то зашевелился. Старушка вздрогнула и отступила назад. Странная фигурка женщины стала в отверстии входной двери.

— Мария Сергеевна! — прошептала Надежда Михайловна. Это была мать Мити, товарища Павла и Николая, члена организации, отстраненного от дел за неосторожность и потому, что его мать, благодаря неуравновешенности, могла наделать глупостей. Митя был арестован раньше Павла и Николая и по другому делу.

— Мария Сергеевна, заходите, я очень рада... — пришла в себя Надежда Михайловна.

Странная фигурка вошла молча и протянула Надежде Михайловне сухую, горячую руку, не произнося ни слова. Надежде Михайловне стало страшно.

Не сошла ли она с ума с горя по сыну?

Женщины вошли в комнату. Увидев Алексея Сергеевича, Мария Сергеевна прижалась к Надежде Михайловне и прошептала странным, еще более, чем обычно, надтреснутым голосом:

— Нет, только с вами... пойдемте куда-нибудь...

— Вы ведь знаете, милая, что у нас одна комната.

Можно только сесть за шкапом на мою кровать, — сказала Надежда Михайловна как можно ласковее и увлекла несчастную в свой угол.

Сев, она взглянула на лицо Марии Сергеевны и невольно вздрогнула: перед ней была совсем седая старуха. Черные глаза Марии Сергеевны потухли и были безумными. Надежду Михайловну охватила такая жалость, что она на минуту забыла о своем собственном горе. Слезы выступили на глазах старушки и она хотела обнять гостю, но та неожиданно отшатнулась и вскочила, почти оттолкнув Надежду Михайловну. Что-то дикое на мгновение вспыхнуло в мрачном взгляде гостьи. В следующее мгновение Мария Сергеевна зарыдала и упала перед Надеждой Михайловной на колени.

— Это я... это я виновата! — прошептала она сквозь рыдания.

— В чем вы виноваты? — не поняла Надежда Михайловна.

Рыдания прекратились так же внезапно, как и начались. Надежда Михайловна увидела расширенные от ужаса глаза Марии Сергеевны и незнакомый, враждебный голос прошептал совсем близко:

— Это я их выдала, это я назвала фамилии... Они обещали освободить Митю, если я назову всех. Они меня обманули. О! — простонала она. — Я думала, что этим спасу Митю.

Надежда Михайловна от страха, волнения и горя перестала понимать, что кругом нее происходит. Мария Сергеевна встала, наклонилась к Надежде Михайловне, как для поцелуя, и деревянным, ничего не выражающим голосом произнесла:

— Я очень виновата, простите меня за это!

— Наденька, что с тобой? Наденька! — Алексей Сергеевич, совсем растерянный, сидел у постели, на которой без сознания лежала Надежда Михайловна. Наконец старушка открыла глаза.

— Где она? — спросила Надежда Михайловна слабым голосом.

— Слава Богу! — обрадовался Алексей Сергеевич, — слава Богу... а я то перепугался!

— Где она? — еще раз спросила Надежда Михайловна, совсем приходя в себя.

— Кто она? — удивился Алексей Сергеевич.

— Как кто? — Мария Сергеевна. Где Мария Сергеевна?

— Это тебе что-то показалось... у нас никого не было, — сказал Алексей Сергеевич. — Я, признаться, немного задремал на кресле, потом что-то, даже не знаю что, меня разбудило. Позвал тебя — никто не отвечает, зашел сюда, а ты лежишь...

— У меня только что была Мария Сергеевна... и знаешь, она сказала, что это она дала список знакомых Мити в ГПУ.

Алексей Сергеевич молчал, не зная что ответить.

— Так значит это из-за нее ты потеряла сознание, — наконец сказал он.

Надежда Михайловна заплакала.

— Знаешь что, Алеша, — она тоже несчастная, она уже после смерти мужа была не совсем нормальной. Господь с ней... может быть, и без нее наших всё равно посадили бы... Старушка зарыдала еще сильнее.

Алексей Сергеевич долго еще сидел около жены, гладил сухой рукой ее седую голову и приговаривал, сам время от времени всхлипывая: «Остались мы с тобой вдвоем, Наденька... но ничего, это ничего... я тебя люблю, как сорок лет назад, Наденька».

Глава двадцать вторая

ПРИГОВОР

— Истомин, с вещами! Лицо у мента было лукавое, почти веселое.

Свобода или приговор? Павел вскочил и трясущимися руками стал собирать вещи. Сокамерники окружили его. Все думали, что Павла освобождают. Каждый старался объяснить ему адрес своих родных как можно проще, чтобы он не забыл, зашел и передал хоть несколько слов.

Дверь захлопнулась и Павел очутился в коридоре. Спустились вниз по лестнице. Дверь в нижний коридор, после нижнего коридора двор, во дворе пересыльный корпус. Если не завернут в него — значит либо в другую тюрьму, либо на волю, — думал Павел.

Дверь открылась — в нижнем коридоре стояла группа арестованных. Все свои: Николай, Алеша, Григорий, еще Алеша, Михаил, а этот... какое знакомое лицо! Да это спортсмен — друг Григория. Я не думал, что он тоже здесь... и Иван Иванович... бедный старичок, неужели и он по нашему делу?

На всякий случай Павел не здоровался с друзьями, только кивнул им незаметно.

Один мент пошел впереди, другой сзади. Двор... Сейчас решится судьба! Деревья совсем облетели, в углах, не растаяв, лежал выпавший ночью снег. Целое лето за решёткой!

Идущий впереди мент круто свернул вправо. Лестница пересыльного корпуса была узкая и темная. Шли гуськом — по одному. Опять гулко щелкнул замок в железной двери. Совсем короткий коридор, круглая комната с шестью дверьми, в дверях волчки — тюрьма пересыльного корпуса. Один из ментов по очереди отзывал заключенных в противоположную часть комнаты, что-то читал, протягивал небольшой клочок бе-

лой бумаги, положенный на книжку. Вызванные расписывались.

— Истомин!

Павел подошел.

«По приговору коллегии, за участие в контрреволюционной организации, именуемой Союз Христианской Молодежи... к пяти годам исправительно-трудовых лагерей». Павел молча расписался и отошел. Сзади донесся сердитый голос гимнаста:

— Тут неясно написано, обвиняюсь ли я в принадлежности к союзу крестьянской или христианской молодежи?

— Хри... хри... христианской, — прочитал еще раз мент.

— Очень благодарен, только я ведь неверующий!

После прочтения приговоров открыли одну из камер и всех вместе ввели в нее. Камера не была переполнена, как камеры следственного корпуса. На нарах было много свободных мест и вся компания расположилась вместе. Только теперь Павел смог, наконец, рассмотреть друзей. Николай оброс бородой и стал похож на декабриста в ссылке. Алеша Желтухин ни капельки не изменился, глаза его были такие же спокойные и добрые, как всегда. Он первый подошел и обнял Павла.

— Ну, как, туго пришлось?

— Нет, меня сравнительно мало мучили.

— Меня тоже, — Алеша улыбнулся.

Григорий выглядел мрачным и каким-то другим, чем прежде. Павлу сначала показалось, что он на него сердится, но это было только первое впечатление — просто Григорий пережил всё тяжелее, чем он. Постепенно Павла стало охватывать нервное возбуждение. Надо всех ободрить, показать пример... Григорий сразу заметил это настроение Павла и ему стало неприятно. — Что он ломается и бравирует! — думал он.

Григорий отошел и сел около брата. Алеша огру-

бел, глаза его стали суровее, но при приближении Григория на лице его появилось что-то беспомощное и жалкое. Григорий снял пальто, постелил на доски и сказал Алеше:

— Ложись, отдохни — устал наверное!

Алеша лег, как маленький. Григорий накрыл его сверху одеялом.

— Как-то там мама и Леночка! — сказал он.

Алеша съежился под одеялом и отвернулся.

Михаил всё время держался в стороне: он не был знаком с Григорием и Алешей Желтухиным. Павел понял, что он один знает всех.

Не представлять же их друг другу в тюремной камере! Надо будет улучить время и переговорить с каждым отдельно, — думал он.

— Можно вас на минутку?

К Павлу подошел Иван Иванович. Лицо у старика было какое-то странное. Когда они отошли к окну, Иван Иванович спросил дрожащим от сдержанного негодования голосом:

— Объясните мне, что всё это значит?

— Что именно? — Павел занял оборонительную позицию. Не назвав на допросах ни одной фамилии, он чувствовал себя чистым перед стариком.

— Как, что именно?

Бороденка Иван Ивановича затряслась.

— Вы впутали меня в какое-то политическое дело и я получил три года концлагеря!

— Я не говорил о вас ни одного слова на допросах, — ответил Павел сухо. Глаза старика изобразили удивление.

— А следователь мне сказал, что вы ему всё про меня рассказали...

— Вы верите тому, что говорил следователь?

— Ну, позвольте, позвольте... он мне сказал прямо, что вы хотели завербовать Сапожникова в свою организацию и потому наводили о нем справки.

О связи с Григорием донес Чернов! — как молния пронеслось в голове Павла.

— Ну и что же? — спросил он старика.

— А то, что я невольно был вашим орудием и за это пострадал.

— А вам не приходило в голову, что арестованы вы, арестован я и арестован Сапожников, а вот ваш друг Чернов остался на воле!

Старик всё еще ничего не понимал.

— А что вы сами показывали на допросе?

— Как что? — удивился Иван Иванович, — они уже всё знали. Я только объяснил им, что теперь такое время, что никому доверять нельзя и поэтому...

— И поэтому вы объяснили следователю ГПУ, что боитесь их тайных агентов в среде своих знакомых! Я о вас не сказал ни слова. Благодарите за приговор Чернова и себя самого.

Павел отошел, оставив старика застывшим в удивленной позе.

Однако, неприятно... действительно этот Иван Иванович совершеннейший ребенок. Чего доброго погибнет... Павел дал себе слово даже косвенно не впутывать никого постороннего в конспиративные дела.

Из дальнейших разговоров выяснилось, что Чернов, повидимому, действительно был тайным агентом потому, что именно он однажды встретил Алешу Сапожникова, провожавшего Бориса на вокзал и именно он только спрашивал Алешу о плотном белокуром мужчине в галифе и сапогах. К счастью, Алеша сразу нашелся ответить, что это был случайный знакомый спортсмен, приезжавший из провинции на состязания.

Помимо этого, выяснилось, что другого Алешу спрашивали о Мите. Из вопроса было ясно, что Митя замешан в какую-то большую организацию, составленную из инженеров и вырабатывавшую новую программу.

Глава двадцать третья

ПОПОВ-ОСТРОВ

Попов-остров так близко примыкал к материку, что понадобилось проложить совсем небольшую дамбу, чтобы соединить его железнодорожной веткой со станцией Кемь. Остров был голый, неприветливый, необжитый. Бесконечные штабели серых бревен, серые вышки для охраны, солдаты в серых шинелях, серые, похожие на волков, собаки, серые бараки, колючая проволока. На горизонте, еще не замерзшее в начале декабря, море смыкалось с низким, облачным небом так, что не было грани между далекими волнами и кудлатыми тучами.

Карантинный барак стоял в стороне от лагеря, на самом берегу моря. Навстречу этапу вышел высокий, плотный человек в черной телогрейке. Ветер теребил редкие волосы на большой круглой голове. Обычная перекличка. Григорий стоял в строю и, несмотря на теплую куртку, дрожал от холода. Мужчина в ватной куртке, повидимому, совсем не боялся мороза, шутил и посмеивался.

— Перед тем, как входить в барак, вы пройдете баню и санобработку, — сказал он.

В бане все личные вещи отобрали в дезинфекцию, потом появился длинный парень уголовного вида с машинкой в руке и начал стричь всех по очереди. Стриг он спокойно, не торопясь, начиная с головы, затем переходя на бороды, затем на грудь и так далее — везде, где росли волосы, все места одной и той же машинкой. Кто-то попробовал протестовать.

— Вы папаша, напрасно, не сердитесь... — с насмешливой вежливостью ответил парикмахер. — Если бы вы приехали весной, вас бы тут не так приняли... тут у нас комендант был — «Курилка», так он выстраи-

вал новый этап и сразу начинал к порядку приучать: требовал, чтобы с ним здоровались, на приветствие «Здра» отвечали. Подойдет к строю и крикнет: «Здорово!» — тут парикмахер не без удовольствия выругался, — ну, а этап должен был «Здра» кричать. — «Громче», — орет, — «громче — на Соловках не слышно!». Надоест самому учить, ротного пришлет. Для начала полсуток на морозе постоят, так начинают здорово отвечать. А вы не брезгуйте: она железная, к ней грязь не пристает. Хуже будет, если вши разведутся...

После стрижки жертвы санобработки попадали в холодную баню, где получали полшайки чуть теплой морской воды. Воду выдавал специальный рабочий, столь же словоохотливый и непринужденный в обращении, как и парикмахер.

— Что, воды мало? Это вы с непривычки только так думаете. При «Курилке» у нас который воды попросит, сначала дрыном по спине давали, а чуть что не так, на мороз выставят, да водой вдоволь и обольют. На одних Соловках за одну зиму 17 тысяч уходили...

На следующий день все вещи были возвращены из дезинфекции измятые, сырые, вонючие. После ночи на голых досках получить пальто и одеяло было очень приятно. Все повеселели, но веселье скоро кончилось. Вечером в карантин прибыл новый этап. Этап состоял из крестьян-белоруссов и шпаны. В бараке сразу стало нехватать места. На двухэтажных нарах лежали так тесно, что приходилось спать на боку и переворачиваться по команде нескольким человекам сразу. Шпана начала безобразничать и воровать. Целая куча оборванной ругающейся молодежи расположилась на полу около печки. Григорий с интересом всматривался в

лица вновь прибывших, сидя на верхних нарах. К нему подсел Павел.

— Надо изучать людей и присматриваться к обстановке, может быть, сумеем что-нибудь выдумать — материалу для организации будет много, — сказал он.

Григорий одобрительно кивнул головой.

В этот момент дверь в барак растворилась и вошли три стрелка и комендант.

— Пятьдесят человек на работу! — крикнул комендант. — Рабочие получат в обед второе и по 1200 гр. хлеба вместо 600 гр.

Несколько крестьян сразу вышли вперед.

— Граждане! — раздался вдруг голос с нар, расположенных около двери. — Граждане!

Молодой анархист, который еще в Бутырках не хотел добровольно садиться в «Черный ворон» и назвать свою фамилию при перекличке, приподнялся над верхними нарами. Все лица обратились к нему. Барак замер, не понимая еще толком, в чем дело. Стрелки застыли в ожидании. Тонкое лицо анархиста было бледно, большие голубые глаза полны решимости.

— Граждане! Не подчиняйтесь, отказывайтесь от принудительного труда — лучше умереть, чем сделаться рабом!

Водворилась жуткая тишина.

— А ну, выйди сюда, кто там говорит! — не сразу нашелся комендант карантина.

Анархист легко спрыгнул с нар и стал посреди барака. Двое стрелков сразу схватили его под руки и вытащили за дверь. Он хотел еще что-то сказать и не успел. Все заключенные молчали. Через двадцать минут стрелки вернулись — и 50 человек добровольно ушли на работу. Утром бывшие ночью на работе получили добавочный хлеб, а на второе картошку. После обеда весь карантин был выстроен на улице. Из лагеря

приехал вольнонаемный комендант в сопровождении начальника особого отдела и прочел приказ о расстреле заключенного Лунева за отказ от работы. Одновременно было объявлено, что после карантина работа будет обязательна для всех и за невыполнение нормы выработки паек будет снижаться.

Глава двадцать четвертая

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА

Григорию и его брату Алексею повезло — они оба после карантина попали чертежниками в управление лагеря в город Кемь. Остальные были направлены на лесозаготовки.

Управление жило фронтовой жизнью. Каждый день приходили этапы с пополнением, каждый день учетно-распределительный отдел списывал выбывших из строя. Каждый день Григорий четыре раза пересекал двухкилометровое пустое поле между городом, где были расположены канцелярии управления, с пятью двухэтажными бараками, торчавшими на пустом, обветренном берегу на фоне блеклого неба. Для того чтобы дважды пойти на работу и дважды вернуться в лагерь, приходилось тратить три часа. Ходили колонной, под конвоем, и построение отнимало почти столько же времени, сколько сама ходьба. Двенадцать часов в день Григорий чертил, наклоняясь над белым некрашеным столом. Больше часу уходило на обед и завтрак. Семь часов оставалось на отдых. Днем Григорий не давал себе думать. Даже незначительные перерывы в работе и три часа ходьбы и ожидания он либо использовал для изучения сотрудников отдела, либо мерно шагал, глядя под ноги и отсчитывая шаги. Так проходил день — жутко, напряженно, однообразно. Вы-

держать это было можно, только заглушая в себе всякую слабость, всякое желание отдохнуть и остановиться. Это было так, как если бы вас заставили пройти в абсолютной темноте над пропастью по мосту, состоящему из двух бревен с равномерно, на расстоянии человеческого шага, положенными на них шпалами. Раз-два, раз-два! — Ошибешься, остановишься и упадешь в провал между шпалами. Раз-два, раз-два! — Пройти можно, но не надо думать и уставать. Григорий выработал в себе этот механический точный шаг и днем шел уверенно и смело. Но ночь... собственно не ночь — Григорий так уставал за день, что обычно спал как убитый, — не вся ночь, а какие-нибудь двадцать минут или полчаса перед тем, как заснуть. Перенапряженная нервная система никак не могла успокоиться. Трудно было лежать и не шевелиться, не работать ни головой, ни руками. Даже заснув, тело постоянно вздрагивало. Потом приходили мысли... собственно не мысли — мысли Григорий умел сдерживать, а полумысли — полусны, неясные, давящие образы. Жизнь была настолько монотонна и однообразна, что у этих образов нехватало красок, не было никакой яркости — просто голова наполнялась серым туманом и из тумана грозило что-то неопределенное и враждебное. Надо было уходить в себя, ограничивать сознание строго очерченным кругом и не вглядываться в то, что происходило за пределами этого круга. А там всё время что-то возникало и шевелилось... Стоило только чуть-чуть ослабить волю, как бездна вторгалась в математически ограниченное пространство. Это случалось иногда до и всегда после наступления сна. Яркая молния прорезала безразличную темноту сознания, сердце сжималось острой физической болью и Григорий видел холодную, неумолимую бесконечность. Уничтожение смерти и пустота вечности казались одинаково безысходными. Если бы это продолжалось больше одного мгновения, Григорий, наверно, умер бы от

тоски, но ужас будил его, воля пробуждалась вслед за сознанием и нечеловеческим усилием удавалось опять отодвинуть бездну за черту математически ограниченного пространства. Измученный засыпал Григорий и спал уже не просыпаясь.

Живя в одном бараке с братом, Григорий мало разговаривал с ним. Алеша тоже страдал, но не от «роковых вопросов», а от тяжелых условий жизни. Он повзрослел и почти утратил прежнюю веселость. Чекист, начальник отдела, очень ценил Алешу как работника, а узнав, что Алеша спортсмен, стал брать его с собой на стадион как тренера по теннису и легкой атлетике для команды вольнонаемных сотрудников управления. Григорий почувствовал, что его дорога и дорога брата расходятся.

Хотя бы Павла опять встретить! — думал иногда с тоской Григорий.

Григорий стоял против крутого обрыва берега озера у огромного, жарко пылавшего костра, на затоптанном, почерневшем снегу. Наверху, вдоль самого обрыва, были проложены рельсы узкоколейки, идущие от лесопильного завода, и там, время от времени, из белесого тумана морозной ночи вдруг появлялась черноколесая вагонетка, полная тонких, разнокалиберных обрезков. Вагонетка останавливалась над самым костром и две серые фигуры в бушлатах и черных ушанках торопливо сбрасывали обрезки прямо в середину пламени. Костер притухал, пламя жадно трещало и через минуту разгоралось с новой силой. У самого огня на корточках, съежившись как обезьяны, сидели два уголовника с худыми грязными лицами. Григорий удивлялся, как они могут выдерживать близость такого нестерпимо жаркого пламени, но уголовники сидели неподвижно, остановившимися глазами глядя на огонь.

Григорий радовался, что ему, наконец, удалось со-

греться. После того, как вчера утром, вместо того, чтобы начать привычно рассчитанный день, он неожиданно очутился в этапе, наскоро набранном из работников управления и немедленно брошенном на ликвидацию прорыва в одно из лесозаготовительных отделений, Григорий не ел ничего горячего. День он пролежал без движения, зажатый между тремя товарищами, с трудом втиснутыми на одну из трех полок «купэ» арестантского вагона. Ночь просидел на вещах в нетопленном бараке у лесопильного завода. Утром управленческий этап дополнили уголовниками, переброшенными из других отделений. Несколько сот человек выстроили на площадке перед заводом. Начальник конвоя принял заключенных по списку и раздал по вобле и фунту хлеба. После этого откуда-то появился юркий человечек в черном романовском полушубке. Человечек пробежал бегающими глазками по строю и приказал крестьянам и возчикам отойти в сторону. — Снабженец, — с презрением подумал Григорий, — наверно из проворовавшихся кооператоров. Григорий заметил, что в отобранную группу попало много уголовников и внутренне позлорадствовал, предвидя чем это должно кончиться. Самоуверенный снабженец ничего не заметил и увел куда-то отобранную группу. Григорий мерз, стараясь согреться тем, что хлопал рукой об руку и прыгал на месте. Вскоре ушедшие вернулись, ведя тощих, заросших длинной шерстью лошадей. Несколько человек подвезли упряжь и новые, неезженные сани. Крестьяне быстро подобрали упряжь, выбрали сани и бесшумно запрягли. Уголовники кричали, ругались, били лошадей и «психовали». Григорий видел как молодой, испитой парень городского вида отморозил голые руки, взнуздывая лошадь. Пальцы сначала побелели, а когда парень стал растирать их о бушлат, покрылись большими, пухлыми волдырями. На запряжку и погрузку ушел целый день и только теперь, когда было уже совсем темно, обоз стал выезжать на

лед, готовясь к ночному переходу. Куда и по какой дороге идет этап, никто из заключенных не знал. Григорий, выйдя вслед за санями, увидел впереди яркий свет, пошел к нему и вот теперь переминался с ноги на ногу, наслаждаясь жаром, пышущим от костра. Раздался легкий хруст снега, и к Григорию подошел Николай. Встретились они совершенно неожиданно еще накануне. Николай был присоединен к управленческому этапу вместе с уголовниками. С момента приезда в лагерь он работал всё время на общих работах.

— А я тебя никак найти не мог! Грейся скорее: целую ночь шагать придется, — сказал Григорий, почувствовав, что появление Николая его ободрило и обрадовало.

Николай протянул руки к огню. Красные блики костра делали его узкое лицо менее бледным, чем обыкновенно.

— А не плохо бы сейчас, вместо ночного перехода, вернуться в барак да и лечь спать, — стараясь шутить, сказал Григорий и покосился на укрытое тьмой озеро.

— Ничего не поделаешь — поработал на блатной работе и хватит! — ответил Николай, отходя от костра. — Пойдем, не советую слишком разогреваться: потом хуже мерзнуть будем.

На озере зашуршали полозья, захрапели лошади и мимо костра поплыли тени саней, высоко нагруженных сеном. Расходящиеся вширь берега совершенно потерялись в густом сумраке. Облака рассеялись, лучи ярких звезд казались хрупкими и колючими. По твердому насту ветер гнал сухие, рассыпчатые крупинки снега. Николай шагал ровно и широко.

Идет как хороший спортсмен на дальнюю дистанцию! — подумал с непонятной досадой Григорий. — Экие звезды пронзительные — так в глаза и лезут! Бесконечные миры... как это так конца нет? А если представить себе конец? — Нет, это еще хуже? Сей-

час думать об этом было особенно мучительно — сил оставалось совсем мало.

Самое лучшее вообще ни о чем не думать! Григорий постарался идти в ногу с Николаем. — А как он всё это переживает?

Звезды продолжали колоть сердце, врывались в душу и поднимали какую-то предсмертную тоску.

— Ну как, Коля, устал? — не выдержал, наконец, Григорий.

— Пока ничего, иду... — равнодушно ответил полный чем-то своим Николай.

Досада вновь поднялась в душе Григория и от этого на мгновение стало легче. Григорий и Николай шли почти одни: передовые стрелки уехали далеко на возах с сеном, остальной обоз растянулся по всему озеру.

— Сволочи, даже не охраняют — знают, что всё равно бежать некуда! — проворчал Григорий.

— По целине не уйдешь, а в каждой деревне оперпост, — деловито заметил Николай.

— Если бежать, то только заграницу. — Григорий выжидательно посмотрел на Николая. — У тебя там, небось, родные есть?

— Есть. Только делать нам с тобой там нечего. Выражение «нам с тобой» странно резануло Григория.

— Что же, в лагере по-твоему лучше? — спросил он недоверчиво.

— В лагере труднее, но зато со своим народом... я верю в то, что горе очищает как отдельного человека, так и целый народ. Эти страдания даром не пройдут.

— Если мы к тому времени не подохнем! — зло ответил Григорий.

— Ты это вроде кающегося дворянина! — добавил он после минутного молчания.

— Другого выхода нет! — в голосе Николая, наконец, зазвучала едва уловимая нотка недоброжелательства. — Абсолютное зло большевизма можно по-

бедить, только опираясь на абсолютное добро, т. е. на Бога, а к Богу, после того, что было, нельзя вернуться без покаяния.

— Дожидайся, пока шпана или чекисты покаятся! Тысячи две лет пройдет... — Спор возбуждал Григория и давал возможность не оставаться одному со своими мыслями.

— А потом, скажи, кому, например, я какое зло причинил, чтобы мне каяться? Властью недоволен... так ведь большевизм зло, а борьба со злом не может быть ничем иным, кроме добра, с точки зрения твоего Бога!

Николай вдруг замедлил шаг и внимательно посмотрел на Григория.

— Перед властью ты, наверно, не виноват, а вот себя мучаешь понапрасну!

— А почему ты думаешь, что я себя мучаю? — вспылил Григорий.

— Не ты первый, не ты последний — продолжал Николай, — я тоже прошел через те же сомнения. Ты человек умный и волевой, только одной волей тут ничего не поделаешь. Наоборот, воля тебя и сбивает с настоящего пути. Мы ведь в лагере как бы наполовину умершие, а после смерти жить тем, чем на земле живут, нельзя — тут никакие отгораживания и упрямства не помогут, от них только больнее будет. Смириться надо. Ты бы уже давно нашел Бога и веру, если бы не гордился своею силой.

Григорий молчал. Его поразил не столько смысл слов Николая, сколько факт, что Николай разгадал так хорошо скрытый в нем душевный кризис, хоть и объяснил его странно и неубедительно. Вместе с тем, Григорий чувствовал, что борьба с сомнениями, такая привычная в условиях размеренной жизни управления, становится ему не под силу в этапе, среди пустого, холодного озера, когда от всего размеренного дня остался только ритм хрустевшего под ногами снега.

— Еще месяца два назад я был назначен на этап во вновь открывающийся лагерный пункт, — заговорил опять Николай, — но этап почему-то отменили и я застрял на Май Губе в пересыльном пункте. Послали меня на работу, на кухню — в изолятор на озере, на маленький остров, номер три. В изоляторе, кроме всегдашних урок и шпаны, сидели Федоровцы. — Помнишь, мы об них еще на воле немного слышали. Это что-то вроде секты. В бывшей Воронежской губернии ряд деревень объявили себя противниками советской власти, как власти антихристовой, нашили на одежду кресты, налоги платить отказались и с коммунистами не разговаривали. Конечно, их разгромили: многих сразу расстреляли, многих отправили в концлагеря. На острове номер три их сидело человек десять за отказ от работы. Не будем, говорят, работать для безбожной власти. Пробовали их не кормить — не помогает. В ямы сажали, а они псалмы поют. Один раз утром, только что мы с поваром начали картошку чистить, слышим шум. Подошли к окну, видим — во двор изолятора вывели Федоровцев, как были — в крестьянской одежде с белыми матерчатыми крестами. Выстроили... Отводят одного и в затылок из нагана... Остальные стали на колени и запели «Отче наш». Чекисты подбежали, наганами машут и что-то кричат, а Федоровцы никакого внимания — поют... Взяли тогда другого, оттащили в сторону и тоже в затылок... Так всех десять человек по очереди и кончили... Ни один пощады не запросил. Нет, я в свой народ верю! — с убеждением закончил Николай.

Кто их знает? — думал Григорий о Федоровцах и Николае, — действительно, вера дает им какую-то опору, какое-то преимущество... эх, добраться бы до лагеря поскорее!

На дороге замаячили идущие тени. Григорий и Николай нагнали стрелка и двух стариков-счетоводов будущего лагеря с санками, нагруженными вещами.

Все пятеро молча пошли вместе. Стрелок шагал, не обращая внимания на заключенных, видимо поглощенный только мыслью о ночлеге. Впереди вспыхнул огонек: неужели лагерь? Все невольно прибавили шагу. Огонь пропал также неожиданно, как появился, а минут через двадцать загорелся снова, но уже дальше, потом пропал опять. Пройдя километра два, путники увидели на снегу черное пятно и остатки обгорелого сена.

— Шпана на перекурку останавливалась, — с горечью заметил стрелок, — всё сено вперед уехало.

Стали попадаться брошенные сани, дуги, куски сбруи, оконные рамы и двери для бараков.

— Эх, разбросали, как обезьяны! — вздохнул один из стариков, — а ведь кто-то отвечать за это должен...

— Отправили груз без экспедитора, даже фамилий возчиков не записали — кто их теперь проверит! — сказал другой старичок.

Впереди зачернело что-то неопределенной формы. Подойдя ближе, различили воз, стоявший поперек дороги. Распряженная лошадь, аппетитно чавкая, уткнула морду в большой фанерный ящик. Рядом лежала сломанная оглобля. Возчик, широкоплечий скуластый парень с лицом профессионального бандита, стоял около воза и тоже жевал.

— Хотите печенья, товарищи? — развязно обратился парень к подошедшим.

— Ты что здесь делаешь? — строго спросил стрелок.

— А вот, ларек для стрелков вез, да оглоблю сломал — не замерзать же! Накормлю лошадь, сяду верхом и поеду.

— А чем ты ее кормишь, сволочь?

— Чем кормлю? Овса, небось, не дали! — Печеньем и кормлю! — нагло парировал парень.

Стрелок немного поколебался, исподлобья взглянул на спутников, решительно подошел к ящику, ото-

двинул лошадиную морду, набил карманы печеньем и, не оглядываясь, пошел по дороге.

— Хотите сахару? — тоном гостеприимного хозяина предложил парень.

— Да тебе за это второй срок дадут! — не выдержал один из счетоводов.

— А я и так уж третий отбываю, — язвительно ответил урка. — Кушайте, не стесняйтесь! Фамилия моя нигде не записана — доеду до лагеря, брошу лошадь и пускай ищут!

Старичок с осуждением покачал головой и боязливо осмотрелся. Звезды попрежнему ярко светили на небе, дорога, насколько хватал глаз, была совершенно пустая.

— Кого-нибудь да посадят... Как можно — за такое дело! — продолжал сомневаться старичок.

— Тебя, сволочь, и посадят! — обозлился, наконец, гостеприимный урка.

— Жри, пока предлагают, а то, пока дошагаешь, с голодухи подохнешь на морозе! Набивай мешки печеньем — казенного добра не жалко.

— Нет, с собой? Как можно с собой краденое возить! Вот разве ложку сахара для бодрости...

— Жри на здоровье — вон ложка в мешке лежит. Жри, говорю, — не жалко! — помогал старичку преодолеть робость великодушный урка.

Старички, с подстриженными машинкой, покрытыми инеем бородами, одетые одинаково, как близнецы, походили друг на друга, только нос у одного был длиннее и острее. Наконец, голод преодолел у них боязнь и честность — старички одновременно потянули руки к мешку с сахаром. Остроносый оказался быстрее, жадно схватил ложку, зачерпнул, сунул в рот и... — полежавшая на морозе ложка прилипла к языку. Бедняга выпучил глаза и чуть не задохнулся от боли, ужаса и сахара.

— И живут же такие г—и на свете, — посмотрел на него с презрением урка.

Ложка быстро оттаяла во рту и отстала от языка. Старичок с трудом проглотил сахар и, тяжело дыша, сел на край воза.

— Очень обожгло? — сочувственно спросил другой старичок, поспешно овладевая отогретой ложкой.

— Это ужасно! — простонал остроносый старичок.

Григорий и Николай запаслись печеньем и пошли дальше. Мороз всё крепчал, звезды становились всё ярче и опять начинали терзать сознание Григория. Трудно сказать, сколько времени они еще шли таким образом. На горизонте появилась яркая Венера. Вдруг дорога резко пошла к берегу. Впереди снова замаячил огонь. Путники боялись поверить, что жилье близко: слишком страшным казалось возможное разочарование. Но огонь приближался. На берегу, на бугре, горел костер и видна была фигура человека. Около костра дорога расходилась в две стороны. Человек оказался десятником, оставленным для того, чтобы растянувшийся этап не сбился с дороги.

— Направо! — сказал он подошедшим, — там, за косогором, лагпункт и большой барак — идите в него.

Григорий и Николай ехали на подсанках, крепко держась друг за друга. Подсанки, привязанные веревкой к саням, бросало на раскатах из стороны в сторону. Через мглистое небо просачивался свет невидимого солнца, расползавшийся по заиндевелому лесу. Мохнатая лошаденка еле трусила, с трудом двигая тощими, узловатыми ногами. После ночного перехода этапу не дали отдохнуть. Теперь Григорий и Николай должны были выполнить урок. Впереди дорога пошла вправо. Прямо вилась узкая, плохо протоптанная тропинка,

скрывавшаяся в густом ельнике. У поворота стоял десятник в черном ватнике, с широким, несколько дней не бритым лицом.

— Сюда! — сказал он Григорию.

Григорий неуклюже соскочил с подсанок: ноги и спина окоченели и плохо сгибались. В глазах закружились огненно-черные круги. Опять четко скрипел снег под замерзшими валенками. Чем дальше от дороги, тем лес становился гуще и глуше. Показалась маленькая полянка. Десятник остановился и сказал:

— Вот эти деревья будете валить, здесь складывать... да смотрите, чтобы пни были не выше тридцати сантиметров! Утомленные, бесцветные глаза равнодушно посмотрели на Григория. Когда черная телогрейка скрылась, Григорий взял пилу, размял снег около толстой сосны с сухой верхушкой и сказал:

— В ней одной будет несколько кубометров. Начнем?

Белая, смолистая пыль вырывалась из-под пилы. Работать, пригибаясь к земле, было очень трудно. Николай дергал пилу и тяжело дышал. Григорий попробовал приналечь, но почувствовал, что слабеет. Проклятые круги снова закружились перед глазами.

— Давай отдохнем, — сказал Николай тихо и сел на снег, прислонясь спиной к бугристому черному стволу.

Григорий сел с другой стороны. — Надо выполнить урок, — думал он, — иначе срежут паек — ослабеешь и загнешься. Но как его выполнить, когда на первом распиле голова закружилась? Внезапно леденящий ужас сжал сердце. Григорий растерялся. До сих пор он приходил только ночью, до сих пор дневной свет служил от него защитой. Чтобы сбросить его с себя, Григорий поднял голову вверх и посмотрел на небо. Черный ствол постепенно делался ярко рыжим. Далеко, у самой вершины, росли голые короткие сучья. Над сучьями, похожими на распростертые руки скеле-

та, бежали мутные облака. В их движении было что-то безнадежно однообразное. Куда и зачем они бегут? Дни за днями катятся, жизнь в УСЛОН-е тратится, обрывая тоненькую нить, — зазвучали слова лагерной песни. Зачем всё это? Зачем я мучаюсь? Выработка воли, характера? Зачем мне нужен характер? Я не знаю, как выполню урок сегодня, а завтра то же, а послезавтра — то же, и так пять лет... пять лет! Захотелось закричать, вскочить, разбить голову о прямой, бесконечный ствол. А дальше... что будет дальше? Что там? — Бесконечность, холод, молочно-белый туман, или ничего... пустота? А если я не смогу себя совсем уничтожить? Если, разбив голову, я не умертвлю сознания, если тени пережитых ужасов врезались так четко, что опять появятся там, за гробом, запечатленные на этом бесформенном месиве бесконечности? Мысль, что последний выход, выход самоубийства ускользает от него, окончательно сломила Григория. — Надо взять себя в руки! — привычно подсказал мозг. А чего я этим достигну? Продолжения невыносимого настоящего, отсрочки невыносимого будущего?

Григорию показалось, что он сходит с ума. Последняя опора, — вера в себя, в свою волю, рухнула, пропала куда-то. Что же теперь будет? — беспомощно подумал Григорий. Нить, удерживавшая над пропастью, оборвалась и он реально почувствовал, что стремглав полетел вниз и сейчас должен разбиться. Ощущение падения было так реально, что Григорий зажмурился. Отчаяние дошло до предела, сердце должно было разорваться... и в этот момент он почувствовал в груди какое-то тепло. А что если Николай прав? А что если, действительно, есть нечто выше нас, выше этого непроходимого леса, выше этого ужаса? Ведь так остаться не может! Так остаться не может! Сердце перестало сжиматься и сразу стало легче. Григорий открыл глаза и с удивлением огляделся. Внешне всё оставалось прежним: горы сине-белого снега,

широкие, обледенелые ветви елей, узкая, едва протоптанная дорожка.

— Что с тобой, ты болен? — Николай стоял сбоку, тревожно всматриваясь в лицо Григория.

— Ничего... теперь всё в порядке... когда-нибудь после расскажу, — ответил Григорий поднимаясь и беря воткнутую в сугроб пилу.

Григорий и Николай, с трудом поднимая ноги, брели с работы. Было уже совсем темно. Всё случившееся утром под елью в душе Григория ушло куда-то в подсознательную глубину. Тело ныло от переутомления, даже есть не хотелось. Урока они, конечно, не выполнили и должны были остаться без второго блюда и с урезанным пайком хлеба. Николай шел молча и угрюмо. Григорий не сказал ему ничего о своем духовном перевороте.

Показались унылые стены бараков. Костры на кухне пылали, как огонь в преисподней.

— Что это такое? — удивился Григорий. Около десятка серых бушлатов шли, ухватившись друг за друга, как слепцы. Первый споткнулся о пень и все сразу остановились. На другом конце лагеря появилась такая же вереница.

— Почему они так идут? — спросил Григорий у нагнавшего их десятника.

— Куриная слепота, — спокойно ответил десятник, — на севере это бывает. От недоедания люди теряют зрение после наступления темноты. Из тысячи заключенных у нас около сотни больных. Доживут до лета — пройдет, не доживут — всё равно как умирать: слепым или зрячим.

Глава двадцать пятая

В ЛАГЕРЕ

Сосед, лежавший рядом с Григорием, всё время стонал и кашлял. Григорию хотелось разглядеть его лицо, но из-за темноты этого нельзя было сделать.

— Хвораете? — спросил он.

— Простуда одолела, — ответил ласковый тенорок, — когда еще в шалашах жили, простудился.

— Откуда?

— А с Украины.

— Раскулачены?

— Нет, за организацию.

— За какую организацию?

— А це ж я не знаю, кака така организация. Говорят, что за организацию.

Это было необычно.

— А что же вы делали, что вам организацию пришили?

— Ничего. Восстание готовили...

Григорий насторожился.

— Как же вы его готовили?

— А так, что на деревню назначен был старший, вроде как командир.

— Ну?

— Ну, и всё.

— А кто у вас во главе стоял?

— Не знаю. Знаю, что на деревню назначен был старший.

Больше Григорий ничего не добился. Тенорок вскоре пропал — то ли перевели его в другой барак, то ли в больницу. В серых рядах заключенных, во время развода, глаза Григория напрасно искали лицо, подходившее к печальному голосу украинца.

На развод вышла странная группа заключенных. Они только что прибыли и их было человек двадцать: тонкие костлявые руки, черные испитые лица, странный блеск провалившихся глаз. С группой приехал начальник культурно-просветительной части отделения, монгольского вида мужчина. Перед разводом он обратился к заключенным с речью:

— Мы, преступники, временно изолированные от советского общества, должны трудом искупить свою вину перед социалистической родиной. Вы видите перед собой ударную бригаду, приехавшую из отделения к нам на помощь. Они покажут нам новую форму организации социалистического труда. Все эти люди обязались выполнить норму минимум на 120%. Урок будет даваться всей бригаде в целом и ни один из них не уйдет из леса, пока всё задание не будет выполнено.

Интересно, как эти скелеты сработают хотя бы на 100%! — подумал Григорий.

По дороге в лес он догнал одного из вновь прибывших и спросил:

— Действительно думаете выполнять норму на 120%?

В ответ послышалась нечеловеческая брань. Помянув родителей, Бога и администрацию лагеря, урка объяснил, в чем дело: бригада была набрана из смертников лагерного изолятора. Все члены бригады за неоднократные побеги были приговорены к расстрелу. Все дошли до крайней степени истощения, все были биты при допросах и искусаны собаками. Всем им предложили добровольно организовать бригаду и выполнять урок на 120% или отправляться на тот свет.

Алеша Желтухин и Павел прошли в этапе около ста километров по тому же Выг-озеру, по которому прошли Григорий и Николай. Алеша, вначале переносивший заключение спокойно и мужественно, начал

слабеть. Утром он оставался на нарах до последнего, ел, когда еду приносил Павел, перестал умываться, стал безразлично равнодушным ко всему. К счастью, обоим удалось устроиться навальщиками и работать без урока. В лесу Алеша стоял нахохлившись и дрожал. Когда приезжали очередные сани, Павел успевал навалить бревно, прежде чем Алеша подходил. От этого он мерз еще больше и еще больше нахохливался. Посещение лекпома не принесло никакой пользы: большой температуры нет, значит речи об освобождении быть не может.

Самое страшное потерять волю к жизни! — думал Павел. При этом вспоминалась мать. Она тоже потеряла волю к жизни.

Письма и посылки не приходили. Самим заключенным можно было писать два раза в месяц. Ответы родственников не были ограничены, но письма часто терялись и подолгу задерживались лагерной цензурой.

Господи, чем я могу ему помочь? Даже без работы, просто от одного мороза и тяжелых условий он погибнет! — мучился Павел.

Алеша стал еще более ласковым и покладистым, чем обычно. Он худел и угасал на глазах.

Один раз, когда уже в полной темноте друзья, возвращаясь с работы, проходили мимо канцелярии, из двери вышел тощий, остроносый нарядчик и, увидев Павла, радостно воскликнул:

— А тебя, Истомин, вызывает Кемь! Да, управление лагерями и, по-моему, на освобождение.

У Павла захватило дыхание: неужели правда?

Нарядчик сам казался возбужденным. А как же Алеша? — вспомнил Павел и вся радость мигом исчезла.

Алеша тоже немного оживился, в печальных глазах блестели слезы.

— Дай-то Бог, Павлик, чтобы это не был обман! — сказал он почти радостно.

— А как же ты-то один останешься?

— Обо мне не думай... скоро весна, летом я окрепну.

Павел опять подумал об освобождении и опять волна радости охватила его.

— Алеша, если меня освободят, то должны будут освободить и других.

— Так имей в виду — завтра на работу не пойдешь. У нас распоряжение отправить тебя немедленно.

Нарядчик исчез за дверью.

Ночью Павел почти не спал. Алеша, как лег, так сразу и затих. Павел в темноте не видел его лица, но всё время слышал тяжелое дыхание и иногда прерывистый стон.

Утром Павел крепко обнял Алешу.

— Если освободишься, поцелуй от меня сестру Наташу и папу.

Съёженная, неуверенно шагающая фигура Алеши скрылась за воротами лагеря. Павел вернулся в барак складывать вещи. Там оставался только старик-дневальный, да на нарах стонал освобожденный по болезни уголовник. Было непривычно пусто.

Может быть, скоро и Алеша останется вот так, один больной на нарах, без друзей, даже без знакомых, в окружении уголовников, без всякой поддержки...

Павел подошел к нарам и тихо потрогал за валенок лежащего урку.

— Может быть, что-нибудь принести надо или чем-нибудь помочь?

— У... ты..! — последовала непристойная тирада. Над нарами поднялось одутловатое, злое лицо. — Какого... ты меня будишь?

— Не надо ли чего принести? — повторил Павел.

— Водки, небось, не принесешь!

Одутловатая морда скрылась в куче тряпья.

Глава двадцать шестая

В ДОРОГЕ

Павел ехал в купе третьего класса, в самом обыкновенном, не арестантском поезде. Вместе с ним в купе сидел высокий благообразный старик-профессор с немецкой фамилией, мелкий вор с испитой, безвольной физиономией и стрелок с винтовкой, зажатой между колен. Стрелок сидел у входа и не пускал в купе посторонних. Профессор достал из кармана черного гражданского пальто пакет печенья и с любезной улыбкой протянул спутникам. Павел, сидевший ближе всех к профессору, взял первый. Стрелок смутился, бросил подозрительный взгляд на пустой коридор и сунул в пакет толстую пятерню. Уголовник отвернулся к окну, делая вид, что очень заинтересован пейзажем непроходимой тайги, расстилавшейся за окном.

— Разрешите предложить вам печенья.

Урка вздрогнул. Если бы его обложили матом, это было бы нормально.

«Разрешите предложить вам...». Собственно, глядя в окно, урка обдумывал план ограбления профессора, по всем признакам только что получившего посылку. Самое главное «вы», — обращение на вы лишало урку всякой уверенности в себе. Он выпучил на профессора глаза и раскрыл рот.

— Бери, коли предлагают, — цикнул стрелок таким тоном, как будто дал пинка прикладом. Грязная сухая рука, привыкшая ловко и незаметно очищать карманы, неуверенно протянулась к пакету. Водворилось молчание. Общей темы для разговора не было. Все жевали.

Профессор наклонился к стрелку и о чем-то тихо спросил его, — профессору надо было выйти. Стрелок растерялся: пустить профессора одного нельзя, оста-

вить Павла с уголовником — нельзя. После установления отношений высокого стиля, благодаря угощению печеньем, сказать профессору: «Терпи, контра, пока приедем в Кемь» — было неудобно. На лице стрелка появилось почти то же выражение, которое только что было у уголовника, не решавшегося взять печенье.

— Что же, ты такого человека пустить боишься... — урка не договорил и выразительно посмотрел на стрелка. Солдат покраснел, как рак, опустил глаза и безнадежно махнул рукой, давая профессору разрешение. Опять водворилось молчание. Профессор быстро вернулся и сел.

— И как это вы таких людей в тюрьмы сажаете? — раздался в тишине голос уголовника.

— Я что ли сажаю? — огрызнулся стрелок и с опаской посмотрел на дверь.

Когда ночью приехали в Кемь, урка предложил профессору помочь донести его вещи и изловчился при этом вытащить из вещевого мешка кусок сала.

Дежурный по управленческому лагпункту сидел за столом, сколоченном из досок, и читал «Правду». Последнее время всё чаще и чаще писали о вредителях. Они были повсюду: не давали строить пятилетку, вредили животноводству, искривляли генеральную линию партии. Дежурный прослужил несколько лет пограничником и привык к охоте на людей, как злая пограничная собака. Темной, инстинктивной ненавистью он ненавидел всех, кто был выше его интеллектуально и морально.

Слепое, рабье подчинение вышестоящему начальству требовало компенсации, выхода собственной инициативе. Естественным результатом этого было желание излить скопившуюся злобу на заключенных, особенно на заключенных интеллигентных.

В дверь постучали.

— Да! — гаркнул дежурный.

Вошел стрелок и трое заключенных. Двое заключенных выглядели нормально, хотя у одного из них и было чересчур осмысленное лицо. Зато третий, буржуй в черной шубе и каракулевой шапке, явно был одним из тех вредителей, о которых только-что читал дежурный.

— Документы? — спросил он строго, не глядя ни на кого.

Стрелок вынул из-за пазухи два пакета и протянул дежурному.

«Истомин и Поляков — пять и три года исправительно-трудового лагеря, — один по статье 58 за контрреволюцию, другой по статье 49, как вор-рецидивист... направляются на работу в управление лагеря».

Следующий пакет: «Профессор Ланге, срок десять лет, статья 58, направляется на медицинский съезд в управление лагеря... просьба предоставить отдельное помещение».

После демократизации лагерей в 1930 году заключенных стали называть «временно изолированными», карцеры — «отдельными изолированными помещениями».

Дежурный задумался. Какое этому вредителю отдельное помещение? Гостиницу, что ли? Тоже, на съезд приехал! Отдельное помещение у нас одно.

— Этих двоих оставь здесь, — обратился он к стрелку, — я их сам в пересыльный барак сведу, а этого — дежурный мотнул головой в сторону профессора, — доставишь в изолятор.

— Так ведь он... — пробормотал нерешительно стрелок.

— Тут в документе прямо написано, — прервал дежурный, — отдельное помещение.

Так этой интеллигенции и надо, — подумал дежурный, когда стрелок и профессор скрылись. — Ничего — ночку посидит в карцере, его там шпана раскулачит!

Глава двадцать седьмая

В КЕМИ

Всё еще не пришедший полностью в себя от крушения надежд на освобождение, Павел вошел в кабинет инспектора культурно-воспитательного отдела лагеря.

Инспектор был тоже заключенный — советский писатель-коммунист, получивший 10 лет за шпионаж после поездки заграницу. Наглые, насмешливые глаза смерили Павла.

— Корректором работать можете? — спросил инспектор снисходительно, покровительственно.

Павел понял, что дело идет о лагерной газете «Перековка», и ему стало невыносимо противно.

— Никода не работал, — ответил он после минутной паузы.

— Статьи писать можете? — инспектора удивил ответ Павла.

— Какие?

— Ну, скажем, у нас скоро Пасха, — напишите что-нибудь антирелигиозное.

— Не могу.

— Почему?

— Я верующий.

Чуть раскосые монгольские глаза с нескрываемым любопытством уставились на Павла.

— У нас лучший отдел — больше всего свободы и меньше всего обязанностей.

— Я не совсем понимаю, зачем вы мне всё это говорите?

— А затем, что я бы вам всё-таки посоветовал написать статью.

— Повторяю, что я верующий.

Инспектор небрежно откинул грузное тело на спинку стула. Фанатик какой-то, но в лес возвращать всё же неудобно. С волками жить — по-волчьи выть: контрреволюционеры в лагерях друг друга поддерживают, — узнают что отправил человека в лес за религиозные убеждения, могут свинью подложить. — Вот что, — сказал инспектор подумав, — я напишу записку знакомому в погрузочную группу — им, кажется, нужен был статистик.

Иван Артемьевич Самсонов грузной фигурой напоминал Грубилкина. Он тоже был кубанец, тоже инженер, тоже хороший организатор.

— Что, не подходите в КВО? Хотите работать статистиком? — спросил он грубовато.

— Да, я верующий, а там это мешает, — ответил Павел, не без интереса следя за эффектом своих слов.

— Ну, что касается религии, это меня интересует мало, а устроить я вас устою. — С Дона выдачи нет. Самсонов самодовольно улыбнулся.

— Я поговорю с начальством о зачислении вас в нашу группу.

Так Павел попал в статистики управления лагеря.

Павел вошел в барак сотрудников управления и поднялся по деревянной лестнице на второй этаж. С каждой стороны широкого коридора было по три больших комнаты с двойными нарами. Дверей из ко-

ридора в комнаты не было. Комнаты отделялись друг от друга только нарами, игравшими одновременно роль перегородок. Во всём этаже помещалось около 300 человек.

Павел вошел в тот момент, когда заключенные только что вернулись с работы. Общее впечатление от этого муравейника было аналогично впечатлению от камеры Бутырской тюрьмы: громадное количество интеллигенции, скученной на небольшом пространстве.

— Павел! — воскликнул радостный голос.

— Григорий, и ты здесь!

— Уже второй раз. Один раз снимали на прорыв, но удалось опять выкарабкаться.

Павел почувствовал, что Григорий искренне обрадовался встрече с ним.

— И брат Алексей здесь, — улыбнулся Григорий.

Павел чувствовал себя, как фронтовой офицер, переведенный прямо из окопов в штаб и встретивший старого друга.

— Однако, тебя здорово подвело — лесозаготовки даром не проходят! — стал серьезным Григорий.

Алеша Желтухин остался в лесу в очень плохом состоянии; мгновенная радость Павла сразу прошла при этом воспоминании.

На другой день, после ужина, Павел и Григорий вышли к заливу против своего барака и сели на камни. С моря дул холодный ветер и на берегу никого не было.

— Считаешь ли ты, что можно продолжать работу в лагере? — сказал Павел.

— Народ здесь хоть и набран случайно, но всё же для нас более подходящий, чем на воле, — ответил Григорий. — Тут наивных дураков нет: тюрьма всем мозги вправила.

— Я это тоже заметил, — согласился Павел. —

Среди крестьян очень много хорошего материала, но как их организовать?

— Я думаю, что процентов 10 от общего количества заключенных можно считать пригодными для активной работы, — сказал Григорий. — А вот как их организовать, неизвестно. Самое главное — никого не оставляют на одном месте. Перед тем, как попасть на прорыв, я приглядывался тут к одному человеку — узнал случайно, что он в Гражданскую войну командовал антибольшевистским партизанским отрядом. Пригляделся, вижу — человек жесткий, волевой и молчать умеет. Начал его подробно изучать и постепенно сближаться. Знаешь, по всем правилам, как на воле. Вдруг — этап и совсем неожиданно. Очень мне обидно стало: сколько времени потерял и зря. Подумал немного и решил рискнуть. Вызвал его на этот самый берег и прямо брякнул: разъезжаемся мы, но надо друг друга как-то не потерять. Если не сдохнем, то, рано или поздно, получим возможность активной борьбы... Надо между собой поддерживать связь. Вздрогнул он: не ожидал такой откровенности, тем более, что дело расстрелом пахнет. Подумал минуту и протягивает руку: «Согласен», — говорит. Дал я ему адрес сестры, чтобы, в случае чего, списаться, и уехал. После того, как вернулся в управление, сразу стал его искать. Оказалось, что в мое отсутствие перевели куда-то. Теперь подумай сам — ему еще шесть лет из десяти досиживать, а я только начал срок. Конечно, мы друг друга потеряем. Кроме того, адрес можно дать двум-трем лицам, но не сотням. Я и так их уже раздал больше чем надо, а ведь раз-один ошибешься, на агента попадешь — и сам пропал, и мать с сестрой погубил.

— Я с украинскими националистами встречался, — сказал Павел. — Всех бывших «петлюровцев» замели. Кроме того, молодежь прихватили. С одним студентом из Харькова даже подружился. Говорит, что попал за прокламации. Это хорошо, что они работают,

только смешно: многие уверены в том, что большевизм это великорусский империализм. Я его спрашиваю: почему же в таком случае великороссов в лагере больше, чем украинцев? А он всё свое долбит.

— Большинство украинских крестьян настроено иначе, — заметил Григорий, — у них, главным образом, сельская интеллигенция и часть молодежи за отделение. Масса народа пойдет за нами. Самое главное — свергнуть большевиков и наладить нормальную жизнь. Когда в стране такое правительство, как у нас, с горя за любыми сепаратистами пойдешь.

— Меня сейчас другое интересует — как закрепить связь с теми, кого отбирать будем. Тут ведь целые организации есть. У нас в бараке, например, несколько профессоров и научных работников из Ленинграда сидят по делу «Воскресения». Говорят сами, что собирались для религиозно-философских бесед... Вроде тебя, — улыбнулся Григорий. Народ они не очень оперативный, но в будущем пригодиться могут.

— А в самом лагере, по-твоему, нельзя устроить что-нибудь вроде восстания? — спросил Павел. — Например, разоружить охрану и уйти в Финляндию.

— Пробовали уже! — ответил Григорий, невольно оглядываясь. — Тут у меня есть один белый офицер, — человек совсем наш. Он случайно уцелел после одной такой попытки. Года два назад на острове один из заключенных, граф Сиверс, создал большую организацию, — человек в триста или больше. Хотели захватить пароходы и уйти заграницу... Всех расстреляли, как полагается, почти накануне выступления. Самого Сиверса перед расстрелом привезли сюда — всё допрашивали. У них и на материке отделения были. Мучили его, говорят, здорово, но он никого не выдал. Прикончили его месяца через два где-то на берегу залива. Ночью четверо заключенных подлезли под проволоку и похоронили его, а священники заочно отпели, тоже всё потихоньку... Секретная часть те-

перь следит вдвое строже, а агентуры среди заключенных столько же, как и на воле. Мы с этим же офицером, который мне о Сиверсе рассказывал, одного такого несчастного спасли. Хороший парень, заведывал автобазой. Его по долгу службы обязали в секретную часть ходить докладывать, что нет никакого вредительства, а потом хотели заставить вообще агентом сделаться. Самое главное — человеку осталось до освобождения два месяца, а ему грозят новым сроком. Вечером вызовет его уполномоченный... Придет — весь черный, а тут мы его в работу по очереди. Говорим: держись, срока, может быть, и не дадут, а сдашься, сам жить не захочешь.

— Это как с моим Анатолием — я ведь тебе рассказывал.

Павел почувствовал озноб, пробежавший по спине.

— Как с твоим Анатолием, только кончилось благополучнее: выдержал наш механик, до последнего дня мучили, но срока не дали и освободили день в день.

— Так как же, всё-таки, какой метод выработаем? — постарался стряхнуть с себя тяжелое, гнетущее чувство Павел.

— Надо думать, а пока делать то, что на воле: подбирать людей, — встал с камня Григорий. — Надо наметить вместе побольше разных адресов, чтобы не давать всем один и тот же. Пускай из отобранных останется потом один процент, всё равно пригодится. Не сидеть же сложа руки.

— А как Миша Каблучков, Сергей Иванович и твой спортсмен, ничего о них не слышал? — спросил Павел.

— Сестра писала иносказательно, что все наши живы. Наверно, разбросаны по разным отделениям, ведь узнать о ком-нибудь в наших условиях очень трудно.

Северная долгая весна неуверенно продвигалась к полярному кругу. Море вскрылось, но с него постоянно дул пронзительный холодный ветер. Сосны и ели стали зеленее, кое-где из-под стаявшего льда показались зеленые мхи. Всё это было какое-то не живое, не настоящее, плюшевое. В сердце просыпалась острая щемящая тоска по настоящей, родной, русской весне, по бурным говорливым ручьям, по теплому, ласковому ветру, по щебету птиц, по всему грому и треску, сопровождающему уход зимы. Только небо радовало глаз, хотя и оно было каким-то слишком торжественным, холодным, хрустальным. Солнце светило долго, грело мало, и всё-таки Павел чувствовал прилив сил и энергии. Он выработал строгий ритм жизни, как и Григорий, тоже не терял ни одной минуты даром, но в этой постоянной напряженности он находил больше внутреннего смысла, больше радости и удовлетворения.

При управлении была неплохая библиотека и книг для чтения было достаточно. Конечно, если отсидеть пять лет даже в таких условиях, можно выйти на волю искалеченным. При этом Павел всегда думал об оставленном в лесу Алеше. Один раз Павлу принесли письмо от Наталии Михайловны. Сашина сестра писала, что Михаила Михайловича на три года сослали в Сибирь, но она больше обеспокоена судьбой Алеши, от которого нет никаких вестей. Павел предпринял всё возможное, чтобы найти Алешу. При управлении был специальный учетно-распределительный отдел, отмечавший по картотекам все передвижения заключенных. Учетно-распределительный отдел представлял запретную зону для осужденных по контрреволюционным статьям: там работали кадровые чекисты и уголовники. С большим трудом Павлу удалось найти там заключенного, осужденного за растрату, после долгих уговариваний согласившегося навести по картотекам справку о местонахождении Алеши. Через два дня он

зашел в барак к Павлу и, отозвав его в сторону, сообщил:

— Последняя отметка уже месячной давности указывает лагпункт «Петров Ям» — там, где были и вы, но, насколько мне известно, лагпункт был открыт только на зимний период и теперь уже должен быть уничтожен.

Ночью Павел не мог заснуть.

Надо во что бы то ни стало вытянуть Алешу в Кемь. Он может быть прекрасным чертежником. Надо предпринять всё возможное. У Григория в мастерской собираются взять нового счетовода. Кого еще попросить? В конце концов, я могу перейти на другое место и попросить Самсонова выписать Алешу. Самое главное выбиться из общей массы. Попадешь в управление — будешь спасен. Павел так и заснул — всё время выдумывая способ спасения Алеши. — Хуже всего, что он может настолько ослабеть, что не будет пригоден ни к какой работе, и тогда конец... — было последней мыслью Павла.

Павел получил невероятный «блат» и право искать Алешу по всем лагерным пунктам, но Алеши нигде не было. Павел в отчаянии ходил из барака в барак. Кругом была шпана — она лежала на нарах, под нарами, устилала пол сплошной массой копошившихся, как змеи, тел. Когда Павел проходил мимо, они ругались, высовывали языки и хватали его за ноги, но Павел шел дальше и дальше, не обращая внимания на оскорбления, всех распрашивая.

— Говоришь, глаза черные? Ха, ха, ха... Глаза черные! Так он их мыть пошел... ха, ха, ха... Уголовников не трогало, что Алеша ослабел, болен и может каждую минуту умереть; они сами были слабые, больные и умирали. Они умирали на глазах у Павла, обращаясь в бесконечные ряды черных бревен. На бревнах стояли клейма «Экспорт». Бревна шли заграницу по дешевой цене. Они были дешевы потому, что делались из трупов

заключенных. Дешевые товары охотно покупались. Некоторые бревна еще были в лесу. Алеша стоял среди сугробов снега и зябко ежился.

— Если ты не будешь работать, замерзнешь еще хуже, — сказал Павел.

Алеша не повернул головы и продолжал стоять, опираясь на кол и смотря куда-то в сторону. Виден был только обострившийся, как у покойника, профиль, обросший жесткой черной щетиной, четко выделявшийся на фоне снега.

Волосы растут и после того, как человек умрет. Может быть он уже умер! Алеша стал расти, расти и превратился в громадное черное бревно.

Его тоже отправят на экспорт? Надо найти хоть труп! Да, у меня теперь очень большие знакомства, я могу его выписать в Кемь.

Павел опять ходил по баракам. Нет, он еще не умер, но каждую минуту может умереть... Кругом опять кривлялись и хохотали уголовники.

— Вот в этом бараке, на верхних нарах — он уже два дня не ел, месяц не умывался, но температуры у него нет и ему не дают освобождения от работы. Еще не поздно!

Павел рванулся к нарам. В бараке было полутемно, и Павел не сразу нашел кучу грязных вонючих лохмотьев. Под лохмотьями были ноги.

— Это он! — сказал кто-то рядом, — я знаю, это Алеша Желтухин.

Радость, смешанная с острой жалостью, охватила Павла. Он встал на нижние нары, ухватился одной рукой за столб, по которому влезали наверх, и, погрузив руку в кучу лохмотьев, дотронулся до худого, истощенного тела Алеши.

— Это ты, Алеша, я могу тебя взять в Кемь, ты спасен! Проснись!

Тело зашевелилось и из лохмотьев поднялось чье-то лицо. Павел с ужасом отпрянул — вместо худых

бледных щек и громадных ласковых глаз, перед ним было одутловатое, безразличное лицо опухшего от голода уголовника.

Хриплый голос выругался.

Господи, во что он превратился. Поздно, это уже не он!

Павел проснулся и перевернулся с левого бока на спину. Как хорошо, что это только сон! — подумал он.

Павел встретил возле своего барака бывшего старшего рабочего биржи Кузикова. Кузиков был на том же лагпункте, где работали Павел и Алеша до вызова Павла в Кемь. Павел страшно обрадовался.

— Давно у нас?

— Второй день, — лицо Кузикова было худое, как у фронтовика.

— Алешу видел?

— Месяц тому назад.

— Ну, как он?

— Плохо... — ответил Кузиков необычно мягко, — Плохо — повторил он, — обовшивел, ослабел, о норме и говорить не приходится! Лежит вечером на нарах, принесут поесть — ест, не принесут — остается голодным. Его уже на повал не гоняли, только на починку дорог.

— Мы его постараемся выписать сюда на работу.

— Трудно это! Я счастливо вырвался в опытное садоводство. Лед на озере уже слабый, а если в круговую, берегом, то дорога очень плохая — всё по болотам... Говорят, летом и ездить по ней нельзя, а до открытия навигации на озере лагерь не дотянет, по плану он только на зиму рассчитан и продуктов никаких почти нет.

Глава двадцать восьмая

СМЕРТЬ АЛЕШИ ЖЕЛТУХИНА

Та весна, которая так бодрила Павла́, не принесла Алеше никакого облегчения. За зиму он так ослабел, что впал в полное равнодушие. Первое время без Павла ему было очень тоскливо. Потом усилившаяся слабость принесла с собой равнодушие, равнодушие ко всему. Алеша кротко сносил холод, голод, окрики десятников и глумление уголовников. День он проводил как бы в полусне, ночью иногда жил радостными видениями. Ему часто снилось детство, большая хорошая квартира, сестра Наташа в коротеньком платьице с распущенными волосами и большим голубым бантом, старушка-француженка, отец в красивом мундире, отцовская сабля, обеды в большой суровой столовой, ростбифы, жареные индейки, мороженое-пломбир и любимые трубочки со сбитыми сливками.

Больше всего мешал кашель. Приступы его будили и заставляли прерывать сладкую, радостную жизнь снов. Один раз, закашлявшись в лесу и сплюнув на снег, Алеша заметил, что голубовато-белая поверхность наста окрасилась в красный цвет. — Наверное у меня чахотка, — подумал он равнодушно, но к лекпому не пошел. У лекпома всегда скапливались особенно отвратительные уголовники. Они ругали Алешу и издевались над ним, а освобождения лекпом всё равно не давал. Вскоре десятники привыкли к тому, что Алеша слабосильный, работать почти не может и махнули на него рукой. Алеша иногда ухитрялся дремать стоя, с лопатой в руке, делая вид, что выравнивает снег, подсыпавшийся к обтаивающей дороге. — Пошел на загиб! — говорили про него заключенные, — доходяга, — к весне загнется!

Но и это не трогало Алешу: смерти он уже давно

не боялся. Этап показался ему новым и совершенно ненужным мучением. Конечно, начальник лагеря, стремясь выполнить и перевыполнить план, дотянул до того, что озеро начало вскрываться и недели на две стало недоступным для какого бы то ни было транспорта. Пришлось вести заключенных берегом, по лужам и пропитанному водой снегу. Алеша шел в самом хвосте этапа, с трудом передвигая ноги, обутые в валенки, бросив по дороге мешок со всеми личными вещами. Подобно уголовникам, он оставил при себе только котелок у пояса и оловянную ложку в кармане. Поднимать ноги становилось всё тяжелее и тяжелее.

— Не растягивайс-и, — крикнул стрелок, замыкавший бредущую колонну, и ударил слегка Алешу прикладом по спине. От удара Алеша закашлялся. Приступ кашля оказался настолько сильным, что пришлось остановиться. Стрелок тоже остановился и равнодушно смотрел, как Алеша задыхался, судорожно вздрагивая.

Пристрелить его, как отставшего? — подумал стрелок, — не стоит зря мараться, всё равно этот никуда не убежит — доходяга!

Алеша, видя, что его никто не понукает, отошел от дороги к дереву и сел.

Надо хоть доложить потом, который подох, — решил стрелок и спросил:

— Эй, ты, а как твоя фамилия-то?

— Желтухин, — ответил Алеша.

— А звать?

— Алексей, статья 58, пункт 10 и 11, на 5 лет, — повторил Алеша заученную формулу.

Стрелок перекинул винтовку за плечи, закурил и пошел по тропинке догонять этап.

Белка спустилась с высокой сосны и хотела перебежать через дорогу, но необычайный предмет под деревом заставил ее спрятаться за ствол и выглянуть

из-за него черными любопытными глазами. Предмет был похож на человека, но сидел не шевелясь. Белка распушила хвост и, прибавив ходу, перебежала всё-таки дорогу и влезла на большую мохнатую елку.

Алеше было холодно, голова и грудь болели, но он радовался, что его не заставляют никуда идти. Лучше перетерпеть сырость земли и усиливавшийся озноб, чем поднимать ноги и месить тяжелую, липнущую к валенкам грязь. Постепенно Алеша стал забываться и ему опять приснился сон из детства.

Бонна Анна Никодимовна уложила его в кроватку. Кроватка была чистая, теплая и уютная. Алеша сладко потянулся и подумал: сейчас придет отец, перекрестит и поцелует на ночь. Борода у него мягкая и от нее чуть-чуть щекотно... Сегодня она почему-то колет лицо, как иглы... Ну, это ничего, я всё равно сейчас засну. Глаза отца, большие и добрые, смотрели сверху на Алешу. Как хорошо, что не нужно идти по грязи...

Белка почувствовала приближение собаки и на всякий случай влезла на самую макушку ели. Вечерний ветер тихо колыхал вершины деревьев. Из леса выбежала немецкая овчарка, повела носом и вдруг, пригнувшись к земле, как дикий зверь, начала подкрадываться к человеку, лежащему на земле. Одет он был как заключенный, и собака знала, что она должна на него неожиданно броситься, но заключенный лежал так неподвижно, что она, попрежнему прижимаясь к земле и готовая ежесекундно к прыжку, подошла еще ближе, обнюхала труп и залаяла. Из леса вышел оперативник, подошел к серому, неподвижному телу и толкнул его ногой. Голова трупа, лежавшая на свесившейся до земли еловой ветке, соскользнула и глухо ударилась о толстый корень.

— Освободился! — иронически констатировал оперативник и пошел дальше.

Глава двадцать девятая

У КАЛИНИНА

Очередный секретарь, наконец, пустил Алексея Сергеевича в кабинет всесоюзного старосты. Чтобы попасть к Калинину, пришлось использовать все старые связи. К счастью, брат Алексея Сергеевича, блестящий гвардейский офицер, в свое время увлекался опереттой, и у профессора еще с тех пор сохранились знакомства. Один концертмейстер, репетировавший известную на весь Союз опереточную диву, оказался главным действующим лицом. После долгой подготовки дива согласилась поговорить лично с хорошо знакомым ей Калининым. Он согласился принять и выслушать заслуженного профессора. Надо сказать, что Алексей Сергеевич, переступая порог заветного кабинета, чувствовал себя отвратительно.

Руки бы этому милостивому государю не подал! — думал бедный старик, — а тут просить приходится!

В последний момент, когда дверь уже открылась, ему так захотелось уйти, что даже голова закружилась. Не лучше ли, действительно, с презрением перетерпеть всё несчастье? — Честь важнее жизни... Да, но я не имею права избегать унижения за счет сына. Будь я арестован сам — другое дело.

За столом сидел с виду благообразный старик, но при наличии всех атрибутов почтенной старости — седины, морщин и даже бороды, во всём облике было что-то фальшивое, псевдонародное. Алексею Сергеевичу неудержимо захотелось опять уйти, не начиная разговора. Калинин встал и, быстро пробежав по вошедшему острыми, неприятными глазами, протянул руку и предложил сесть.

Стол разделял представителей двух разных миров, двух столетий, может быть — двух эпох. С одной сто-

роны, сидел настоящий русский барин, привыкший гордиться своим происхождением и не сохранивший ничего от былого величия, кроме этого происхождения — львиной головы и бешеной гордости, в то же время всей душой, всем сердцем, всем своим существом любивший русский народ и настоящего русского мужика. С другой стороны, сидел этот самый русский мужик, когда-то бесправный и сильный только своей массой, только тем, что он и был самым подлинным, стопроцентным народом. Этот бывший представитель тысячелетней Руси теперь был всесильным, по сравнению с бывшим барином, но зато стоял от народа дальше, чем когда-либо стоял любой из предков Алексея Сергеевича.

— Я вас слушаю, — сказал Калинин.

Алексей Сергеевич положил перед собой заявление и начал рассказывать дело сына. На лице красного вельможи застыло холодное непроницаемое выражение.

У него, конечно, русское крестьянское лицо, — думал Алексей Сергеевич, — но это не лицо хорошего, работящего крестьянина. Он взял от народа только его циничную, злую, охальную сторону. Он даже чем-то напоминает Распутина, только тот был сильнее и самостоятельнее — этот, конечно, мельче Гришки.

Алексей Сергеевич кончил изложение дела и протянул заявление.

— Странно... — мутные глаза на минуту посмотрели в глаза собеседника, — странно только одно: вы говорите, что ваш сын ни в чем не виноват и вместе с тем ему дали пять лет концлагеря... Если бы у него было три года, я бы еще поверил, что он не виноват, но пять лет... Посудите сами! Если пять лет... то хоть немножко, хоть в чем-нибудь, но виноват.

Голос старосты звучал совсем дружественно.

Что он говорит? — не сразу понял бывший барин, — если пять лет, то в чем-нибудь да виноват —

значит... значит они сами знают, что три года концлагеря дается совсем ни за что.

Это чудовищно! Алексей Сергеевич почувствовал, что краснеет за этого сидящего напротив старика с глазами деревенского развратника. Калинин объяснил смущение профессора совсем иначе.

— Вы не бойтесь! Мы очень уважаем ученые заслуги... Дело вашего сына будет пересмотрено.

Всесоюзный староста встал в знак того, что аудиенция окончена.

Глава тридцатая

ЛЕНОЧКА

Северный, разбросанный вдоль берега залива город. Над городом нежное и холодное небо. Перед городом еще более холодное и нежное, как небо, море. За городом мшистое полуполе-полуболото и корявые, низкорослые, придавленные к земле, перелески. Всё в полутонах, всё чужое, величественное и безжизненное. Над крышами деревянных двухэтажных домов поднимаются три высоких здания: деревянный шатровый собор 17 века — в заречьи, каменный, массивный, пятиглавый собор — в центре города и... серое бетонное здание управления лагерей НКВД — рядом с собором. Соборы стоят молча. Каменный, грузный собор упрямо и враждебно глядит на полное людей здание НКВД. Сказочный собрат его смело возносит победоносный шатер высоко в небо, не чувствуя времени и невзгод житейских, четко отпечатлевая по вечерам кружевной силуэт на фоне красной зари, тревожа совесть чекистов смутным беспокойством и поднимая в сердцах их глухую ненависть.

В версте от города, на пустом обветренном берегу залива, группа двухэтажных больших бараков.

Два раза в сутки, рано утром и вечером, от бараков к городу движется черная лента заключенных — работников лагерного управления. По бокам, впереди, сзади идут конвоиры с ружьями наперевес. Лента вползает в город и, постепенно тая, движется в здание управления, уменьшается здесь на две трети, распыляясь затем совсем маленькими группами по кривым улицам и переулкам. Управление не вмещается в одно трехэтажное здание и систематически отвоевывает у вольного населения дом за домом.

Леночке 18 лет, но выглядит она по крайней мере на два года моложе: маленькая, тщедушная. Ее почти не видно в углу плохо освещенного купе. Леночка старается еще более сжаться и быть еще более незаметной.

Год тому назад... ночью... (Леночка болезненно вздрагивает при одном воспоминании об этом), она проснулась от пронзительного звонка, — звонок был настойчивый, неотвратимый. Открыла дверь мать. Вошли: дворник, управляющий домом и двое в военной форме с красными петлицами. Дворник закрыл дверь, не глядя на Леночку и не здороваясь. Дальше было всё, как во сне. Обыск продолжался до рассвета. Комнату братьев перевернули всю вверх дном, комнату Леночки и матери осмотрели поверхностно.

Мать старалась держаться спокойно, но всё время бледнела и хваталась за сердце, а когда сыновей увели, потеряла сознание. Момент прощания был самый страшный и о нем Леночка старалась не вспоминать. Но сейчас, глядя в окно на жуткие тени проносящегося за окнами леса, она увидела, словно в тумане, между стеклом и черной бездной, лицо Григория, с жесткими, стальными глазами, и откровенно растерянные глаза

Алеши. Леночка еще более сжимается и осторожно ощупывает спрятанные на груди крестики.

До ареста братьев Леночка не думала о религии, хотя мать ходила в церковь и хранила иконы. Приходившим подругам Леночка объясняла, что сама она, конечно, в Бога не верит, но, живя с матерью в одной комнате, не хочет силой заставлять старушку отказаться от религиозных предрассудков. При подобных разговорах мать молчала. Не будучи в силах порвать с религией сама, она не прививала веры детям: во-первых, потому, что была постоянно занята поисками заработка и хозяйством, а во-вторых, потому, что не хотела портить жизнь сыновьям и дочери: пусть уж будут как все, а то за религию, чего доброго, из школы выгонят и в высшее учебное заведение не примут. Когда сыновей уводили, у старушки была мысль благословить их на прощание крестиками и иконками, но боязнь скомпрометировать их в глазах энкаведистов и неуверенность в том, как они это примут сами, заставили мать отказаться от своей мысли. После ареста сыновей старушка сразу слегла и все заботы о заключенных легли на слабенькие плечи Леночки. В очередях за справками, в ожидании приема передач Леночка познакомилась с совсем новым, неожиданным для нее миром, миром отчаяния, слез и скорби, миром семей жертв НКВД. Это был мир, о котором молчало радио, о котором не писали в газетах, не говорили в школах. Раньше Леночка что-то слышала о процессах «вредителей» и преследовании представителей эксплоататорских классов, но это ее прямо не задевало и проходило где-то далеко. Теперь это «далеко» стало ужасной действительностью. Каждый день убеждал ее, что надежды на недоразумение, на невинность надо оставить. Грубость и цинизм охраны оскорбляли и обескураживали девушку. Десятки скорбных историй, услышанных от родственников пострадавших, доводили до отчаяния.

Возвращаясь домой, Леночка подолгу плакала. И

вот тут-то, ища везде защиты для любимых братьев, она стала молиться. Молилась она вместе с матерью и от этого становилось легче.

Отправляясь в концлагерь на свидание, Леночка сама попросила мать разыскать маленькие, золотые крестильные крестики братьев, оказавшиеся на дне сундука вместе с испорченными золотыми часами отца и венчальными свечами родителей. Леночка была твердо уверена, что Алеша обрадуется крестику, в отношении Григория, бывшего всегда, по ее мнению, сознательным атеистом, не любившим «попов», Леночка ничего заранее сказать не могла, но решила оба крестика передать Алексею, чтобы он потом сам поговорил с братом.

Убедившись, что крестики целы, Леночка попробовала заснуть. Сплошная тайга кончилась. Стали попадаться широкие моховые болота, поросшие тощими елками. Необжитая, безбрежная пустыня тянулась по обеим сторонам насыпи.

Леночка не знала, что за три дня до ее приезда в лагерь пришел секретный приказ, запрещавший свидания на неопределенное время. Получив в комендатуре отказ, Леночка совсем растерялась. Нервная энергия, поддерживавшая ее в дороге, сразу исчезла. Бессонные ночи, мучения последних лет, а главное — тупой, тошнотный ужас перед бесчеловечной силой, грубо вторгнувшейся в скромную жизнь их семьи, совсем сломили волю девушки.

Как во сне, вернулась Леночка на квартиру приютившей ее поморки. Свернувшись комочком, она поплакала и заснула тяжелым, бездумным сном. Проснулась она очень рано совсем разбитая, полубольная, но с новым приливом энергии. Быстро оделась и вышла на улицу: Было тихо. Прозрачное небо холодно и строго глядело на девушку. — Чужое, совсем чужое! — подумала Леночка, — и тишина какая-то мертвая... Она прислушалась. Вдруг откуда-то издалека, чуть слышно

донесся странный шум. Он рос и приближался. Да, конечно, это шум большой движущейся толпы. Может быть, этап? Может, мне потому и не дали свидания, что всех их отправляют? Быстро, нервными шагами, напряженная до боли от ожидания, Леночка бросилась навстречу шуму. Пробежав кривой переулок, она вышла на главную улицу прямо против здания управления. С противоположного конца, заполняя всю дорогу, на Леночку двигалась серая, пыльная река — толпа заключенных. Впереди и по бокам шли конвоиры с ружьями наперевес. Толпа приближалась. Глаза Леночки впились в тусклые однообразные лица. Господи, как же я их узнаю? Все, как один... — с ужасом подумала Леночка.

Страх, что она не узнает братьев, был так силен, что девушка забыла про конвоиров, что она одна, маленькая, беззащитная и несчастная. — Только бы не пропустить, только бы не пропустить! Господи, помилуй... — вдруг начала молиться Леночка.

Лица плыли и плыли мимо. Нет, они не такие одинаковые, как показалось Леночке сразу. Нет, они такие же разные, как в любой толпе, только выражение глаз у всех одинаковое, да бледность и одежда...

Некоторые из проходивших не обращали на Леночку внимания, некоторые смотрели с любопытством и сочувствием.

— Господи, помоги не пропустить! — продолжала молиться Леночка, с отчаянным напряжением вглядываясь в толпу.

— Проходите, гражданка, нечего здесь смотреть! — бросил Леночке идущий мимо конвоир, но девушка не слышала его слов.

— Господи, неужели не увижу? Господи, помоги, помилуй... — и вдруг Леночка увидела. Из-под черной арестантской ушанки на нее глянули почти чужие, еще более властные и сосредоточенные, чем всегда, глаза Григория.

— А где Алеша? — тоненьким, не своим голосом простонала Леночка, бросаясь к Григорию.

— Иди издали за мной! — бросил на ходу Григорий и прошел мимо.

Силы опять оставили Леночку, она хотела идти и споткнулась. Собралась с последними силами и пошла... Впереди, твердым, чуть в развалку шагом, двигалась коренастая, сильная фигура Григория. Группа, с которой шел Григорий, свернула в переулок. Леночка шла шагах в тридцати сзади. Конвоир тоже отстал и лениво брел, не обращая внимания на заключенных. Леночка не знала, что ей делать дальше, и стала, идя сбоку по тротуару, обгонять идущих. Поровнявшись с Григорием, она искоса взглянула на него. Григорий отвернулся в другую сторону. Еще более смешавшись, Леночка пошла вперед по переулку, боясь оглянуться. Шаги сзади вдруг смолкли. Леночка обернулась — переулок был пуст, только совсем отставший конвоир остановился, прижал винтовку под локоть, не торопясь закурил и пошел обратно. Холодное отчаяние охватило Леночку. Упустила... неужели упустила?

Леночка пошла назад, вглядываясь в дома. На воротах одного из домов была небольшая вывеска: «Библиотека КВО... лага». Минуту постояв в нерешительности, Леночка быстро, отчаянием преодолевая страх, пересекла двор и, взбежав на крыльцо, вошла в сени. Сильные руки схватили ее сзади за локти, взволнованный голос Григория прошептал над ухом...

— Тише, а то кто-нибудь выйдет!

Леночка обернулась и, стараясь не всхлипывать, глотая слезы, повисла на шее у Григория. Григорий поцеловал Леночку, тихо разжал ее руки и немного отстранив, быстро, скороговоркой зашептал:

— Свидания запрещены потому, что заграницей поднята кампания о применении рабского труда на лесозаготовках и об экспортном демпинге. Ждут какую-то комиссию. Я вырвался сюда чинить электричество.

Ночью буду работать на стадионе у вокзала. Между стадионом, лагерем и кладбищем куча камней — с 11 ч. вечера жди меня там, спрячься между камнями. Алеша здоров, но работает в лагере за проволокой. Теперь иди и старайся, чтобы тебя никто не видел.

Григорий крепко поцеловал Леночку, нежно взял за плечи и легонько вытолкал из сеней на двор. Леночка, ничего еще толком не понимая, быстро выбежала на улицу и медленно, как пьяная, пошла к дому.

Весь день прошел в напряженном ожидании. Леночка не могла простить себе, что не передала Григорию ни денег, ни посылку, ни крестиков. Вспоминая о крестиках, Леночка вспомнила об Алеше. Его она любила больше, чем старшего брата: он был моложе, беспомощнее и, следовательно, несчастнее, а главное, он был понятнее и ближе. Отправляясь в дорогу, Леночка мысленно представляла себе свидание именно с Алексеем. Как же теперь быть с крестиками? Леночка была совершенно уверена, что после всего происшедшего Алеша поймет ее и обрадуется крестикам. А Григорий? Григорий такой гордый, недоступный. Он тоже возьмет крестики, но может отнестись к ним, как к ненужным побрякушкам, а это было бы теперь так тяжело для Леночки.

Проволновавшись весь день, под вечер Леночка не выдержала одиночества, вышла на улицу и решила еще раз встретить колонну заключенных на обратном пути в лагерь и заранее найти место будущего свидания.

Выйдя за город, она увидела влево от лагерных бараков необычайно густую для севера сосновую рощу. Она решила, что это и должно быть кладбище, и не ошиблась. Леночка плохо знала искусство и мало ценила старину, но на ее напряженные нервы поморское кладбище произвело впечатление ошеломляющее: густо заросшие травой могилы были беспорядочно разбросаны под хмурыми соснами. Роща сама по себе напоминала древне-славянское капище. Но что больше

всего потрясло Леночку — это кресты: целая мощная и величественная симфония из крестов. Они были деревянные, древние, с резными кровлями, почерневшие от времени и поросшие зеленоватым мхом. На многих больших деревянных крестах были набиты маленькие, медные, тоже позеленевшие, дремучие... Беспорядочность планировки могил еще более увеличивалась тем, что большинство крестов наклонилось, некоторые уже упали, но во всём этом хаосе была какая-то внутренняя гармония, суровая и вечная. Леночке вдруг почему-то стало стыдно своего волнения, своего беспокойства и даже горя. Она опять почувствовала себя маленькой и ничтожной, но это не было ощущение ничтожества дождевого червя, вдруг почувствовавшего занесенную над собой ногу в кованом сапоге — нет, в этом ощущении было что-то успокаивающее, возвышенное. Леночка долго стояла не двигаясь, затем медленно пересекла кладбище и вышла в поле. Там, в полверсте от кладбища, в направлении к баракам, четко выделялась куча голых серых камней.

Уже в городе Леночка встретила колонну, но место встречи оказалось неудачным: она была единственной прохожей и конвоиры заставили ее свернуть в переулок. Издали Леночка видела только пыль и серую однообразную толпу. Опять волнение и беспокойство овладели девушкой, она постояла и опять вышла за город. Позднее северное солнце село. Пустыня дышала сыростью, поднимался туман, мешавшийся с пылью только что прошедшей колонны. Безнадежным мрачным отчаянием веяло от этого чужого и враждебного поля.

Зачем столько страданий, зачем столько усилий? Всё напрасно, всё умрет, всё кончится... — подумала Леночка. Захотелось пропасть, сгинуть...

Вдруг из сумерек и тумана на дороге возникла группа людей. Их было человек двадцать. Двигались они медленно, размеренно, важно.

Откуда они, почему их не было видно раньше?

Люди приближались, и чем ближе подходили, тем больше росло удивление Леночки. Это были старики с длинными белыми бородами, в меховых шапках, в широких, до земли длинных шубах нараспашку, с посохами в руках. Скоро стали видны их лица, такие же величаво спокойные, как походка, как всё обличье. Выражение лиц было сосредоточенное и строгое, но это не была холодная строгость кладбища, так поразившая днем Леночку. В них было что-то родное, теплое, радостное.

Где я их видела? Я же их видела где-то! Да, еще маленькой девочкой... с мамой... в церкви.

Запах ладана, освещенный храм, сияющее облачение, открытые царские врата...

Как это называется?... Великий выход, — почему-то решила Леночка. Старики поравнялись с девушкой. Один из них ласково посмотрел на нее. Глаза были глубокие, немного выцветшие, брови густые, нависшие.

— Куда вы, дедушка? — спросила Леночка.

— На дежурство, милая. Сторожа мы, ночные сторожа, заключенные.

— Что ты, попов, что ли не видела? — раздался грубый окрик конвоира, и серая шинель с винтовкой наперевес выросла между стариками и девушкой.

Часов у Леночки не было, но было уже поздно, когда она с трудом нашла условленную кучу камней. Ночь была облачная, иногда луна выглядывала в разрывы облаков и тогда холодный свет освещал неприглядное, еще более мрачное, чем днем, поле. Леночка озябла и устала, но ужаса и отчаяния больше не было. Раньше она побоялась бы идти одна в неизвестном городе ночью в такое мрачное место, теперь она об этом даже не думала. Странное дело — после встречи со священниками вера в жизнь и удовлетворение от сознания исполненного долга вернулось к Леночке. Она даже не особенно беспокоилась за Григория, хотя и

не могла представить себе, как он сможет ночью уйти с работы.

Раздался легкий шорох, а затем приглушенный голос Григория:

— Леночка!

— Гриша! — отвечала также тихо Леночка и пошла навстречу странной, непривычной в новой одежде фигуре Григория. Он подошел, крепко, радостно обнял Леночку и чуть дрогнувшим голосом сказал:

— Молодец! Не побоялась, приехала... Знаешь, как это дорого! Когда в тюрьме получил первую передачу, разревелся, как баба.

— А что с Алешей? — спросила Леночка.

— Алеша работает в лагере. Хотел было лезть под проволоку, чтобы прийти сюда, но я ему запретил — могут побег пришить.

— А как вы всё это выдерживаете?

— Теперь ничего... вот в лесу трудно было! Ему повезло — он всё время чертежником в управлении; меня на прорыв в лес отправляли... там хуже, насилу назад выбрался. Давай на всякий случай спрячемся.

Григорий нашел большой плоский камень. Расстелили бушлат и оба легли рядом, говоря шопотом и время от времени прислушиваясь.

Григорий еще больше возмужал, еще больше силы было в его коротких ответах и репликах, но за этой силой чувствовалась какая-то большая человеческая мягкость, которой Леночка раньше в брате не замечала. Былой заносчивости и резкости не было совсем. Леночка чувствовала себя с Григорием легче и свободнее.

— А знаешь, Гриша, я привезла ваши крестильные крестики... я теперь молюсь, Гриша.

Григорий молчал, Леночка молчала тоже, стараясь в темноте разглядеть лицо Григория. Когда на мгновение выглянула луна, Леночка увидела строгие, задумчивые глаза брата.

— Знаешь, Леночка, — заговорил вдруг Григорий,

— еще в тюрьме... первое время я всё никак не мог примириться с мыслью о заключении, всё верил, что освободят, страдал, надеялся и злился. Со мной рядом лежал инженер, — тоже мучился, как и я. Мы с ним подружились. Взяли его однажды на три дня — вернулся чуть живой, одни глаза остались. Вернулся и сутки спал, его старались не тревожить. На вторые сутки ночью просыпаюсь, вижу и он проснулся, лежит и на меня смотрит, глаза большие, черные, странные какие-то. Смотрит на меня и говорит: «А знаете, Бог есть!». — Я тогда решил, что это у него после допроса нервный припадок какой-то. Самого меня так не мучили, а вот попал в лес: урок 10 кубометров на пилу не выполнишь — уменьшат паек. А как его с непривычки выполнишь? Охватило меня отчаяние. Сел под елью... Нет, думаю, есть что-то выше этого ужаса... есть Бог!

— А как Алеша? — спросила Леночка.

Григорий замолчал.

— Как Алеша? — наконец, сказал он. — Алеша... сначала плохо, а теперь поправился, даже по вечерам в волейбол с вольнонаемными играет.

Леночка чувствовала, что что-то в поведении Алеши не нравится Григорию, и смутилась.

— Гриша, — спросила она, — а видел ты этих стариков-священников, сторожей этих?

— А ты их тоже видела? — обрадовался Григорий.

— Как же, сегодня вечером, какие-то особенные, хорошие...

— На них здесь очень косятся чекисты и уголовники. Говорят, когда они собираются вместе, то, идя дорогой, про себя всенощную служат. Их уже давно угнали бы в лес, да складов, кроме них, доверить некому — вот и терпят... А как устроился Николай после освобождения?

— Живет дома и помогает отцу в его научной работе... Вот что значат связи! — вздохнула Леночка.

— Я очень рад за него; если кто заслужил осво-

буждение, так это именно он, — строго сказал Григорий. — Вот Алешу жаль... такой был душевный парень, только чересчур мягкий.

— Наталья Михайловна первое время прямо места себе не находила... ведь она тоже начала хлопоты через Калинина, а письма вдруг прекратились. Сначала ничего понять не могли, — пропал и всё. Только уже летом Наталья Михайловна сама поехала в то отделение, где он был, и всё узнала...

Леночка тихонько всхлипнула, но удержалась и не заплакала.

Около получаса говорили еще Леночка и Григорий. Григорий поднялся.

— Прощай, Леночка, поцелуй маму.

Леночка прижалась к грязной, засаленной телогрейке. Никогда еще не чувствовала она к брату такой близости.

— Прощай, Гриша! На следующий год обязательно приеду. Следи за Алешей, дай Бог, чтобы вас не разъединили!

Темная ночь быстро проглотила силуэт Григория.

Григорий вернулся в барак рано утром. Алеша не спал и сразу стал расспрашивать.

— Да, между прочим, Леночка привезла наши крестильные кресты, — сказал Григорий небрежно, передавая Алеше золотой крестик. Алеша смутился.

— А где твой крест? — спросил он, опуская глаза и неуверенно сжимая кулак, чтобы кто-нибудь не увидел в его руке столь предосудительный предмет.

— Свой я надел на шею.

Григорий сделал вид, что ничего не заметил.

— Да... — протянул Алеша, — очень приятно... почему это ей пришло в голову привозить сюда золотые вещи? Дома они были бы целей.

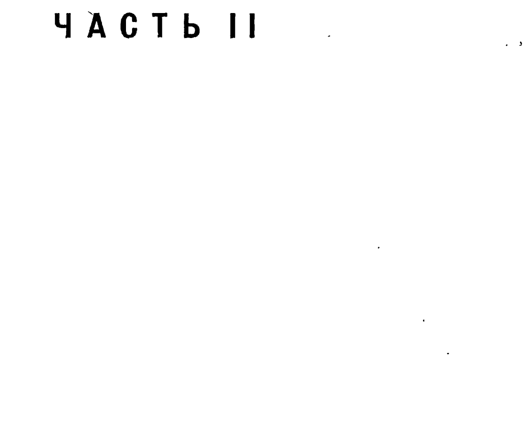
Стук, стук, стук — мерно стучали колеса. Опять Леночка сидела у окна и вглядывалась в необъятную тайгу, но в душе у нее, наряду с глубокой грустью, было что-то светлое, радостное и таинственное. Леночка не заметила, как стала засыпать...

Снилось ей громадное поле. Кругом стоял мрачный, дремучий лес. На опушке леса появилась маленькая группа людей. Они шли навстречу Леночке. Скоро Леночка узнала в них вчерашних стариков, только одеты они были в праздничные церковные облачения. Лица их были торжественные и радостные... Со всех концов опушки стали выходить группы людей, одетых в серые бушлаты и черные шапки-ушанки. Число их росло и росло и все они присоединялись к группе священников.

Что это такое? — силилась вспомнить Леночка. — Да, кажется, в церкви это называется «Великий Выход». Шествие поравнялось с Леночкой. — Идя на работу, они служат всенощную — вспомнила Леночка слова Григория. Почему я так давно не была у всенощной?

Толпа приблизилась, окружила и увлекла Леночку с собой... Куда они идут, Леночка не знала, но на душе у нее стало совсем спокойно, ясно и радостно.

ЧАСТЬ II



Глава первая

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Григорий подошел к маленькому деревянному окошку и оперся рукой о подоконник. Рука дрожала. По другую сторону перегородки человек, сидевший за столом, медленно и внимательно перебирал бумаги. У Григория от нетерпения и волнения пересохло в горле и он нервно кашлянул. Большие грубые руки с грязными ногтями перестали двигаться, бледное лицо поднялось и на Григория глянули злые враждебные глаза.

Опять какая-нибудь оттяжка, — пронеслось в воспаленном мозгу Григория.

— Куда хотите ехать? — недовольным тоном спросил грубый голос.

— Я освобождаюсь без ограничений? — вырвалось у Григория, и нелепая надежда на минуту затемнила сознание.

— Да, — раздраженно ответил голос, — говорите, куда вы хотите ехать?

— В Москву!

— В Москву нельзя...

Полутемный коридор стал еще темнее. Проклятая рука продолжала дрожать мелкой противной дрожью.

— Тогда в Тулу.

Голос почему-то не слушался и звук слов получался глухой.

Неприятные глаза оторвались от лица Григория и бледное лицо опять склонилось над бумагами.

Когда они подходили к проходной будке, солнце только что село. Днем было тепло и на дороге образовались лужицы. Холодный вечерний ветер покрыл лужицы тонкими корочками льда; когда Григорий наступал на него, лед лопался с хрустящим звуком и из-под ноги выступала вода. Григорий старался не глядеть на серые однообразные бараки и думал только о том, как бы скорее уйти из лагеря.

Ротный Петров, сидевший за растрату, шел сбоку и ему всё время хотелось заговорить с Григорием. Петров с завистью и удивлением поглядывал на мрачную фигуру, шагавшую широкой твердой походкой, и не понимал, почему спутник такой невеселый.

— Эх, и напьюсь же я, туды его растуды, когда освобожусь, — наконец, не выдержал Петров. Григорий ничего не ответил; впереди показалась проходная будка и высокие деревянные ворота.

Письма спрятаны в середине вещевого мешка; если будут обыскивать, вывалю всё кучей на пол, авось рыться не станут. Если найдут, могут задержать. Сердце Григория болезненно сжалось. Сволочи! — подумал он.

— Что же у тебя родители и жинка на воле? — спросил Петров.

— Мать, — коротко ответил Григорий.

— А у меня двое пацанов осталось, — вздохнул ротный.

Григорию стало жалко Петрова. Тоже ведь мучится, — подумал он.

Широкое лицо Петрова потеряло обычное выражение плутовства, смешанного с подлостью и наполнилось настоящей человеческой печалью.

Григорий показал дежурному белую продолговатую бумажку об освобождении и небрежно бросил ве-

щевой мешок на лавку. Рысьи глаза дежурного медленно прочли всю бумагу до конца.

— Михеев, запиши Сапожникова на освобождение, — сказал он рыжему вохровцу, сидевшему у дощатого стола.

Михеев взял бумагу и стал медленно водить пером по странице дежурной книги.

— Петров, обыщи вещи, — приказал дежурный.

Григорий хотел сам вытряхнуть рюкзак, но Петров уже завладел им и начал развязывать.

— Возьмите документы, — лениво сказал рыжий Михеев, кончая записывать.

— Сейчас найдут письма, — подумал Григорий, беря бумагу и искоса следя за толстыми пальцами Петрова.

Снаружи раздался громкий хруст полозьев и топот лошади. Дежурный открыл дверь и сейчас же крикнул:

— Петров, открывай ворота, уполномоченный!

Петров бросил мешок и выбежал из проходной. Напротив раскрытой двери стояли легкие сани; от большой гнедой лошади шел пар, она нетерпеливо рыла копытом землю и мотала головой. В санях Григорий увидел уполномоченного секретного отдела Ионина.

Григорий хорошо знал Ионина. Последний год перед освобождением он работал монтером и ему приходилось часто чинить электричество в секретной части.

В тот момент, когда ворота широко отворились, Григорий схватил мешок и побежал к саням.

— Я на освобождение, не довезете до города, гражданин уполномоченный?

Черные наглые глаза с удивлением остановились на заключенном.

— Садись, только скорее, — сказал резкий голос.

Григорий бросил мешок под ноги чекисту и прыгнул в сани. Лошадь рванула и сразу взяла крупной рысью; ворота мелькнули и скрылись за ледяной пылью.

На вокзале было так много народу, что протолкаться к кассе казалось невозможным. На всех скамьях и на полу, выложенном желтым кафелем, лежали и сидели плохо одетые озлобленные люди. Женщины кормили грудных детей, мужчины курили махорку. Всё время приходилось лавировать между серыми мешками и деревянными сундуками.

Простояв два часа в очереди, Григорий с трудом пробрался к кассе. Охрипший злой кассир, мельком взглянув на литер, сказал, что билетов третьего класса уже нет.

— А сколько стоит второй? — с отчаянием спросил Григорий. Для покупки билета второго класса надо было потратить почти все деньги. Григорий, не колеблясь, заплатил и протиснулся на перрон. Слава Богу, уеду, — подумал он с облегчением.

Кондуктор открыл купе, щелкнув ключом. Мягкие сидения, слабый свет маленькой лампы. В купе никого. Непривычная тишина и комфорт.

Григорий сел. На душе было тихо, слабость медленно охватывала тело.

На перроне послышались крики и свистки, заглушенные окном и дверью. Паровоз густо рявкнул, вагон вздрогнул и тени медленно поползли по стеклу. Григорий вышел в коридор и стал к окну.

Поезд набирал скорость, колеса ритмично, успокаивающе стучали. С высокой насыпи были видны крыши полутемного притаившегося городка. Скоро крыши кончились, замелькали лапы еловых веток и из-за редкого придорожного перелеска засветились далекие мигающие огоньки лагеря.

Григорий болезненно вздрогнул. Наверно, поужинали и готовятся ко сну. — Сколько он видел этих лагерей за пять лет, сколько нашлось и исчезло новых друзей и единомышленников!

Огоньки погасли в густой темноте сплошного леса. Григорий вернулся в пустое купе и лег, не раздеваясь, на непривычно мягкие пружины сидения. Тепло и рокот колес ласково убаюкивали. Как хорошо, что завтра не надо идти на работы! — подумал Григорий засыпая.

Дверь щелкнула и хриплый голос где-то совсем близко произнес: «Этот!». Свет карманного фонаря ослепил глаза. Григорий сел и не мог понять, где он и что с ним происходит.

— Ваши документы!

Из-за снопа света туманно вырисовывались две фуражки войск НКВД.

Григорий нашел в бумажнике белый клочок заветного документа и с невольной дрожью передал свое сокровище вошедшим. Прошло несколько томительных мгновений.

Григорий окончательно разглядел, что в купе находятся два чекиста и проводник. Чекисты молча прочли справку об освобождении, медленно, как бы с сожалением, вернули ее Григорию и вышли. Григорий остался в своем углу разбитый и усталый. Посидел... потом лег и не сразу, с трудом, заснул беспокойным сном.

В Ленинграде Григорий сменил второй класс на третий. — Завтра утром увижу Москву и это не сон! — думал он, — даже страшно! Там и Алексей где-то близко, на канале Москва-Волга, Леночка... О матери Григорий почему-то вспомнил в последнюю очередь. У Леночкиной подруги Нины уже годовалый ребенок, а ведь была совсем девочка! — Григорий вспомнил худенькую, почти детскую фигурку большеглазой Ниночки. Прямо-таки трудно поверить. Интересно, какие изменения в психологии советской молодежи произо-

шли за годы первой пятилетки. Легче будет среди них работать или труднее?

В купе вошел молодой человек и солидно сел напротив. Григорий с интересом стал его разглядывать.

Незаметно стремления замаскироваться под пролетариат, белый воротничок, галстух... Комсомольская молодежь еще в 27 году на это косилась.

Молодой человек достал «Известия» и стал их просматривать, шелестя бумагой. Быстро пробежал первые страницы и застрял на шахматном отделе. Григорию хотелось заговорить с молодым человеком, но он боялся себя выдать даже в поезде и поэтому сдержался.

Прошел уже час, как в окнах промелькнули последние огни ленинградских предместий. Вагон был плацкартный. Соседи подняли средние полки и каждый занял свое место. Молодой человек напротив достал из чемодана резиновую надувную подушечку, снял пальто, расстелил одеяло и лег. В проходе появилась стройная белокурая девушка.

— У вас нет свободных мест? — спросила она взволнованно.

— Совсем свободных нет, но я не собираюсь спать — можете садиться на мою лавку.

— Я обязана быть завтра в Москве на комсомольском съезде, билетов уже не было. Я села на ура с перонным билетом — пускай штрафуют, но зато я приеду во-время.

— Садитесь, может быть, контроль вас не заметит, — сказал Григорий, отодвигаясь в самый угол.

Девушка сняла легкое осеннее пальто и села, оставшись в сером элегантном костюме. Григорий вспомнил комсомолок в своем техникуме: неопрятных, плохо одетых, в дешевых красных платках на голове. Да, по крайней мере, внешне молодежь изменилась. Девушка в свою очередь с интересом посмотрела на Григория.

— Вы, наверно, работаете, на каком-нибудь ударном строительстве?

— Да, работал и возвращаюсь домой.

— В Москву?...

— В Москву, — ответил Григорий и подумал: не худо бы, в самом деле, ехать не из концлагеря, а с гражданского строительства.

— Я постараюсь скорее кончить институт и тоже поеду в провинцию на стройку, — с увлечением сказала девушка.

Хорошо, если сама поедешь, а не повезут за решёткой, — подумал Григорий и спросил, в каком институте она учится.

— Я — химик, — с гордостью ответила комсомолка.

— Я на вашем месте постарался бы всё же устроиться в столице. На стройках в провинции не всё так хорошо, как вы, может быть, думаете, — многозначительно сказал Григорий. Интересно, знает ли она о массовом применении рабского труда при выполнении пятилетнего плана?

Девушка села с ногами на скамейку, обняла колени руками и возмущенно посмотрела на Григория.

— Я хочу работать для социализма, а не искать тепленькое местечко в столице, — отрезала она.

— Это очень похвально, — улыбнулся Григорий. — Я вот уже проработал в провинции четыре года и всё-таки должен сказать, что в столице лучше.

Взгляд зеленоватых глаз смягчился.

— Это очень хорошо, что вы энтузиаст строительства, только я не могу понять, почему у вас такие капитулянтские настроения.

— Знаете, у нас на строительстве работало довольно много принудработников, — осторожно начал Григорий.

— Ну, и что же из этого, — сразу перебила девушка. — Очень хорошо, что у нас государство исправ-

ляет преступников, заставляя их трудиться. На царской каторге людей только мучили, у нас на Беломорском канале преступники буквально были перекованы, построили прекрасное сооружение и теперь влились в семью трудящихся.

Григорий вспомнил тени умирающих урок в лазарете, целые вымершие этапы, вспомнил, что ему рассказывали про условия труда на глубокой выемке канала, когда умерших прямо на работе, от истощения, вывозили из котлована на тачках, вспомнил и ничего не ответил. Разговор принимал явно опасный оборот. — Как я всё-таки изменился, — подумал Григорий, — сам такой же дурак когда-то был. Заставить бы ее перековаться, да потом попробовать влиться в семью трудящихся с волчьим паспортом судимости.

Девушка не поняла его молчания и продолжала:

— Кроме того, у нас на самых трудных участках работают комсомольцы-добровольцы, не уступая никому этой чести.

Она, в самом деле, ничего не знает, — решил Григорий, — кроме того, непрочь пококетничать и, повидимому, привыкла командовать. А в общем — девушка неплохая.

В этот момент в вагон вошел контролер в сопровождении кондуктора.

— Граждане, приготовьте билеты! — громко скомандовал кондуктор, быстро проходя к противоположной двери. Девушка заволновалась.

— Я, товарищ кондуктор, еду на съезд актива московского комсомола. Вот мой мандат. Билетов не было, я села без билета. Я готова заплатить штраф.

— Хорошо штраф, гражданка, но ведь это вагон плацкартный, все места заняты, — строго ответил контролер, не обращая внимания на мандаты.

— Я спать не буду, на моей лавке места много, — вмешался Григорий.

— Идите с нами, гражданка, — сказал контролер, — надо поговорить с главным кондуктором.

Девушка встала, быстрым движением накинула на худые плечи пальто, дружески кивнула Григорию, пошла за контролером и через несколько минут вернулась назад.

— Отпустили, — шепнула она довольным голосом, садясь на прежнее место.

— Вы можете лечь, я постою, посмотрю в окно, — сказал Григорий. — Что если ей сказать, что я только что освободился после отбытия наказания за участие в контрреволюционной группировке. Она, наверно, уверена, что все контрреволюционеры либо осколки отечественного капитализма, либо наемники иностранных империалистов.

— Мне хватит моего угла, — гордо ответила девушка. Сняла туфли, накрыла колени пальто и прислонила русую голову к стенке вагона.

Григорий встал и пошел к окну. Поезд шел через лес, но деревья не имели нахмуренного зловещего вида таежных северных лесов: на них лежала печать цивилизации. Из трубы паровоза вылетали искры, ветер подхватывал их вместе с клубами дыма и относил в сторону, они взвивались, кружились и тухли, поглощаемые темнотой.

Да, пока что и планы нашей организации загораются, вспыхивают, как искры, в общей тьме враждебности, незнания и слабости; жизнь разносит их и они тухнут, но когда-нибудь благоприятные обстоятельства занесут искру на сухую подготовленную почву и начнется общероссийский пожар.

Перед рассветом Григорий забылся минут на десять. Как бы не пропустить! Что пропустить? Григорий не сразу вспомнил, что хотел посмотреть на пригородные станции. Комсомолка спала в углу,

закинув назад голову. Ничего не чувствует и не понимает, — почему-то с раздражением подумал Григорий и вышел на площадку. Свежий ветер сразу прогнал усталость. Чувствовалась близость Москвы, поезд уже миновал Клин и Солнечногорск. Платформы мелких станций мелькали пустые и полуосвещенные. Великое дело Родина, даже в узком смысле родного города. Григорий зажмурился: нет, это не сон — я в действительности еду в Москву. А что дальше? Как и где сумею устроиться? Не буду портить этого мгновения.

Площадь перед вокзалом, утренняя суета. Трамваи, переполненные рабочими и служащими. Ломовики на полкáх с кovаными колесами. Носильщики в белых фартуках с медными номерами на груди. Голова у Григория закружилась; как пьяный, он подошел к остановке и сел в трамвай. Да, старый номер вагона идет по старому направлению. Кондукторша визгливо обругала пассажира, пассажир ответил грубостью, кому-то наступили на ногу. Всё по-старому, — с удовольствием подумал Григорий.

Глава вторая

В МОСКВЕ

Мама умерла. Лицо Леночки выглядело странно от смеси горя и радости. Григорий снял мешок с плеч, сел, не раздеваясь, на стул и отер лоб носовым платком. Как-то всё чудно в жизни получается — не так, как ожидаешь, — думал он. Леночка положила руки на стол, припала к ним головой и заплакала.

— Она вас так ждала. Так радовалась, когда узна-

ла, что Алешу перевели в Дмитров. Всё собиралась на свидание — и вдруг...

— Отчего это она? — Григорий почувствовал, что голос его дрогнул.

— Сердце. Болела всего неделю.

— Давно?

— Две недели, как похоронили.

— Да... протянул Григорий.

— А как, — вдруг забеспокоился Григорий, — как хоронили, по-церковному?

— Да, отпевали, — Леночка не удивилась вопросу брата.

— Ну, раздевайся, — захлопотала она, — раздевайся. Алеша приедет через неделю, я уже у него была. Он хочет остаться там же на строительстве вольнонаемным.

Григорий поморщился.

— Знаешь, с вашими документами почти невозможно нигде устроиться. Тут ко мне заходил Юрий, такой черноглазый, с письмом от тебя. У него тоже ничего не вышло — уехал в Сибирь.

— А как с квартирой?

— Видишь, осталась только наша с мамой комната. В вашей какой-то совсем подозрительный тип живет. — Леночка перешла на шопот. — Лучше, чтобы он тебя не видел. Ты куда направление взял?

— В Тулу.

— А сколько дней можешь остаться?

— Документ об освобождении действителен на две недели.

— Ну, стало быть, дней десять можешь побыть в Москве.

— А на что ты живешь?

Григорий с грустью осмотрел комнату. Многих знакомых с детства вещей недоставало. Леночка сконфузилась.

— Продаю и, кроме того, работаю машинисткой.

Григорий задумался: всё складывалось не так, как он предполагал. Жаль, что мать в живых не застал...

— А во что вылилась паспортизация? — спросил он с тревогой.

— Очень многим пришлось уехать, — ответила Леночка. — Вообще в Москву можно попасть только по вызову какого-нибудь учреждения на работу, или если жениться на москвичке или выйти замуж за москвича, имеющих собственную жилплощадь.

— И многих выслали?

— Да. Маленькие городки кругом Москвы полны лишенцами и бывшими заключенными. Москвой считается не только город, но и стокилометровая зона кругом города.

— Зажимают всё крепче, — сказал Григорий.

Леночка опять заплакала.

— Ни тебе, ни Алеше в Москву не пробраться. С судимостью за контрреволюцию доступ в столицу закрыт.

Григорий опустил голову. Свобода!.. Вот она какая свобода! В крупные города не пустят. Забившись в какую-нибудь дыру, может быть, и просуществуешь, но как с политической работой? В маленьком местечке всегда на виду у всех. Кроме того, с кем работать? На минуту мелькнула мысль: махнуть на борьбу рукой, жениться в провинции и уйти в личную жизнь. Григорий остро почувствовал, что уже не может, если бы даже захотел, прекратить борьбу. Путь мещанского счастья для него был закрыт навсегда, хотя этого самого мещанского счастья хотелось как будто бы больше всего.

Леночка вскипятила чайник и поставила на стол хлеб, селедку и сахар.

— К сожалению, ничего больше нет, — сказала она извиняющимся тоном. — Приду со службы, что-нибудь придумаем, а сейчас у меня, кроме этого, ничего нет.

— А как Николай? Мы с ним не переписывались, — спросил Григорий.

— До паспортизации был в Москве и уже где-то работал. Потом ему не давали паспорта, а теперь он опять дома и всё улажено.

— А видишься ты с Желтухиными? Как они без Алеши?

— Наталия Михайловна живет на новой квартире. Знаешь, она очень хорошая женщина, очень много помогала мне в хлопотах, связанных со смертью мамы. Муж ее всё в командировках... Ты знаешь, ведь, Борис теперь работает инженером и всё это устроила Наталия Михайловна. Ее отец, Михаил Михайлович, был три года в ссылке и живет с ними, даже паспорт получил. В милиции при получении паспорта сумел скрыть свой арест и ссылку, для этого они и переехали на новую квартиру.

Последние сведения ободрили Григория. Надо штурмовать Москву, — решил он. Другие находят пути и я найду.

Когда Леночка ушла, он тихо запер дверь, чтобы соседи, по возможности, позже узнали об его приезде, и с наслаждением вытянулся на мягком диване.

Посплю до обеда, а потом пойду в обход по городу, — решил он.

Григорий не без волнения вошел в длинную, заставленную комнату Осиповых. Алексей Сергеевич сидел за маленьким столиком и барабанил пальцами по полированному дереву; Надежда Михайловна шила на диване у обеденного стола; Николай читал у окна. Все трое вскочили разом и бросились навстречу Григорию.

— А как остальные? Как Павел?

— Скоро, скоро, в течение этого месяца все освободятся. — Григорий обрадовался, что он, наконец,

попал в дом, в котором ничто не изменилось. Николай, Алексей Сергеевич и Надежда Михайловна были всё те же: даже не постарели, даже пиджак на Алексее Сергеевиче был всё тот же.

— Ну, ты у нас, конечно, пообедаешь, — категорически заявил старик. — А пока говори с Николаем, мы вам мешать не будем.

Григорий прошел в нишу, сел и весело посмотрел на Николая:

— Ну как, есть еще порох в пороховницах?

Николай улыбнулся прежней сдержанной улыбкой.

— Порох есть и, конечно, будет и дальше, — сощурил он хитро глаза, — но о точке приложения силы я несколько переменил мнение.

— А что? — забеспокоился Григорий.

— А то, что от политики я как-то стал отходить. Видишь ли, я думаю, что большевики опять сбалансировали и дело снова пошло на затяжку. Крестьянство сломлено. Новое строительство имеет свой пафос и молодежь увлечена. Все заняты с утра и до ночи; многие техники давно работают старшими инженерами. Окончившие ВУЗ-ы студенты моментально получают ответственные должности. Ты только подумай, из старых инженеров в 1930 году арестовано процентов пятьдесят, а ведь потребности в квалифицированных работниках растут каждый день. Даже такие, как наш Борис, и те попали в инженеры.

— Кстати, где он? — спросил Григорий.

— В Сибири, с мужем Наталии Михайловны, в длительной командировке.

— Ну, ладно. Об этом дальше. Рассказывай об общем положении.

— Так вот оно и выходит, что война питает войну. Пока специалист молод и делает «головокружительную» карьеру, он увлечен и ему думать некогда; когда он приобрел опыт и разглядел, что знаменитое стро-

ительство социализма ведется рабскими методами и нерационально, его обвиняют в контрреволюции и сажают в концлагерь, а на его место выдвигают нового из молодежи. Техническая элита всё время сменяется. Того, что было в 1930 году, и в помине нет. Кулаки либо уничтожены, либо влились в строительство. Деревня разорена и обескровлена, а рабочие еще не поняли, что следом за крестьянами всеобщее закрепощение ударит по ним. Одним словом, несколько лет большевики просидят крепко, а дальше... а дальше трудно сказать, что будет, но, по-моему, будет война. Пятилетка — это ничто иное, как техническая подготовка к проведению мировой революции при помощи штыков Красной армии.

— Это очень интересно, — прервал Николая Григорий, — но я не вижу тут причин к пессимизму. Война, о которой ты говоришь, при наличии миллионов заключенных и недовольстве крестьян, не может быть выиграна Красной армией, а создаст только то потрясение извне, которое мы все считаем необходимым условием внутреннего взрыва.

— В этом ты, конечно, прав, — согласился Николай, — но только имей в виду, что войны не будет в течение нескольких лет, а за это время они сделают всё возможное, чтобы окончательно сломить моральную сопротивляемость народа. Возьми, например, церковь: до смерти патриарха Тихона большевики не могли ничем ее разложить, теперь патриарший местоблюститель митрополит Сергий уже проиграл игру, пойдя по пути компромиссов. Большевики заставили его официально заявить, что гонений на религию нет. Это страшный акт отказа от мучеников за чечевичную похлебку тени централизованного управления церковью. Лучшие священники предпочитают уходить в катакомбы: наш приход официально закрыт уже несколько лет, но фактически существует подпольно.

— И ты решил уйти в религиозную деятельность? — спросил Григорий.

— Я думаю, что сохранение катакомбного православия вопрос жизни или духовной смерти русского народа, — ответил Николай. — Это гораздо важнее политической деятельности.

— А как же — вот Леночка хоронила мою мать и обращалась в ближайшую к нам церковь. Может быть, этого не следовало делать, если ты говоришь, что Сергий продался большевикам.

На лице Николая появилась тень досады.

— Ты меня не так понял. Митрополит Сергий — настоящий православный митрополит и таинства, совершаемые в официально открытых церквах, остаются таинствами. Я считаю неправильным избранный им путь компромисса с безбожной властью.

— А много у вас народу?

— Человек сто пятьдесят.

— Так ведь это целая организация?

— Ты вроде Павла, — ответил Николай недовольным голосом. — Он еще до ареста хотел использовать мой приход для конспиративной работы.

— А я всё-таки не понимаю, почему этого нельзя сделать, — удивился Григорий. — Духовное возрождение России невозможно без религии. Я после лагеря почувствовал это совсем реально, но ведь и религию постепенно задушат, если мы не произведем политического переворота.

— В Евангелии сказано: «На сем камне созижду Церковь Мою и врата ада не одолеют ее», — глаза Николая загорелись фанатическим блеском.

— Так и Россию большевики не уничтожат, — в свою очередь загорелся Григорий.

— Ну, опять заспорили.

Надежда Михайловна уже принесла суп, накрыла на стол и подошла к молодым людям, увлекшимся спором.

— А что они и тебя в монахи тянут? — шутливо вмешался Алексей Сергеевич.

Поразительно живучие люди, — удивлялся Григорий, глядя на Осиповых. — Сына едва вытянули из концлагеря, живут впроголодь, а думают и говорят только о вещах отвлеченных и принципиальных.

— Где-нибудь работаешь? — спросил он Николая.

— Устроился в одной научной редакции, — ответил Николай, потухая, — делаю разные справочные работы.

— А как домашние переживают смерть Алеши?

На глазах Надежды Михайловны навернулись слезы:

— Как переживают! Отец ведь очень замкнутый человек. Его сразу не поймешь. А Наташа мучится.

— Куда у тебя направление? — спросил Алексей Сергеевич.

— В Тулу.

— В Тулу! — обрадовался старик. — В Туле у меня есть знакомые, мы тебе письма рекомендательные дадим.

После обеда Григорий еще около часа расспрашивал Николая про дела организации. Несмотря на отход от политики, Николай довольно хорошо знал всё. Борис в Сибири сколотил небольшую группу; многие арестованы, многие разъехались по провинции, некоторые отошли.

— Сначала хорошенько оглядись, — посоветовал Николай. — Вербовка тайных осведомителей идет непрерывно, все старые связи надо заново проверить. А как у вас в концлагере, что-либо наладилось?

Желтухины занимали две комнаты в квартире, помещавшейся в нижнем этаже большого дома. Окна выходили на маленький асфальтовый двор, зажатый между громадными кирпичными стенами. Григорий

постучал во второе окно справа от двери, согласно указаниям Николая. Из-за занавески кто-то выглянул, и через минуту Григорий уже сидел на широком, покрытом ковром диване против Наталии Михайловны.

— После смерти Алеши вы все для меня стали братьями, — говорила она грустно, — отец молчит, но ему еще тяжелее, чем мне. Алешу он любил и как сына и как самого близкого друга. У меня всё-таки своя семья, мне легче.

— Скажите, когда вы видели брата последний раз?

— В Кеми, сразу по прибытии в лагерь, — ответил Григорий. — Дольше других с ним пробыл Павел.

— А когда он приедет? — спросила Наталия Михайловна и в глазах ее пробежало какое-то необычайное выражение.

— Мы считали, что приблизительно через месяц. Разница получилась из-за несколько различного зачета рабочих дней. Мне, в конечном итоге, сбросили больше, чем ему.

— А очень тяжело было?

— Разно. Кто как умел устроиться и кому как везло. Обычно, интеллигентные люди попадали в канцелярии. Самое страшное — это долго застрять на общих работах.

— А как устроился Борис? — спросил в свою очередь Григорий. — Говорят, что ваш муж ему очень помог.

— Борис, — замечательный человек, — улыбнулась Наталия Михайловна. — Он ведь женился.

— Я слышал. А что представляет собой его жена?

— Хорошая, — уверенно кивнула Наталия Михайловна, — с характером, расчетливая. Отец ее был в свое время миллионером, но человек совсем свой, а главное, очень любит Бориса.

Выходя от Наталии Михайловны, Григорий встре-

тился в дверях с Михаилом Михайловичем. Старик поседел и высох, но держался попрежнему прямо и был всё так же красив. Холодные спокойные глаза, увидя Григория, потеплели и затуманились глубоким скрытым горем. Григорий пожал сухую крепкую руку.

— Зайдите ко мне, я тоже хочу с вами поговорить.

Михаил Михайлович жил во второй проходной комнате, отгородив себе угол легкой досчатой перегородкой. Наталия Михайловна вошла к отцу вслед за Григорием и все трое уселись на простую деревянную постель, покрытую серым солдатским одеялом.

— Ну, рассказывайте по порядку, как жилось в лагере, что с оставшимися товарищами и каковы ваши планы на будущее. — Глаза Михаила Михайловича опять были невозмутимо спокойны и опять от них веяло аристократическим холодком.

Григорий довольно долго рассказывал о лагерном быте, о системе использования труда заключенных и о своем желании устроиться как можно ближе к Москве, чтобы при первом удобном случае вернуться в родной город. Михаил Михайлович задавал уточняющие вопросы, иногда делая дельные замечания, и по лицу его совершенно нельзя было понять, зачем всё это ему нужно и что он обдумывает.

Почему мы не втянули его в организацию? Судя по живости ума, он человек исключительно целеустремленный и внутренне организованный, — думал Григорий.

— В Москву вам попасть будет очень трудно, — сказал Михаил Михайлович, выслушав Григория до конца. — Легче всего сейчас устроиться в Дмитрове, вольнонаемным на строительство канала. Там работает много нашего народа.

— Опять концлагерь, — с отвращением поморщился Григорий.

Михаил Михайлович молча пожал плечами:

— В противном случае, надо махнуть рукой на столицу и устраиваться подальше в провинции, скажем,

на Урале или в Сибири. Сегодня вечером у нас будет Александр Николаевич Верховский, сослуживец мужа Наташи. Попробуйте еще посоветоваться с ним, — он человек ловкий.

Вечером того же дня Григорий с Леночкой снова пришли к Наталие Михайловне, чтобы познакомиться и посоветоваться с Верховским.

— Документы я вам смогу сделать заново. Зачем вам с судимостью путаться? У нас на строительстве такая каша, что проверить всех невозможно. Только начать придется, скажем, с мастера: у рабочих анкеты значительно проще, чем у администрации. Александр Николаевич говорил быстро и нервно, то небрежно откидываясь на диван, то наклоняясь к Григорию, сидевшему напротив.

Леночка испугалась и тихо дернула Григория за рукав. Григорий сидел, курил и разглядывал Александра Николаевича.

Лицо у него совсем молодое, а в волосах сильная седина, — соображал Григорий. — Наталия Михайловна говорит, что он без специального образования и выдвинулся только благодаря необыкновенной энергии и способностям... очевидно рубаха парень, но арап.

— Мне хочется устроиться поближе к Москве, чтобы потом пробраться в столицу, — сказал Григорий.

— Ерунда, с судимостью вас нигде не примут. Поедемте со мной, через три года будете инженером.

На минуту эта перспектива показалась Григорию заманчивой, но жизнь под чужой фамилией и по подложным документам отрезала возможность устройства в Москве, да и вообще, при громадном количестве знакомых, разбросанных теперь по всей стране, все это не сулило ничего, кроме провала. Чтобы жить нелегально, надо забираться в медвежий угол, вроде брата, сидевшего до сих пор в тайге. Да, кроме того,

у брата в свое время все документы были настоящие, надо было бежать только от ареста.

— Вот Борис работает, ничего не боится, — сказал Александр Николаевич, чуть насмешливо глядя на Григория.

То-то в Москве организация и развалилась, — подумал про себя Григорий.

— Я от вашего предложения не отказываюсь, но сначала попробую легальные пути, или, может быть, полулегальные.

— Ну, попробуйте. Наташа, как там с закуской? — Александр Николаевич достал из портфеля бутылку водки, лихо стукнул ладонью по дну, вышиб пробку и поставил бутылку на стол.

— Ну, со свиданьицем! — подмигнул он весело.

Григория немного поразил развязный тон Александра Николаевича в отношении Наталии Михайловны, но через полчаса, когда бутылка была опорожнена, он сам почувствовал обаяние простоты, непринужденности и беспардонности, исходивших от Александра Николаевича. — Парень неплохой и по-своему незаменимый, он и очки где надо вотрет, и в любой компании водку выпьет, и поможет. Борис прав, — его можно использовать для организации. И предлагает он дело, только надо учитывать, что борьба затягивается, а если сразу броситься на авантюры в Советском Союзе, долго не протянешь. Найду выход и без его содействия и без фальшивых документов.

Десять дней рыскал Григорий по Москве, обходя старых знакомых и ориентируясь в обстановке. Кое-где освободившегося контрреволюционера принимали сухо, но, в большинстве случаев, в смысле личного отношения, пожаловаться было не на что. Хуже обстояло дело с организацией. Очень многие разъехались по «периферии», как тогда было принято гово-

рить; большинство из оставшихся были людьми второго и третьего сорта, даже в спортивном отношении они потеряли форму, отяжелели, обзавелись семьями и, занятые целый день работой, утомленные трамваями и трудностями жизни, перестали чем-либо интересоваться.

Григорий впервые остро почувствовал, что за проволокой сидел отбор русского народа. Один из бывших приятелей по волейболу, верзила Иванов, очень обрадовался старому другу и потащил его к другому волейболисту. Купили водки, достали колбасы на закуску и «раздавили» литр в честь освобождения тренера. Оба спортсмена были коммунисты, но в свое время было ясно, — начнись настоящая открытая борьба, они пошли бы за Григорием. Теперь оба были женаты, перестали заниматься спортом и обрюзгли. Когда содержимое литра подходило к концу, Иванов расчувствовался и, предварительно оглянувшись по сторонам, произнес короткую невразумительную речь на тему о благополучном возвращении Григория.

— Мы все, когда тебя арестовали, начали собирать подписи среди видных спортсменов под коллективным заявлением о твоей благонадежности.

Григорию даже стало жалко простодушных ребят.

— Ну, и чем же всё это кончилось? — спросил он.

Иванов смутился.

— В клубе об этом узнала партийная ячейка, такой нагоняй был, чуть было из партии не выгнали.

Григорий вспомнил беглое замечание следователя во время одного из допросов: «А кто у вас в клубе Иванов, такой шибко активный!». В интонации и ударении на словах «шибко активный» было столько цинического презрения к своим же советским активистам, что тогда Григорию стало жутко. Теперь Григорий почувствовал скуку, глядя на красное лицо Иванова.

Глава третья

В ТУЛЕ

Когда Григорий вышел с вокзала в Туле, его сразу поразило убожество и бедность города. Было начало апреля. Набухшие облака бежали над грязными, полными до краев талым снегом улицами. Было десять часов утра. Около хлебных магазинов толпились очереди: бородатые мужики, повязанные платками женщины, оборванные ребятишки. С интересом всматриваясь в лица прохожих, Григорий невольно разделял их по статьям уголовного кодекса. В концлагерях специалисты могли, не задавая ни одного вопроса, только по внешнему виду разбить пришедший этап по основным статьям обвинения на несколько типичных категорий: чистых уголовников, осужденных за преступления по службе, раскулаченных крестьян и инженеров-«вредителей». Лица жителей Тулы больше всего подходили под обвинение в контрреволюционной агитации. Довольно много было кандидатов на получение приговора за преступления по службе и почти не было интеллигентных вредителей и уголовников-рецидивистов. В целом, по сравнению с концом НЭП-а, в глаза бросалась грязь, нищета и измученность народа; дома были давно неремонтированные, хмурые и унылые.

Григорий целый день проходил по данным ему в Москве адресам в поисках квартиры. Как Чичиков, хожу по мертвым душам, — ругался он про себя. Действительно на звонки либо выходили посторонние и объясняли, что такой-то или такая-то уже давно здесь не живут, либо нужное лицо находилось, но толку от этого было не больше.

— Странно, — недовольным голосом пробурчала толстая напудренная дама, прочтя адресованное ей од-

ной знакомой письмо, — странно, пять лет не писала и вдруг просит найти квартиру. — Я, молодой человек, сама в чужой комнате живу, квартиру в нашем городе найти невозможно.

Пожилой измученный педагог принял Григория радушно, но мог похлопотать только о службе, жил он с больной женой в маленькой тесной комнатке, отделенной от хозяев досчатой перегородкой.

— Наша хозяйка ни за что не пропишет бывшего ссыльного, — шептал педагог, наклонившись к самому уху Григория. — У нее муж в ГПУ работает.

Глаза педагога расширились от ужаса.

— Простите нас, стариков, рады бы помочь, всей душой рады, но... Учитель развел руками и еще раз с опаской кивнул на перегородку.

Очутившись в десятый раз на улице, Григорий почувствовал тоску. — Это тебе не Москва, не родина — там в десятках квартир ночевать оставляли. Проклятый городишко, не то, что организацию создавать, а ночлег найти невозможно. Оставались два неиспользованные адреса: один пригородный, инженера, знакомого Осиповых, другой — полученный в концлагере от одного десятника. Когда Григорий решил выбрать какой-нибудь город поближе от Москвы и такой, чтобы путь в него лежал через Москву, и остановился на Туле, то тут же в лагере был найден востроносый веснущатый Иван Гаврилович, родом из-под Тулы.

— Тулу, как же не знать, я от нее в 10 верстах родился. Я тебе дам адресок. — Маленькие глаза десятника сделались лирически масляными. — У меня там знакомая живет, Агафена Лукьяновна, муж ее машинистом на железной дороге служит. Можешь себе представить, четырнадцать человек детей у нее было, а выглядит, как девочка. Ты письмо передай и, значит, скажи: Иван Гаврилович кланяется, просил передать, что не забыл ее. Так и передай: не забыл, — Иван Гаврилович лука-

во и значительно подмигнул. — А живет она у самого вокзала на Вокзальной улице, дом № 66.

Утром, проходя город, Григорий нарочно посмотрел на дом № 66; выглядел он бодро и даже задорно, но имел всего три окна и, несмотря на кисейные занавески, цветы на окнах и светлую голубую окраску деревянных стен, выгодно отличавшую его от соседних обычных домов, поселил в душе Григория сомнение в возможности жить там семье с четырнадцатью детьми.

Теперь, мрачно шагая обратно к вокзалу, он решил попытать счастье у Аграфены Лукьяновны. Аграфена Лукьяновна оказалась сорокалетней женщиной с грубым лицом и размашистым жестом сильных рук. При чтении письма бывшего возлюбленного монументальные черты Аграфены Лукьяновны не выразили никаких эмоций, только в серых умных глазах пробежало на мгновение мягкое лукавое выражение. Пока она читала, Григорий с любопытством осмотрел внутренность трехоконного жилища. Домик был построен, как обыкновенная крестьянская изба: кухня, комната и каморка. Внутри домик был чист, как снаружи; на окнах стояли цветы, в углу, в деревянной кадушке, фикус, под потолком висели три клетки с двумя канарейками и чижиком; следов пребывания четырнадцати человек детей не было.

— Квартиру вы не сразу найдете, — пробасила Аграфена Лукьяновна, кончая чтение письма. — А переночевать у вас место есть?

— Нет, — ответил Григорий безнадежным голосом.

— Ну, что же, я пока пропишу вас у себя, только не взыщите, — спать придется на кухне; каморку я сдаю, в этой комнате спим мы с мужем. Кроме как на кухне, у меня места нет.

Григорий сразу повеселел: быть где-то официально прописанным само по себе могло считаться благоприятным началом «радостного возвращения в семью трудящихся»...

Кухонный стол был отодвинут, из двух лавок сооружено нечто, вроде койки, с чердака принесен старый сенник — и постель была готова. Поздно вечером пришел муж энергичной хозяйки, типичный квалифицированный рабочий. Хозяин долго расспрашивал Григория о жизни в заключении, курил махорку, вздыхал и смотрел ласковыми, чуть-чуть скептическими глазами.

— Да, подзакрутили товарищи гайку, зажали народ. Все говорили: при царе плохо было... — хозяин покачал головой и умолк.

Кап, кап, кап... Из краника умывальника с пипочкой капала вода. Григорий лежал на сеннике и ощущал во всём теле физическое удовлетворение. Из соседней комнаты через щели в перегородке проникал свет лампадки. Сразу за тонкой перегородкой мерно посапывали хозяева. В каморке было тихо: там жила опрятная чистенькая старушка с круглолицей полногрудой дочкой Нюрой; обе работали на текстильной фабрике во второй смене и пришли домой поздно вечером. Кап, кап, кап — падали капельки.

Конечно, по сравнению с концлагерем или бессонной ночью на вокзале, мое положение блестяще, но как это далеко от желаемого минимума... А всё-таки идти вольнонаемным на канал Москва-Волга хуже. Говорят, там можно получить отдельную комнату в бараке и военный паек, но смешиваться с чекистами — брр! Лучше жить впроголодь и на обыкновенных карточках!

Григорий встал рано, наскоро попил чаю с черным хлебом, привезенным еще из Москвы, и пошел с хозяйкой в милицию. Надо было одновременно прописаться и получить паспорт. Паспорта были введены, когда Григорий был еще в заключении. Паспортизация проводилась, как громадное полицейское мероприятие — предлог для очередной чистки. Полноценными паспортами считались только выданные в Москве, Ленинграде

и в других крупных центрах. С паспортом, полученным в провинции, было трудно проникнуть в столицу. В момент приезда Григория в Тулу паспортизация была в разгаре. Идя в милицию, Григорий ломал голову, как бы сделать так, чтобы иметь возможность в будущем замести следы судимости. К сожалению, у него на руках не было никаких документов, кроме справки об освобождении. — Хорошо еще, что сейчас в Туле все получают паспорта и по дате получения документа я не буду выделяться, — подумал Григорий.

В милиции был страшный шум и толкотня. Уже на заплеванной лестнице толпились усталые, издерганные люди. Григорию стало ясно, что надо потратить несколько дней, чтобы получить документы нормальным образом. Ждать он не мог: денег было мало и надо было в короткий срок найти работу. Григорий решил действовать напролом и использовать единственный свой козырь — «Грамоту красного ударника», полученную в лагере за сверхударную работу. Только что в газетах было широко оповещено о досрочном освобождении ударников строительства Беломорско-Балтийского канала. И хотя освободили, главным образом, уголовников, власти на местах, привыкшие прислушиваться ко всему, помещаемому в центральной печати, были дезориентированы. Особенно сильное впечатление произвел фельетон журналиста Кольцова, напечатанный в центральных газетах и описывающий злоключения освободившегося ударника, которого «бюрократы на местах» боятся принять на службу потому, что он «двужильный работник». Фельетон назывался «Волос в супе» и произвел в концлагерях очень сильное впечатление.

Григорий оставил хозяйку в очереди, а сам полез вперед, уверенно расталкивая толпу. Кое-кто запротестовал, но Григорий размахивал маленькой книжечкой ударника и говорил на ходу:

— Пропустите в кабинет начальника милиции.

У дверей кабинета Григория остановил дежурный милиционер, но и он сдался под стремительным напором «красного ударника». — Как бы не посадили опять, — подумал Григорий, врываясь в кабинет.

— Что вам, товарищ надо? — сухо спросил начальник отделения, выжидательно и недоверчиво глядя на Григория.

— Я красный ударник, досрочно освобожден со строительства Свирлага и прошу вас оказать мне содействие в преодолении бюрократической волокиты при получении паспорта.

Начальник испугался; в его голове не укладывалось, чтобы только что освободившийся заключенный мог дойти до такого нахальства. Упоминание о бюрократической волоките больно ударило по нервам.

Чорт его знает, почему он держится так нахально, — тут что-то не спроста!

— «Правда» уже писала о бюрократах...

Упоминание «Правды» сразило администратора. Надо его поскорее сбагрить, как бы не нажить неприятностей, — подумал он.

— Пойдемте, товарищ, — сказал начальник вежливо и сам провел Григория в комнату, где выдавали паспорта. — Сергеев, вот товарищ приехал с ударного строительства, выдайте ему паспорт.

Толпящиеся у стола свободные граждане Советского Союза с опаской и недоброжелательством поглядели на освободившегося ударника, но уступили ему очередь. Григорий дал документ об освобождении и старый, уже недействительный вид на жительство. Утомленный милиционер внимательно прочитал оба документа и растерялся...

«Отбыл наказание по статье 58, пункт 10 и 11. Освобожден...».

Действительно, освобожден ранее срока. Странно, почему начальник оказывает такую протекцию освобожденному контрреволюционеру, — подумал он.

Григорий опять достал книжку «Красного ударника».

— «Правда» уже писала о бюрократизме... — сказал он.

Чорт его знает, может быть, у него есть знакомство в редакции «Правды», за бюрократизм могут притянуть теперь всякого. Всё равно, на получение паспорта он имеет право, — решил милиционер. Он взял серую аккуратную книжечку и начал писать в ней специальными чернилами. Григорий стоял у стола, следил за рукой пишущего. Самое страшное место было на первой странице, во второстепенной графе «На основании каких документов выдан паспорт». Четкий ясный почерк выводил буквы: «На основании вида на жительство №...».

Эх, если бы он ничего не написал больше, — мучительно подумал Григорий.

«И на основании справки об осв. Свирлага №...» — это уже хуже. Хорошо еще, что слова «об освобождении» написаны сокращенно, можно поставить кляксу.

Григорий вышел. Второй этап пройден, появилась уверенность в своих силах. Теперь единым напором устроиться на работу. Сегодня же вечером поеду к профессору на завод, может быть...

Профессор-металлург Ильин жил в рабочем поселке, в квартире из трех комнат. Посадив Григория, он надел роговые очки, прочел письмо Осиповых и посмотрел на гостя умными подслеповатыми глазами.

— С удовольствием вам помогу, но имейте в виду, что наш завод находится под особым контролем. Вы по специальности техник-электрик?

— Да!

— К сожалению, все служащие должны заполнять анкеты с вопросами о судимости. Надо попробовать устроиться рабочим. — Глаза из-за очков смотрели

сочувственно. Профессор заметил, что лицо Григория вытянулось.

— У нас в рентгеновском кабинете нет лаборанта; работа вредная, но лаборанты, как и рабочие, анкет не заполняют.

На другой день Григорий с трепетом входил в рентгеновскую лабораторию. Заведующий лабораторией, молодой инженер, с любопытством посмотрел на Григория. Профессор посвятил его во всё. Григорий, привыкший чувствительно реагировать на отношение людей, понял, что в кабинете обстановка дружественная. Паркетные полы, дорожки, свежевыкрашенные двери, светлые окна. Из мира отверженных и гонимых Григорий попал в привилегированный мир высокой техники.

— Я вас беру, — сказал после минутного разговора инженер. — Напишите заявление, я поставлю свою резолюцию и вам надо будет только оформиться у секретаря. Лаборанты анкет не заполняют, — добавил он многозначительно.

Секретарша была рыжеволосая дама небольшого роста.

Никаких анкет, — с удовольствием вспомнил Григорий, взглянув на нее.

— Садитесь, — сказала секретарша, быстро пробежав по лицу Григория мышиными глазками, — я заполню на вас учетную карточку.

Короткими пальцами с накрашенными ногтями она достала серую карточку с рядом граф. Григорий с беспокойством смотрел за движениями дамы.

— Ваше имя, отчество и фамилия? — Это еще не страшно. — Год рождения, образование, занимаемая должность? — Что-то засосало у Григория под ложечкой. — С какого года состоите членом профессионального союза и номер профсоюзной книжки?

Профсоюзная книжка Григория была отобрана при аресте.

— У меня нет профсоюзной книжки.

— Почему? — мышиные глаза впились в лицо Григория.

— Я ее потерял. — Григорию стало невыносимо противно.

— Как потеряли? Без профсоюзной книжки я не могу составить на вас карточку.

— У меня ее отобрали при аресте, — брякнул Григорий с озлоблением. Ему уже было ясно, что рентгеновский кабинет сорвался.

— У вас есть судимость? — Казалось, что секретарша присела, как кошка, готовая к прыжку.

— Я освобожден досрочно, у меня есть книжка красного ударника.

Секретарша больше не слушала. Глаза ее бегали.

— Подождите одну минуту. — Она выскользнула из комнаты. Григорий остался у новенького столика в комнате с паркетным полом.

Не для нас эта обстановка... Выбрасывают из жизни. — Сразу охватила слабость. Сказывалось перенапряжение последних дней. Освобождение, надежды, разочарования, яркая смена разорванных кинематографических кадров.

— Простите, товарищ Сапожников, произошло недоразумение: у нас нет места лаборанта!

Игра проиграна, но Григорий решил довести дело до конца.

— Скажите, что же мне теперь делать? — спросил он зло.

— Я вам уже сказала, товарищ Сапожников, что произошло недоразумение: у нас нет свободной вакансии.

— Я хочу сам поговорить с начальником отдела кадров.

— Пожалуйста, можете пройти.

В отделе кадров была толкотня и шум. Входили и выходили рабочие. Пол был затоптан и заплеван. Начальник отдела — типичный коммунист из рабочих в черной косоворотке.

— Почему вы меня не пропускаете в рентгеновский кабинет? — прямо спросил Григорий. — Я досрочно освобожден, я ударник!

Коммунист смерил Григория презрительным взглядом:

— Я слежу за очищением завода, а вы его хотите засорить.

— Почему же в «Правде» товарищ Кольцов написал статью...

— Мне нет никакого дела до «Правды» — можете идти!

Перед уходом с завода Григорий еще раз зашел в рентгеновский кабинет. Инженер грустно посмотрел на него и тихо сказал:

— Я уже знаю и, к сожалению, не в силах ничего сделать.

Григорий сел в трамвай, посмотрел на непроглядное серое небо. Как когда-то в тюрьме, пришла мысль о самоубийстве, только тогда она облекалась в трагические резкие формы, сейчас хотелось лишь отдыха и спокойствия, хотя бы спокойствия могилы. — Господи, — стал молиться Григорий, — дай терпения и силы. Мысль, что теперь можно находить успокоение в молитве, обрадовала и укрепила. — Да, если бы я не пришел к вере, то, наверно, всё-таки рано или поздно, покончил бы с собой, — подумал он, постепенно успокаиваясь. Завтра нажму по всем линиям, похожу в городе по учреждениям, поговорю с хозяйкой — где-нибудь, как-нибудь да устроюсь.

Птицы громко щебетали. Григорий сидел за столом в комнате хозяев и ничего не делал. Прошло две недели, все возможности устройства на работу были исчерпаны. В двадцати местах произошло то же, что в рентгеновском кабинете. Деньги подходили к концу. Щебетанье птиц, солнце и синее весеннее небо не радовали Григория. Так оставаться не может. Не жить же мне на заработок Леночки. Может быть, поехать к брату в тайгу, но это означает капитуляцию. Брат оторвался от всех, даже не пишет. Среди кого там создавать организацию? Надо устраиваться ближе к Москве.

Потянуло к своим. Скоро должен приехать Павел. Договорились выбрать один город, но что он будет здесь делать? Поеду-ка я в Москву и встречу его там, всё-таки между своими легче. Может быть, сумеем оттуда получить назначение куда-либо в провинцию.

Поезд подходил к родному городу. Опять был рассвет и опять Григорий стоял у окна и смотрел на дачные места и проносящиеся мимо платформы пригородных станций. На вокзале, в сутолоке и шуме, Григорий на минуту почувствовал приятное возбуждение столицы. Не надо давать себе раскисать, из любого положения есть выход.

Леночка обрадовалась, увидя брата.

Знаешь, Алеша устроился на канале, освобождается и продолжает работать чертежником. Приличный оклад, комната, паек, главное, без всяких мучений. Павлик освободился, приехал третьего дня и живет пока у Желтухиных. Я ужасно рада тебя видеть.

Григорий забыл все свои горести и крепко обнял сестру.

Глава четвертая

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАВЛА

Павел был опьянен Москвой. Его среда изменилась меньше, чем среда Григория. Выйдя с вокзала, Павел задал себе вопрос — к кому первому ехать? И после короткого колебания поехал к Осиповым.

Открыла дверь Надежда Михайловна, всплеснула руками, заплакала. Алексей Сергеевич, конечно, сидел за своим любимым столиком, конечно, что-то писал и, конечно, шептал себе под нос. Увидя Павла, старик вскочил, уронил на пиджачишко недокуренную папиросу и пошел к Павлу с распростертыми руками. Николай уходил за хлебом и вернулся почти тотчас же.

— Подоспел как раз во время, — радовался Алексей Сергеевич, — через неделю Пасха. Ты что же, наверно, тоже в Тулу?

— Еду в Тулу.

Павел совсем и не думал о Туле, он был полон одним: я, наконец, в Москве и я, наконец, у Осиповых.

— Тут твоя тетушка всё заходила, — продолжал, переходя на обычный добродушно язвительный тон, Алексей Сергеевич, — Лидия Николаевна, такая шикарная дама. Всё продукты для посылки приносила, сама посылать боялась. Ты к ней зайди, она тебя очень любит.

Упоминание о тете Лиде вызвало в Павле новую волну воспоминаний. Детство, старший двоюродный брат. Привязанность, юношеские мучения, вызванные отходом брата куда-то в другой реальный и такой пошлый мир. Брат Володя — это детство. Юность Павла и начало подпольной работы увели его далеко от тети Лиды и брата, разрыв с которым в свое время был первым настоящим горем.

Павлу очень хотелось расспросить Николая о де-

лах организации, но он не хотел этого делать при родителях, а обрадованные старики от него не отходили.

— Ну, а как, по вашему мнению, выглядит Григорий, не сломил его лагерь? — спросил Павел.

— Григорий стал совсем нашим и даже в Бога уверовал. Николай говорит, что, как товарищ, в самое тяжелое первое время он держался превосходно. Алексей Сергеевич свернул цыгарку и закурил.

Надежда Михайловна накрыла на стол и стала угощать гостя всем, что имелось в доме: чаем, черным хлебом и клюквенным вареньем.

— А как на воле с продуктами, — с тревогой спросил Павел.

— Карточки, — коротко ответила Надежда Михайловна, — теперь лучше стало, в 1931, 32 годах было совсем плохо.

После чая Павел, наконец, уловил момент поговорить с Николаем с глазу на глаз. Сели они опять-таки в той же оконной нише, в которой месяц тому назад Николай говорил с Григорием, и Николай опять повторил свои аргументы ухода от политики в церковную жизнь.

— Значит, здесь по нашей старой линии всё в упадке и развале? — с болью в сердце спросил Павел.

— Я недостаточно знаю, что делает Борис, — ответил Николай, — остальное всё в упадке.

— Я тебя, Николай, не вполне понимаю: как это можно уйти в одну церковную жизнь. Ведь без свержения большевистской власти Россию спасти всё равно невозможно даже и в духовном плане.

Павел воспринимал новую точку зрения друга гораздо болезненее, чем Григорий.

— Ты оглядись хорошенько и подумай о том, что происходит вообще в мире, а потом мы с тобой поговорим, — ответил Николай мягко. — Я боюсь, что всё человечество вступило в период общего нравственного упадка и поэтому зло большевизма имеет все шансы на

дальнейшее распространение. Ты представляешь себе, что происходит в Германии?

— Очень плохо, но, как мне казалось, Гитлер удачно подавил коммунизм и есть надежда на то, что он сможет стать во главе антикоммунистического движения Европы.

— Боюсь, что это не так, — нахмурился Николай, — правда, вопросы социальные национал-социалисты, повидимому, разрешили, с нашей точки зрения, правильно и разумно, но в духовной области расовая теория мало чем отличается от материализма коммунистов. Массовое истребление евреев ничем не лучше раскулачивания.

Павлу было нечего возразить, но согласиться с Николаем тоже не хотелось, — уж очень тяжело было разочаровываться в надеждах, возложенных на победителя коммунизма в Германии.

— Я думаю, что всё, что до нас доходит о Гитлере и национал-социалистах, искажено и преувеличено, — сказал он.

— Достаточно, что их учение выросло из ницшеанства, — возразил Николай.

— Знаешь, — вдруг вспылил Павел, — я замечал, что у некоторых людей при большом увлечении религией появляется политическое безразличие и пессимизм. Рассуждают так: всё равно перед концом мира зло должно победить, останется только кучка верных, остальные подчинятся власти антихриста, а поэтому нечего и стремиться к христианизации государства. Это похоже на каррикатуру в юмористическом журнале «Крокодил»: истопник пришел с лекции о будущем земли и спрашивает управдома: «А что, товарищ управдом, лектор говорит, через миллиард лет земля всё равно замерзнет, так, может быть, прекратить топить центральное отопление?».

На этот раз задет был Николай. Бледные щеки покрылись румянцем, глаза потемнели и в них даже

промелькнул дикий осиповский огонек. В следующее мгновение Николай сдержался и ответил почти спокойно:

— Я не собираюсь осуждать политическую борьбу, но лично чувствую большее призвание к другому. Вам я готов помочь всем, чем могу, и в любое время.

— А как вы организовали приход в подполье? — спросил Павел.

— С духовенством, находящимся в ссылке, поддерживается постоянная связь; церковная утварь, богослужебные книги и библиотеки спрятаны по частным квартирам; требы совершаем на дому и, кроме того, собираемся в нескольких местах на тайные богослужения.

— Вы, что же, поддерживаете Петроградского митрополита Иосифа?

— Мы не так крайне отрицательно относимся к официальной Сергиевской церкви, хотя и уверены, что она не на правильном пути.

— А как ты, вообще думаешь, рухнут большевики, или это только наши иллюзии и надежды. — Павел задал вопрос, на который не было и не могло быть точного ответа.

— Это нас не касается, — возразил Николай. — Я тебе отвечу твоим же примером с управдомом, истопником и задачей данного поколения. Ведь борьба идет не за временные переходящие ценности, и я ее воспринимаю более в мистическом, чем в историческом плане. Мы боремся не потому, что высчитали, что успех возможен в такой-то или такой-то степени, а потому, что не бороться мы не можем, стало быть, вопрос быстрого успеха должен стать второстепенным. Масштабы борьбы таковы, что мы можем думать только об исполнении своего долга.

Павел не без трепета переступил порог комнаты Сергея Ивановича. Профессор сидел за письменным столом и работал. Увидев Павла, он вскочил почти с молодой живостью:

— Слава Богу, наконец... Ну, что же? Возмужал, окреп, немного огрубел, но бодр попрежнему и не сломлен налетевшим шквалом. — Сергей Иванович говорил шутливо, немного театральным голосом, а на глазах, из-под очков, поблескивала какая-то влага. — Действовал согласно конспиративным инструкциям: сам не переписывался, передавал тебе посылки через Осиповых, — продолжал он всё-таки взволнованно. — Тут ко мне заходил такой крепыш, русский добрый молодец Петров. Я уже его в этих делах слушался. Ну, садись, садись, пообедаем, поговорим. Ты не очень спешишь?

— Я только сегодня приехал и могу пробыть в Москве десять дней.

— А в столицу не пускают?

— К сожалению, не пускают.

— Ну, ничего, ничего. Главное, жив и здоров — всё остальное постепенно наладится. Садись, через час обедать будем, а сейчас рассказывай.

— Я, по совести сказать, сам с удовольствием бы послушал. Всё-таки от Москвы мы были очень оторваны. Замерло тут, повидимому, всякое брожение, прошел благоприятный момент.

— И да и нет.

Павлу было ясно, что профессор, как и он, не сломлен.

— Одна волна уходит, но сейчас же нарастает другая, — сказал он. Большевики сильны чужой слабостью, а сами вечно несут в себе семена внутренних противоречий и взаимной борьбы. Играя на ненависти людей друг к другу и безмерно развивая ее, коммунисты должны постоянно кого-то уничтожать; если не будет врага внутри страны или вне ее, то партия уничтожит

сама себя. Это теория, а, с точки зрения реальной, вместо социализма в понимании XIX века, развивается обыкновенное рабовладельческое хозяйство, тем более, что всё время растущее количество недовольных надо куда-то сплавлять. Так вот и балансируют, балансируют иногда до гениальности ловко, но не живут нормально, а балансируют. Русский народ выделяет из себя толпы талантливых людей, их возносят со сказочной быстротой по общественной лестнице, а затем, как царица Тамара, низвергают в бушующий Терек. Благодаря этому, на воле кипит психологический водоворот так, что некогда опомниться. А вот, что делается в лагере — это я надеюсь узнать от тебя.

— По моим наблюдениям, — сказал Павел, — заключенные в среднем головой выше оставшихся на воле, процентов десять из них способны на большую созидательную работу. Вообще, я думаю, если освободить лагерников и дать им в руки оружие, конечно, обезвредив уголовников, то это была бы ни с чем несравнимая положительная сила. Вопрос в том, как это сделать. Откровенно говоря, мы, после того, как возможности 1929-30 гг. были упущены, надеялись на внешнее столкновение и, в частности, на Германию.

Сергей Иванович поморщился.

— Всё, что ты говорил до сих пор, очень интересно и, по-моему, совершенно правильно: я на воле пришел к таким же выводам. Но что касается Гитлера — ошибаешься. Я слышал по радио его речь — впечатление несолидное. Много демагогии и истерии, разумной политики от такого человека ожидать не приходится, расовая же теория стоит теории классовой борьбы. А почему ты думаешь, что без военного толчка переворот невозможен?

— Я думаю, — ответил Павел, — что переворот возможен и при внутреннем толчке, но технически представить его себе гораздо труднее. В конечном итоге, советская система стоит на трех китах: использова-

нии низменных инстинктов, страхе и пропаганде. Вся государственная машина работает настолько энергично и все несогласные так радикально уничтожаются, что нужна серьезная остановка этого дьявольского механизма, чтобы организовать сопротивление. С другой стороны, в лагере я, как никогда, почувствовал, что борьба с коммунизмом есть не только наше национальное дело, но что она просто немыслима без участия всех мировых антикоммунистических сил, и, уверяю вас, это так же ясно понимает каждый рядовой заключенный. Большевизм не успокоится, пока не будет сокрушен или не придет к мировому владычеству; стало быть, судьба раскулаченных русских крестьян ожидает американских фермеров в такой же степени, как и немецких бауэров; стало быть, весь мир заинтересован в поддержке русских антибольшевиков. Вопрос настолько прост и ясен, что у нас его понимают все, а заграницей, во всяком случае, люди, стоящие у власти, не могут быть глупее русского мужика.

Сергей Иванович покачал головой.

— Очень сомневаюсь. Во-первых, взгляд среднего советского человека, что заграница в целом составляет один «буржуазный мир», а фашизм и национал-социализм являются «высшей формой империализма», не соответствует действительности. Если бы западная Европа, хотя бы и Америка, ощущали свою связь, как связь государств, выросших на основе христианской культуры и ясно понимали бы, что коммунизм это — прежде всего учение, борющееся с христианством, тогда ты был бы прав; но тот же национал-социализм, по существу, почти так же враждебен христианству, как и коммунизм, а остальные народы давно стали только наполовину, а то и на четверть христианскими, и поэтому не имеют общей основы, которую можно было бы противопоставить последовательно атеистическому коммунизму. Пройдет еще очень много времени, пока они полностью осознают коммунистическую опасность и поста-

вят вопрос о борьбе с ней с должной серьезностью; пока же Гитлер будет больше думать о восстановлении Германии в прежних границах и уничтожении евреев, чем о борьбе с красной опасностью.

— Но в таком случае коммунизм имеет все шансы еще более укрепиться, — почти с испугом воскликнул Павел.

— Очень может быть, что ты и прав, — грустно согласился Сергей Иванович, — во всяком случае, наша задача остается прежней: сделать всё возможное для сплочения и укрепления антибольшевистских сил внутри страны, всё время внимательно следить за ростом внутренних противоречий в партии, и постараться не пропустить следующий благоприятный момент для окончательного свержения этого строя. Надо запастись терпением и выдержкой: рано или поздно, наш час пробьет.

— А каково ваше личное положение? — спросил Павел.

— Постепенно вытесняют со всех позиций. Последний год работаю исключительно дома: перевожу, комментирую, кое-что пишу, о настоящей работе не может быть и речи.

— А не вытеснят они нас таким образом совсем из жизни?

— Конечно, будут стараться вытеснить, но это не так легко сделать: идущие нам на смену выдвиженцы верны партии только до той поры, пока не стали хорошими специалистами, — это одна из самых слабых сторон сталинской машины: интеллигентный человек неизбежно в ней разочаровывается. Таким образом, мы с тобой, может быть, и будем вытеснены из жизни, но нам на смену придут другие. Необходимо только следить за этим грандиозным процессом и впитывать в организацию всё лучшее, что отходит от большевизма.

Павел поднялся по широкой лестнице: лифт, как полагается, не работал. На табличке около входной двери было пять фамилий. Павла мало волновала предстоящая встреча с теткой и братом. Мать, Алеша, тюрьма и лагерь непроницаемой стеной отделили молодое лирическое вчера от мужественного трагического сегодня. Николай, Григорий, покойный Алеша были братьями. Володя стал чужим. Павел не имел права тратить душевные силы на бесплодные попытки воскрешения ушедших теней. Проживет и без меня, надо скорее развертывать борьбу сызнова. Наверно, первое, на что они посмотрят, — это на мою одежду. Поношенные брюки, солдатские башмаки, черная штопанная рубаха — подарок друга-лагерника.

Через дверь было слышно, как прозвенели четыре звонка. Открыла незнакомая дама с глупо завитыми рыжими волосами.

— Я к Андреевым, — ответил Павел сухо на вопросительный взгляд дамы.

В конце полутемного коридора растворилась дверь и на пороге показалась полная фигура хорошо одетого мужчины. Электрический свет из комнаты упал на знакомое, почти не изменившееся лицо. Тяжелые ботинки простучали по плитам паркета. Павел подошел к двери и протянул брату руку. Бледное лицо Володи покрылось краской, в глазах отразилась радость и замешательство. Чтобы сразу остаться без свидетелей, Павел шагнул в комнату и затворил дверь. Володя попятился, не зная, что делать дальше. Павел одновременно увидел полное, постаревшее лицо тетки и влево над ней, на середине стены, овальный портрет матери с горькой полуулыбкой строгих губ. Всё это было так неожиданно, что Павел остановился, не зная что делать. Вдруг лицо тетки исказилось некрасивой гримасой, а глаза наполнились слезами. Она вскочила, порывисто бросилась вперед, обняла Павла и заплакала. Брат Во-

лодя подошел сбоку, нескладно обнял и, в свою очередь, всхлипнул.

Павел рассказывал, а на лице тети Лиды менялись выражения сочувствия, страха и стыда.

— Мы тебе посылали посылки через Осиповых. Ты понимаешь, я боялась рисковать жизнью Володи. — Володя при этом опустил глаза и щеки его опять, как давеча, в дверях, покраснели.

Павлу было неприятно, что в сочувствии тетки и брата проскальзывала жалость к «неудачнику», нуждающемуся в материальной помощи.

А что, если спросить разрешения остановиться у них? — с горечью подумал Павел. Испугаются, в глазах забегает подлое враждебное выражение и начнутся разные выдумки, главным образом, для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Нет, лучше уйти, пусть живут, цепляясь за свое мещанское благополучие, пока случайно не попадут в очередной квадрат, взятый властью под обстрел; тогда судьба заставит силой идти на те страдания, которых они так тщательно избегают.

— Что ты думаешь делать дальше? — спросил Володя, с каким-то не совсем понятным чувством глядя на Павла.

Вопрос неприятно ударил по нервам. Что Павел мог на него ответить? Поездка в Тулу, продолжение борьбы, — как всё это казалось ему туманно, неубедительно, несерьезно.

— Пока не знаю, — ответил он коротко. — Направление пришлось взять на Тулу, в Москву всё равно не пускают.

— Почему же ты не написал заранее, куда едешь? Мы бы могли подготовить какие-нибудь адреса, найти какую-нибудь протекцию.

— У меня один товарищ уже туда уехал, — ответил Павел сухо.

Водворилось неловкое молчание.

— Ты, мать, хоть накормила бы его, а то мы разговариваем и разговариваем, а он наверно... — Володя остановился и почему-то не договорил — «голодный».

Тетя Лида быстро встала, еще раз скорбно взглянула на застывшее в суровом отчаянии лицо Павла и вышла из комнаты. Павел сидел неподвижно на кожаном кресле с высокой прямой спинкой, положив руки на ручки, и смотрел прямо перед собой на белую скатерть.

Тягостное молчание прервал Володя.

— Что ты скажешь о Гитлере? — спросил он осторожно.

— Пока я еще не разобрался в этой фигуре, — ответил Павел, вспоминая всё сказанное Николаем и Сергеем Ивановичем, — во всяком случае, это человек, сумевший сломить большевизм в Германии.

— Знаешь, я много думал об этом последнее время, — заговорил Володя немного смущаясь. — Так, как развиваются события до последнего времени, продолжаться не может. Я чувствую на себе, что коммунизм заводит страну в тупик. Ты не можешь представить, как напряженно работают инженеры, техники и рабочие и какой слабый эффект дает их работа: не менее 50% усилий пропадает даром. Спрашивается, почему? Потому что вся система опирается не на специалистов, а на политруков, крикунов и бездельников. Честный инженер почти не имеет шансов выбиться на крупную должность; для этого надо стать активистом, говорить всякую чушь на собраниях, вместо дела, заниматься общественной работой, кричать и суетиться. Настоящие работники сверху и донизу оттеснены на второй план, им не дают работать по-настоящему. Так продолжаться не может. В свое время Белое движение состояло, вероятно, из идеалистов, но они недостаточ-

но учитывали обстановку, а вот в гитлеризме я чувствую нечто реальное.

Павел поднял голову и с удивлением глядел на брата; он теперь явственно заметил новое, незнакомое ему раньше выражение в лице Володи.

Вернулась тетя Лида с яичницей и какао. Павел ел и опять неприятное чувство поднималось в его душе. Тетя Лида опять сидела напротив, и опять в ее лице менялось выражение жалости и страха.

— А как ваши дела? — спросил Павел.

— Я работаю в проектном бюро и беру еще работу на дом, — ответил Володя. Новое, поразившее Павла выражение исчезло и заменилось обычной недовольно-скучающей миной. — А мать кормит обедами нескольких знакомых инженеров, — это выгоднее, чем служить.

Павел стал прощаться. Перед уходом у него еще раз мелькнула озорная мысль попросить разрешения остановиться у тетки, но взгляд его опять упал на портрет матери. Лицо Веры Николаевны было строго и спокойно. Не надо требовать от людей большего, чем они могут дать, — подумал Павел.

Сине-серые глаза Наталии Михайловны были полны горя, тонкие, длинные пальцы нервно мяли папиросу...

— Когда вы от него уехали, он уже начал слабеть?

— Да... — Павел вспомнил худое, обросшее реденькой бородкой лицо Алеши и широко раскрытые глаза, — они были другие, чем глаза сестры, но что-то общее роднило их между собой.

— Это ужасно... — Наталия Михайловна достала из сумочки носовой платок и отвернулась. Вошел Михаил Михайлович и вздрогнул при виде Павла. Павел быстро встал и пошел навстречу старику со смешанным чув-

ством радости и неуверенности. Может быть, он считает меня виновником смерти сына?

Михаил Михайлович преодолел горечь и улыбнулся ласковой радушной улыбкой. Павел рассказывал и временами ему казалось, что он не у знакомых, не у друзей, а в самом деле в родной семье.

— Ночевать, конечно, останешься у нас, — сказал Михаил Михайлович.

— Если можно?

— А почему же нельзя? У меня за перегородкой диван и постель — места хватит.

Павел заснул с радостным сознанием того, что он свободен, что у него есть друзья и единомышленники, что его не могут арестовать, потому что он еще не имеет постоянного места жительства, и ГПУ, если бы и захотело, не знало, где его искать.

Глава пятая

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

В комнате Леночки дверь была заперта на ключ. Николай, Павел и Григорий сидели вокруг маленького столика и обсуждали положение. Николай еще раз повторил, что, продолжая сочувствовать политической борьбе, решил уйти целиком в катакомбную церковную работу, что подъем антибольшевистских настроений, вызванный коллективизацией, миновал, благоприятный момент упущен, что нарастают новые противоречия, внутри партии идет скрытая борьба, среди населения достаточно недовольных, но, несмотря на это, момент для революционных выступлений, если бы даже была готовая большая организация, неблагоприятен и что поэтому надо уходить в глубокое подполье и заниматься опять подбором и организацией основного кад-

ра для будущей борьбы. Павел и Григорий ничего не могли возразить против такой постановки вопроса. Они сообщили, в свою очередь, что концлагери можно считать массовой базой всякой антикоммунистической работы, что там имеются сотни тысяч людей вполне годных для создания любой организации, но что само создание даже небольших групп наталкивается пока на непреодолимые трудности, что центр, во что бы то ни стало, надо устраивать в Москве и для этого надо, чтобы в столицу пробралось как можно больше членов организации. На этом пункте они остановились и стали говорить о подробностях плана.

Во время паспортизации из столицы в первую очередь высылали ранее судившихся за контрреволюцию, лиц, лишенных избирательных прав, и лиц без определенных занятий. В маленьких подмосковных городках и местечках скопилось много таких горемык; тем не менее, несмотря на все строгости, в городе осталось еще достаточно людей вроде Николая, освобожденных досрочно или по пересмотру дела, и таких, которые отбывали наказание на вольной высылке. В отдельных случаях было трудно понять, почему одно из лиц одной и той же категории высылалось, другое оставлялось в покое. Громадный полицейский механизм, приспособленный к широким массовым мероприятиям, давал постоянные перебои. Одним из способов попасть в непосредственную близость столицы, в роковую стокилометровую зону, была вольнонаемная служба на канале Москва-Волга, куда охотно нанимали бывших заключенных. И Павел и Григорий морщились при одной мысли об этом. Но Григорий рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в Туле, и это заставило Павла совсем впасть в уныние.

— Я советую тебе — добавил Николай, — как Григорию, съездить в Тулу, получить тамошний паспорт, по возможности без всяких отметок, вернуться и устраиваться на канале, потому что паспорта, получен-

ные в Дмитрове, уже повсеместно известны, как неполноценные.

Григорий подробно рассказал Павлу о своей удаче при получении паспорта, он уже успел узнать, что роковым признаком бывшей судимости являются не какие-либо тайные знаки, а просто ссылка на постановление Совета Народных Комиссаров за номером таким-то, заносимая в графу «на основании каких документов выдан паспорт».

— Если тебе удастся, как и мне, избежать этой пометки — твое дело в шляпе. Самое главное, избежать стандартного указания на судимость.

— Ну, хорошо, — сказал Павел. Ему смертельно не хотелось идти работать в учреждение, руководимое ГПУ. — В качестве кого можно устроиться на канале? Ведь это неприемлемо с моральной точки зрения.

Николай полуопустил глаза:

— Я тебя хорошо понимаю, но если вы всерьез хотите заниматься политикой, то в Москву попадать надо, а без канала этого сделать нельзя. Кроме того, много вполне порядочных людей уже работают там: некоторые в канцеляриях, некоторые в отделе снабжения. Я считаю, что это неприятно, но не неприемлемо.

— А как в дальнейшем, можно рассчитывать на устройство в Москве, если, прописавшись, уйти с канала и искать работу в городе?

Николай хитро усмехнулся:

— Если с организацией боевого типа дело идет с трудом, то с организацией взаимопомощи вопрос обстоит много легче: десятки, а может быть, и сотни тысяч гонимых, так или иначе, связаны друг с другом и друг другу помогают.

В этот вечер, лежа в темноте и слушая, как покашливает Михаил Михайлович, Павел долго не мог заснуть. Наконец, он тихо спросил:

— Михаил Михайлович, вы не спите?

— Нет... — Михаил Михайлович протянул руку к ночному столику и зажег маленькую лампочку. Павел увидел строгие правильные черты, казавшиеся еще более строгими от глубоких теней.

— Михаил Михайлович, я хочу попросить у вас совета...

Как бы ему лучше объяснить, что это я не из шкурных соображений. Ведь об организации говорить неудобно... Павел запнулся.

Михаил Михайлович повернул голову и теперь были освещены глаза, большие, черные, совсем как у Алеши, но, как всегда, задернутые завесой сдержанности. Павел чувствовал и знал, что Михаил Михайлович относится к нему почти, как к сыну, и, вместе с тем, он никогда не мог понять старого аристократа до конца — и это его смущало. Михаил Михайлович смотрел на Павла и молчал, и Павел твердо знал, что он не задаст нетерпеливого вопроса, сколько бы времени ни продолжалось молчание.

— Я сейчас решаю очень важный принципиальный вопрос. Я думаю, что моя жизнь и знания когда-нибудь понадобятся России. Для этого мне надо во что бы то ни стало проникнуть в Москву, потому что только в Москве я смогу найти интеллигентную работу и не деградировать. Одним словом, я бы хотел знать ваше мнение о допустимости поступления вольнонаемным на строительство канала Москва-Волга с тем, чтобы уйти, прописавшись в стокилометровой зоне.

— Наша жизнь во вражеском окружении, — ответил Михаил Михайлович медленно, — вообще полна компромиссов... Я думаю, то, о чем ты говоришь, компромисс допустимый.

Интересно, догадывается он или нет, что мы работаем организованно, — подумал Павел.

— А как вы думаете, долго в России продержится еще этот строй?

Глаза Михаил Михайловича стали совсем холодными.

— Видишь ли, надежды многих врагов большевиков на то, что, благодаря глупости и неспособности, они долго не продержатся, по-моему, мало обоснована. Я недавно имел случай наблюдать, как они за одну ночь заасфальтировали Арбат. Это было сделано образцово с точки зрения быстроты и организованности. С другой стороны, очень многие склонны преувеличивать эту организованность. Я верю в возможность свержения большевизма извне. Если противник умело нанесет удар по слабым местам системы, то большевизм разлетится, как карточный домик, если противник сам начнет делать глупости, большевики могут оказаться очень серьезным противником.

— А что вы считаете слабыми сторонами?

— Ну, во-первых, конечно, колхозную систему, во-вторых, пренебрежение к специалистам во всех областях государственной жизни. Постоянная слежка и недоверие могут надоесть самым ярым приверженцам.

— А не думаете вы, что если бы удалось создать хорошую подпольную организацию, то были бы шансы свержения большевизма не только извне, но и изнутри?

Михаил Михайлович лег на спину и повернул голову так, что лица его совсем не стало видно.

— Ведь в стране достаточно горючего материала для грандиозного пожара, надо только кому-то во время поджечь.

Водворилось молчание. В тишине Павел ясно слышал дыхание старика.

— Я очень сомневаюсь в возможности создания организации, в которую не сумели бы проникнуть провокаторы или в которой не оказалось бы слабых людей, которые, попав на допрос даже случайно и по другому делу, не выдали бы тайны такой организации. Кроме того, что можно сделать без больших денежных

средств и при том бесправном положении, в котором находятся все враги большевизма?

Павел понял, что продолжать дальше разговор неразумно.

— Будем спать?

— Да.

Сухая рука протянулась к лампе и потушила свет.

— Наталия Михайловна, я хочу поступить вольнонаемным на канал, — Павел вопросительно посмотрел на молодую женщину. В серых глазах блеснула радость, она перестала наливать чай.

— Чудно! По выходным дням будете приезжать в Москву, по крайней мере, будет не так скучно, а то все знакомые разъехались.

— А вы не будете меня презирать за то, что я всё-таки буду работать в системе ГПУ?

— Глупости! Там работает очень много инженеров, никогда нигде не сидевших, и их никто не презирает.

— Я вчера говорил с Михаилом Михайловичем, он тоже думает, что можно. Я ведь временно.

— Поступайте и ни о чем не думайте, — решительно сказала Наталия Михайловна. — В вашем положении особенно капризничать не приходится.

— Итак, — повеселел Павел, — завтра еду в Тулу, прописываюсь у Григорьевой красавицы, родившей четырнадцать человек детей, получаю паспорт и прямо на канал. Это будет обход московского укрепленного района с фланга.

Глава шестая

КАНАЛ МОСКВА-ВОЛГА

Строительство канала Москва-Волга раскинулось на сотню с лишним километров от столицы до величайшей реки Европейской России, по дачным местам

и пригородам. Рабский труд применялся нагло, почти на глазах у пяти миллионов жителей красной столицы мирового пролетариата и «самого свободного государства в мире». День и ночь работали вручную сотни тысяч заключенных: великоруссы, сибиряки, украинцы, белоруссы, казахи, кавказцы, раскулаченные, урки и шпана. В рваной обуви, в истлевшей грязной одежде, с бледными изможденными лицами катили они тяжелые тачки с землей по доскам. На крутых подъемах стояли специальные рабочие с длинными металлическими крючьями. Каждая тачка подхватывалась с двух сторон этими крючками и взлетала на трудном месте еще быстрее, чем ее вез один рабочий по отлогому скату; это подгоняло, непрерывный конвейер тачек двигался сплошной вереницей. Бесконечные бараки, колючая проволока, дозорные вышки, полицейские собаки. Прекрасная подмосковная природа была обезображена, вольное население не подпускалось к лагерям и трассе канала, везде стояли посты, везде требовали пропуска. По воскресеньям нарядные, разукрашенные флагами пароходы везли москвичей вниз по Москва-реке на отдых в село Коломенское, мимо Прервинского шлюза, где работало несколько тысяч заключенных. Целые этапы вымирали, многие гибли на работе и их вывозили на тачках вместе с землей и грязью. Кое-где работали механизмы, экскаваторы и разные примитивные приспособления, но их было очень мало. Основная работа велась вручную.

Всё строительство делилось на районы, районы — на участки, участки — на объекты. Управление строительства помещалось в середине трассы канала в маленьком старинном городке Дмитрове.

Павел сошел с дачного поезда и пошел по немощенным уличкам среди уже зазеленевших садов и деревянных домиков к управлению лагеря. Налево от

него остался старинный белый собор, сиротливо возвышавшийся на холме, напоминавшем древнее городище. Городок был крошечный. За городом на горе виднелась группа бараков. Свежий бодрящий ветер сильно дул в лицо и быстро гнал по голубому небу белые хлопья облаков. Павел любил такую погоду, она его, обыкновенно, бодрила и радовала, но сейчас он чувствовал себя скверно, несмотря на то, что задуманный план пока удавался. В Туле по письму Григория решительная хозяйка приняла его без радости и гнева, молча достала домовую книгу и пошла прописывать. Получив временную прописку, Павел отправился в милицию. Паспортизация города уже подходила к концу и уже не было громадной очереди, которую так удачно миновал Григорий. Павел предпочел ждать и пройти паспортизацию в общей массе. В очереди слышалось много вздохов, покрякиваний, чувствовалось волнение и нетерпеливое ожидание, но почти не было разговоров. Наконец, заветный стол приблизился; пожилой милиционер в заломленной на затылок фуражке устало писал. Павел посмотрел на часы — было четыре часа, время как раз самое хорошее: на завтра откладывать рано, рабочий день кончается, надо спешить. Внимание в такие моменты притупляется. Павел был уже у стола и смотрел через плечи, как рука писаря бегала по бланкам паспортов.

— Как вы хорошо пишете, — сказал Павел тихо, с восхищением следя за толстыми пальцами милиционера. Удивленно довольная физиономия поднялась от стола. — Наверное вы очень долго учились, — продолжал Павел, чувствуя, что попал в цель.

— Всего четыре класса окончил, — самодовольно ответил милиционер.

Подошла очередь Павла. Господи, помоги, помилуй.

— Почему временная прописка?

— Я недавно приехал.

— Справка с работы?

— Еще не поступил.

Павел, стараясь не дать милиционеру времени на размышление, положил на стол старый вид на жительство и грамоту красного ударника, тоже полученную в концлагере, и под самым низом удостоверение об освобождении.

— Я отбывал срок в лагере, освобожден досрочно.

Павел не совсем врал: зачет рабочих дней сократил срок почти на год, хотя это и не равно досрочному освобождению.

— Вот грамота ударника. Кольцов писал по этому вопросу в «Правде»...

Усталая голова милиционера соображает слабо; направление из лагеря в Тулу, паспорт выдать можно. Толстые пальцы опять неуклюже бегают по бумаге. Павел опять восхищается почерком:

— Это прямо удивительно, графолог сделал бы заключение об уме и твердости характера.

Павел боится переборщить. Нервы натянуты. Только когда чего-нибудь настойчиво, страстно хочешь — это удается. Наконец, роковая графа. Толстые пальцы начали писать, напряжение достигло апогея... «На основании каких документов выдан паспорт». Надпись сделана четким тонким шрифтом. «На основании вида на жительство №...». Господи, может быть, произойдет чудо и он совсем не упомянет о справке об освобождении. Чуда не происходит, справка об освобождении упомянута, совсем так же, как у Григория. Может быть, его сведения о постановлении СНК неверны; может быть, то, что получил Павел, никакой не успех, а такой же волчий паспорт, как у других освобожденных. Павел, опустошенный и измученный, уходит. Завтра постоянная прописка, военный комиссариат, затем в Москву.

Бараки всё приближаются, их вид наводит уныние.

Всё, что угодно, предполагал, но то, что после освобождения сам вернусь наниматься в лагерь — не предполагал. Павел достает из бокового кармана конверт, письмо к дальнему родственнику Сергея Ивановича, бывшему гвардейскому офицеру. Тоже отбыл пять лет и тоже сам вернулся в вольнонаемные сотрудники. Конечно, вольнонаемные сотрудники не чекисты, это промежуточный слой между «кадрами» и заключенными, тем не менее это чудовищно. Павел подходит к неогороженным проволокой баракам, где живут вольнонаемные — хорошо хоть нет проволоки и вышек — и ищет барак № 3. Длинный коридор, слева двери в комнаты. На каждую семью одна комната. Павел стучит в легкую дощатую дверь.

— Войдите.

Обычная барачная комната: четыре кровати, шкап, письменный стол у окна, обеденный стол посередине, бязевые коротенькие занавесочки. Высокая пожилая дама с измученным лицом, глаза большие, кожа на лице прозрачная с мелкими морщинками.

— От Сергея Ивановича, недавно освобожден. — На лице появляется приятная улыбка.

— Садитесь. Хотите устроиться на службу? Я думаю, это вам удастся. Знаете, после стольких лет, наконец, сыты, в тепле и все вместе. Паек очень хороший, прекрасная столовая. — Она опьянена роскошью свободной жизни. Господи, сколько ей, бедной, пришлось перетерпеть. — Муж занят целый день — двенадцать, четырнадцать часов, но зато мы вполне обеспечены. Дети учатся, у нас двое и, знаете, самое главное, ничего не боимся. Даже ареста. — Она наклоняется и шепчет это Павлу на ухо: — Тут очень много наших, прежней интеллигенции. Встречаемся, конечно, только в официальных местах, иногда в гости, но, конечно, редко, с оглядкой. Зато сыты, пайка хватает вполне. Я вас сейчас накормлю, не стесняйтесь — мы тоже знаем, что такое голод. Кроме того, я вам дам талон в столовую.

Вы увидите, — совсем роскошная, даже духовой оркестр.

Говорит всё это она быстро, неровно, с каким-то надрывом. Павел понимает ее до самой глубины ее истерзанной души, но ему не по себе. Да, в заключении в некоторых отношениях было лучше.

Григорий уже устроился, но ближе к Волге, далеко от Москвы. Путь ли это в столицу или к капитуляции? Дама разогревает макароны на сливочном масле, дрова в железной печке потрескивают. Павел расспрашивает, где можно найти место, кто из знакомых чем может помочь. Дама знает много, но недостаточно. Муж придет поздно вечером. На работе с ним говорить нельзя. Блат и закон волчьей жизни требуют конспирации.

— Конечно, за нами следят, — говорит дама, — но всё же арестов нет, во всяком случае, неизмеримо меньше, чем на воле. Но следят неусыпно. Одна интеллигентная барышня отбыла три года заключения, не могла нигде устроиться и поступила сюда в управление. Месяц тому назад она от тоски и отчаяния бросилась под поезд. Было целое следствие, выясняли откуда такие настроения. Собирали общее собрание и грозили репрессиями. Ужасно. Некоторые чекисты играют в аристократию: одного зовут Евгений Онегин — представьте себе, какая пошлость. Человек умный, интересный, с интеллигентной внешностью, но как можно называть себя таким именем?

Павел медленно ест белые жирные макароны и, несмотря на голод, не чувствует никакого удовольствия. А что делал бы в таких условиях настоящий Евгений Онегин, может быть, и вправду пошел бы служить в ГПУ, не в вольнонаемные, а в кадры — при его себялюбии и привычке к комфортабельной жизни. Николай вот никуда не пошел. Конечно, он нравственно выше всех нас.

Съев макароны, Павел простился и пошел искать

место. Дама заботливо проводила его до двери и сунула талон на обед.

— Не стесняйтесь, мы вполне, вполне сыты.

Канцелярии разных отделов управления разбросаны по разным местам. Внутри вид обычный, лагерный. Серые бушлаты, черные ушанки, синие с красным фуражки чекистов, простые канцелярские столы — казенщина, отсутствие элементарных удобств и уюта. Много знакомых, но еще больше чужих. Знакомые держатся осторожно, здороваясь и выражая радость больше глазами, чем пожатием рук. У Павла нет технической специальности. Григорий устроился сразу на строящуюся электростанцию; Алексей где-то здесь в управлении работает чертежником-конструктором, он уже освободился и остался вольным на той же должности. Но где может устроиться Павел со своей филологией? В пропаганде? Он сам туда не пойдет, да его никто и не возьмет. На мелкие места типа счетовода или статистика вольнонаемных не берут: там работают исключительно заключенные. Получив несколько отказов, во время обеденного перерыва Павел пошел в столовую. Большое светлое деревянное здание с эстрадой и большим балконом, цветы, целые южные деревца в деревянных бочках, отдельные столики, официантки в чистых передниках. Сытость, довольство и уют. Обедающих в столовой мало: повидимому, большинство предпочитает получать паек на дом. За соседним столиком лейтенант с красными петлицами, Павла покоробило от этого общества. Обед простой, но сытный, мясной, из трех блюд. После обеда опять поиски уже без знакомств, на ура.

Под вечер, случайно зайдя в отдел снабжения, Павел узнал, что нужен помощник начальника снабжения одного из участков недалеко от Москвы. Начальник — заключенный и не может выезжать в город по делам.

Павел никогда не работал по снабжению и знал, что это дело скользкое, но выбирать нельзя, и он согласился. Оформление в районе.

Уже собираясь идти на станцию, Павел неожиданно встретил Алешу, брата Григория. Алеша шел около вольнонаемного барачного городка с группой сослуживцев в арестантских бушлатах, но в гражданских кепках и костюмах. После минуты замешательства Алеша отстал от своих спутников и некоторое время они шли с Павлом. Павел чувствовал, что Алеша боится того, что Павел тянет Григория опять на какую-то опасную деятельность и считает это донкихотством. Разговор не вязался. Павел узнал, что Алеша уже освобожден, но не получил паспорта и поэтому в Москве пока не был, что он остается на той же должности, думает получить комнату в городе и надеется, что Леночка приедет летом в отпуск и немного отдохнет после четырех лет работы и нервного напряжения. Павел знал и раньше, что Алеша образцовый брат, но сейчас ему было неприятно чувствовать, что, кроме житейского благополучия, Алеша ни о чем больше не думает.

— Ну, давай, Бог, всякого счастья! — Павел пожал Алеше руку и пошел проститься с так приветливо принявшей его утром дамой. Мужа всё еще не было дома, он задерживается на работе до позднего вечера. Хорошенький мальчик и некрасивая курносая девочка с большими наивными глазами сидели за столом на том месте, где Павел утром ел макароны, и учили уроки.

— Ну, как — устроились?

В голосе дамы тревога и сочувствие.

— Устроился.

В глазах ее вспыхнула искренняя радость: один горемыка нашел временное пристанище. Павлу от этого стало еще тяжелее: из-за пристанища он сюда не пошел бы — он не может сказать это так приветливо смотрящей на него женщине.

Начальник отдела кадров, пожилой хромой человек с утомленным лицом, дает анкету на двух страницах. Анкета такая же, как в каждом советском учреждении: кто были родители, есть ли репрессированные родственники, есть ли родственники заграницей, служба в армии: царской, красной и белой. Подвергался ли сам репрессиям. Это самый страшный вопрос, но не здесь. Здесь на это не обращают внимания. Зато другой вопрос анкеты «не был ли сам, или кто-либо из родственников лишен избирательных прав?» играет здесь большую роль. Лишенцев не берут. А вот и специфически Гулаговское. Маленькая бумажка: «Обязуюсь ни с кем из заключенных не вступать в личные отношения и обязуюсь не разглашать ничего, что буду видеть на строительстве». Павел подписывает и передает все бумаги хромому мужчине. Ответ будет дан через месяц, но к работе можно приступать сейчас же.

В тот же день Павел сидел в кабинете начальника работ своего участка. Инженер, никогда не бывший сам в заключении, недавно окончивший институт. Через широкий стол поблескивали стекла пенснэ. Мясистый нос, мясистые губы, умные жестокие глаза — с этим человеком Павел не сможет сойтись.

— Мне надо, чтобы вы проявляли должную настойчивость и сообразительность при посещении различных учреждений, через которые снабжается строительство. Ваш будущий начальник очень хороший специалист, но ему еще сидеть четыре года и он не может уезжать со строительства. Я надеюсь, что вы сумеете найти с ним правильный тон.

Вы меня скорее пропишите, — думает Павел, — я тогда найду правильный тон, только меня и видели.

Канцелярия снабжения участка — дощатая барачная комната, наскоро сколоченные столы. Лысый мужчина, лет пятидесяти, Василий Сергеевич Козырев. Лицо желтое. В каждом слове, в каждом жесте нервность и надорванность. Он не знает сначала, как дер-

жаться с Павлом, но дружеский тон устанавливается сам собой. Дело ответственное, кляузное. Работа идет под Дамокловым мечом нового срока. Целыми составами подвозится цемент и в то же время часто нехватает гвоздей. Начальники объектов рады свалить вину за возможное невыполнение плана, на снабжение, поэтому все друг друга боятся и каждый заботится только о своем непосредственном деле, совершенно не интересуясь целым.

Глава седьмая

«ХОЗЯИН» ДОМА

Павел шел по большой, когда-то богатой деревне, иногда он натыкался на громадные ямы, в которых когда-то были вкопаны чудовищные бочки для засолки огурцов и заготовки капусты, — всё это было заброшено и испорчено... Колхоз!

На строительстве не оказалось свободной комнаты. Павел очень этому обрадовался. Теперь он нашел комнату в деревне, в трех верстах от управления участка. Ходить на работу надо два раза в день: два раза туда, два раза обратно. Четыре раза — двенадцать километров. Купить велосипед Павел, конечно, не мог, да неизвестно, где их и продавали. Надо было работать десять часов в день и тратить на ходьбу больше двух часов, — это было не страшно: два часа в день на поездку на работу тратило большинство москвичей. Самое главное, что, прописавшись в деревне, можно было уйти со строительства и начать новую жизнь.

В маленьком трехоконном домике жила толстая чернобровая хозяйка, женщина лет пятидесяти, восемнадцатилетняя дочка и сын, мальчишка четырнадцати лет. Муж женщины, по слухам, был выслан. На дворе

стояла тощая корова и бегало штук шесть кур. Колхоз почти ничего не дал на трудодни и хозяйка соблазнилась возможностью получить от Павла восемь килограммов муки в месяц. За это она предложила клеть — полутемный чулан, выходивший на двор единственным оконцем и не отапливавшийся зимой. На строительстве можно было получить комнату, но это не дало бы возможности переменить работу и одновременно остаться под Москвой. Павел решил переехать в клеть. Скоро он завязал самые дружеские отношения с хозяевами.

Сейчас, идя по деревне и стараясь не обращать на себя внимания, он обдумывал план ухода со строительства.

Соседи уже знали, что Павел работает на строительстве и считали его тоже работником НКВД, — это было выгодно для будущего. Павел тихо поднялся на крыльцо, отворил дверь, вошел в сени и отпрянул от неожиданности: из чердачного люка высунулись две ноги, поболтались в воздухе и на пол легко спрыгнул коренастый, всклокоченный мужик. Увидев Павла, мужик съежился, часто задышал и смешно выпучил зеленовато-серые, заспанные глаза. Дверь в избу отворилась, хозяйка, увидев Павла и мужика, всплеснула руками и взвизгнула. Все трое на мгновение застыли в нерешительности.

— Что же делать! Вы уже, пожалуйста, нас не выдавайте, — заговорила подобострастно хозяйка.

— Кого выдавать? — не сразу понял Павел.

— Это муж мой, — хозяйка заплакала.

— Всё прятала его, прятала, да разве спрячешь, живучи в одном доме!

Оказалось, что муж хозяйки тоже освободился из лагеря, прописался где-то вне стокилометровой зоны и теперь жил в собственном доме на чердаке, прячась от односельчан и жильца. Для него, главным образом, и была нужна мука, получаемая от Павла. Павел в одну минуту учел, что такая ситуация для него крайне бла-

гоприятна. Уйдя со строительства и оставшись прописанным в селе, он намеревался поступить так же, как муж хозяйки, только делая следующий прыжок из-под Москвы в самый город. Возможность иметь хозяев сообщниками этого плана ему весьма улыбалась.

— Ну, давайте знакомиться, — сказал Павел весело. — Я сам бывший заключенный и сам такие же штуки выкидывал. Хозяйка, вот деньги, неси поллитра, а мы с хозяином вспрыснем возвращение на родину.

Лед был сломан. Через десять минут Павел сидел в избе на почетном месте, под образами, для виду поднимал наполовину выпитый стаканчик и беседовал с хозяином о политике.

— И как это иностранные державы такое безобразие терпят, — возмущался хозяин, — всё равно Сталин на России не успокоится, всё равно коммунисты по всему миру смуту поднимают и война всё равно будет.

— Иностранцы считают коммунизм нашим внутренним делом: коли правительство не нравится, можно его провалить на выборах, — серьезным тоном возразил Павел.

Хозяин хитро подмигнул:

— Ты не думай, что я мужик необразованный, так ни в чем не разбираюсь. Что они не знают, какие у нас выборы? Заграницей, брат, люди умные правят, не нам чета... это нас в 17-ом году на свободу поймали, — теперь, небось, все видят, какая свобода получилась! Ты мне лучше вот что скажи: как ты насчет Гитлера понимаешь?

Павлу «понимание» Гитлера хозяином было совершенно понятно, но он ответил в прежнем серьезно-шутливом тоне:

— Гитлер борется в равной степени и с коммунизмом и с капитализмом, а от России ему нужна только Украина.

— Ты меня нарочно не путай, — прищурился хозяин, — насчет капитализма ты всё врешь, вот насчет Украины — может быть, но...

— Бригадир идет! Прячься, тятька! — в комнату, как бомба, влетел босоногий растрепанный Сенька. Хозяин вскочил, опрометью бросился в сени и исчез в люке, сильно мотнув ногами. Хозяйка быстро спрятала бутылку под лавку, убрала со стола и пошла на крыльцо. Павел возвратился в клеть и сел на постель. Через квадратное оконце падал косой белесый свет и видна была посеревшая соломенная крыша сарая. Все попытки создать в клети что-либо, похожее на уют, не увенчались успехом. Хозяйка дала стол, табуретку и кровать. Павел привез из Москвы кое-что из вещей матери, хранившихся у тети Лиды, застелил старый потрескавшийся стол вышитой скатертью, разложил книги, письменный прибор, поставил фотографии и с трудом добытую керосиновую лампу. Деревня уже давно была электрифицирована, но в павловой клети, конечно, никакого электричества не было. Новый этап пройден, — думал он. Я прописан и окончательно оформлен на службе, а как всё это трудно в целом. Окружающую обстановку можно выносить, только отвлекаясь работой и борьбой. Каждая передышка невольно заставляет оглядеться вокруг себя, — а это почти невыносимо. Уже перевалило за двадцать пять лет, скоро тридцать. Хорошо раз собраться с силами и вступить на дорогу борьбы и самоотречения, даже пойти на смерть, заморозить сразу все чувства, но каково после этого оттаивать: сразу начинает чувствоваться вся боль лишений. А еще страшнее оттаять, а потом замораживаться снова. Вспомнилась Ната, — все отвергнутые или упущенные возможности личного счастья, и невыносимая тоска по семье, уюту и любви поднялась в душе.

Павел вспомнил, как неделю тому назад он и Козырев засиделись в канцелярии до 12 часов ночи и остались одни. Вдруг Козырев обернулся к Павлу, лицо

его исказилось почти судорожной гримасой и надтреснутый голос с отчаянием воскликнул:

— Выжали, как лимон, чувствую, что жизненной силы почти не остается, а отдохнуть не дают.

— Давно вы уже в лагере? — спросил Павел.

— Пять лет. — Козырев поник головой и отвернулся.

— Вы были военным?

— Да. Интендантом. Два ромба носил. Пришили вредительство, дали десять лет через расстрел, то есть сначала приговорили к смерти, а потом помиловали. Семья за эти годы куда-то исчезла. Очевидно, жена снова вышла замуж, не пишет уже два года. Мне сорок восемь лет, а я чувствую себя глубоким стариком. Теперь обещают досрочное освобождение по окончании строительства, а что со мной будет через год? Может быть, смерть освободит без их участия.

— Могу ли я вам чем-нибудь помочь? — спросил Павел.

— Нет. — Козырев с опаской оглянулся на дверь. — Вам ведь запрещено с нами общаться.

Павел сразу почувствовал страх: действительно, нечего особенно откровенничать перед этим бывшим советским генералом. Будь он на моем месте, он бы держался не так, как я, да и сейчас, может быть, недаром его через день в секретную часть вызывают.

После этого разговора Козырев стал держаться холодно и отчужденно, очевидно, боясь последствий минутной слабости.

Надо уходить, надо скорее уходить с канала, — думал Павел.

Глава восьмая

ВОЗВРАЩЕНИЕ БОРИСА

Борис вернулся из Сибири. С трудом получив свободный день, Павел приехал к Наталии Михайловне. Со стула встал обветренный, постаревший Борис. Обнялись.

Глаза и улыбка прежние, — думал Павел. — Нет, этот не сдался и не сошел со своей дороги.

— Ну, через Наташу следил за вами, — сказал Борис.

В комнату вошла румяная, подкрашенная Люба.

— Знакомься, — моя жена, — сказал Борис и искоса посмотрел, какое впечатление произведет на Павла Люба.

Павел с сомнением пожал пухлую ручку и посмотрел на губки бантиком.

Дамы вышли, чтобы приготовить обед. Павел сел против Бориса и сразу заговорил о деле.

— Мы с Григорием набрали в лагере много адресов и теперь хотим восстановить центр в Москве. Для этого я и поступил на канал Москва-Волга.

— У меня кое-что сделано в Москве, но, по понятным тебе причинам, задерживаться здесь мне невозможно. В Сибири на строительстве сколочена группа инженеров, особенно не развертываемся из-за общих неблагоприятных условий. — Борису было неприятно говорить о том, что сделано мало.

— А что из себя представляют молодые советские инженеры? — задал Павел давно мучивший его вопрос.

— Очень разные, я ведь и сам липовый специалист, как говорится, по нужде. Общее мнение таково, что сразу по окончании вузов они на 90% мало куда пригодны, зато, поработав несколько лет на строитель-

ствах, большинство заметно квалифицируется и делается узкими, но вполне удовлетворительными специалистами. Ведь инженеров, выходцев из интеллигентных семей, всего несколько процентов. Ты себе представить не можешь какой народ приезжает из провинциальных вузов, но на работе они быстро обламываются.

— Ну, а какие у них настроения?

— С настроением та же картина: пока такой кончивший ВУЗ выдвиженец чувствует, что он всем обязан партии и правительству, а сам ничего не стоит, он инстинктивно цепляется за советскую систему; как только окрепнет и квалифицируется да понасмотрится на бесхозяйственное расходование народных денег, так и начинает критиковать, часто не вслух, а шопотом, только в кругу близких приятелей, но уже критикует. Твердо за партию стоят только партийные работники, которые ничего не стоят вне большевистской системы. Поэтому доверия к специалисту нет, хотя дело делает только он один. Поэтому на всех руководящих должностях сидят партийцы-крикуны. Если говорить о перевороте, то теоретически дело обстоит очень просто: надо будет с самого начала, сверху донизу, на место партийцев и комиссаров поставить их заместителей-специалистов.

— И ты думаешь, что внутренний переворот возможен?

— Если бы удалось поднять восстание сразу во многих местах, то и внутренний переворот был бы возможен. В случае же войны произойдет стихийный взрыв. А война неизбежна, во-первых, потому, что с переходом на пятилетки перешли к подготовке мировой революции при помощи штыков Красной армии; во-вторых, потому что столкновение с фашистской Германией неизбежно.

Павел, в который уже раз, сталкивался с той же концепцией.

И ты думаешь, что Германия победит?

— Уверен, что победит. Наши, хоть и кричат и го-

товятся, но во время готовы не будут. Самое же главное, что колхозники воевать не станут.

— А ты не боишься, что немцы захватят Украину?

— Во-первых, если и захватят, то не навсегда, а, вернее всего, и не надолго, а потом, как по-твоему, что лучше: потерять, скажем, руку, или знать, что заболел сифилисом и нет никаких лекарств для его лечения? Борис гневно посмотрел на Павла.

— А ты что, может быть, по-другому смотришь?

— Нет, я смотрю так же, как и ты.

Павел вспомнил разговор с хозяином, неожиданно спрыгнувшим с чердака.

— А как по-твоему молодежь?

— Зеленая молодежь до 25 лет в городах за них, да и то не вся; зато весь средний возраст, кроме партийцев, против, — отвечал Борис уверенно.

— А как дело с деревней? Я спрашиваю про твои группы среди крестьян.

— Плохо. Связь почти прервалась, Кузьмич уехал в Сибирь и пропал, видимо, боится писать, а те, кто остался на месте, попрежнему в душе наши, но, сам знаешь, всеми надо руководить и всех надо подталкивать, — само ничто не делается.

Раздались два звонка и в передней поднялся веселый шум.

— Анохин и Сергей, — высунулась в дверь Наталия Михайловна. Павел не успел спросить, какой это Анохин, как в комнату вошел его школьный товарищ, бывший староста класса, теперь главный инженер большого строительства — Анохин.

— Вот это здорово! — оба искренно обрадовались. Анохин возмужал, похорошел и приобрел уверенную, слегка небрежную манеру держаться. Следом за ним появился Сергей, муж Наталии Михайловны. Радость от встречи со школьным товарищем сразу исчезла у Павла, когда он увидел высокую развинченную фигуру Сергея, холодно протянувшего ему длинную руку.

— Рад познакомиться. — На большом бледном лице Сергея изобразилась надменно кислая улыбка, обнаружившая отсутствие передних зубов. Павел постарался заглушить вспыхнувшее с неожиданной силой недоброжелательство и одновременно вспомнил характеристику Сергея, данную ему еще покойным Алешей: человек наш, но кутила и неврастеник, в кадр не годится.

— Ну, как живем? — Анохин дружески, с некоторым оттенком превосходства обратился к Павлу.

— А так, что отсидел четыре года в концлагере, а сейчас работаю на канале, — ощетинился Павел.

Анохину стало неудобно и он даже покраснел: — Прости, я не знал, что ты был арестован.

— Ну как, дамы, закуска готова? — спросил Сергей, с явным нетерпением ожидая выпивки.

Все пошли к единственному круглому столику, заменявшему и обеденный и письменный стол в комнате Наталии Михайловны. Павел не любил ужинов с водкой: всегда начинались праздные бестолковые разговоры, из которых, обычно, не получалось никакого дела, но во время которых легко было проговориться.

— Вам водки или коньяку? — Сергей обратился к Павлу.

— Ни того, ни другого, — поблагодарил Павел суше, чем хотел.

— Ну как, Борис, есть еще порох в пороховницах? — иронически заметил Сергей, наливая по второй рюмке.

Борис не заметил скрытой иронии Сергея, широко улыбнулся и залпом выпил. Наталия Михайловна, закончив приготовление закуски, подсела к столу, искоса взглянув на сидящего в стороне Павла. Павлу становилось всё досаднее и досаднее: он не для того с таким трудом вырвался со строительства, чтобы смотреть, как ужинают и пьют водку.

— Господа, — громко сказала Наталия Михайлов-

на, — устройте куда-нибудь на работу отца; он после ссылки так и числится на моем иждивении, хороший специалист, а имеет только случайные заработки — и то частным образом.

Анохин сделал вид, что вопрос обращен не к нему; Борис обернулся и хотел сказать что-то сочувственное, но его перебил Сергей:

— Михаил Михайлович должен радоваться, что может по своему возрасту числиться на вашем иждивении, для него это самое лучшее, по крайней мере, меньше внимания на себя будет обращать, а то сразу скажут «недорезанный аристократ» и опять посадят. — Слово «недорезанный» Сергей произнес с оттенком презрения.

Ишь, какой новый специалист, — с возмущением подумал Павел.

— Ничего, Наташа, не грусти, — сказал Борис, — мы подумаем.

Сергей пьянел, Наталия Михайловна обиженно молчала.

Павел уже думал, что вечер надо считать пропавшим, когда Наталия Михайловна после ужина предложила Анохину и мужу пойти в кино.

— Ну, а вы, — обратилась она к Борису и Павлу, — наверно предпочтете остаться и поговорить. Любу мы возьмем с собой.

Оставшись вдвоем с Борисом, Павел решительно пошел в атаку на приятеля:

— Давай друг перед другом отчитываться в проделанной работе и намечать план дальнейших действий.

Борис сразу отрезвел и, поддаваясь Павловой экспрессии, загорелся сам. Картина оказалась гораздо менее благоприятной, чем в 1930 году, но не такой плохой, как боялся Павел. У Бориса всё-таки накопилось большое количество связей, знакомств, мыслей и проектов. Всё это было в хаотическом состоянии: налаженные с трудом связи постоянно прерывались из-за кочевого образа жизни. Борис согласился с тем, что

надо переезжать в Москву и устраивать здесь центр. Осуществить переезд для него было относительно легко, потому что Люба оставалась прописанной у родителей, а мужа к жене не могли не пустить. Самым неприятным было то, что у родителей Любы была только одна комната и, в случае переезда, надо было жить вчетвером.

— Для тебя у меня припасено несколько конспиративных квартир, — закончил Борис, — есть два архитектора, очень близкие к нам люди, на активную работу они не идут, но жить, даже нелегально, в их квартирах можно. Вообще, частично помогающих делу, примерно, в десять раз больше, чем активно работающих, а сочувствующих в тысячу раз больше, чем частично помогающих — трудно, но «есть еще порох в пороховницах».

— А что из себя представляет Анохин в настоящее время? — спросил Павел, — в классе он держался довольно прилично, хотя иногда под нажимом и шел на компромиссы. — Павел вспомнил, как Анохин неохотно поднимался на сцену, стесняясь и краснея, во время инсценировки «суда над старой школой».

— Парень хороший и нам сочувствует, — как всегда решительно, сказал Борис, — хотя по натуре немножко чиновник. Я его уже наполовину завербовал.

— А что ты скажешь о муже Наталии Михайловны? — Павел немного потупился.

— Тебе, наверно, не понравилось, как он ответил ей относительно Михаила Михайловича? — спросил в свою очередь Борис.

— Да, пожалуй это...

— Человек он слабый, неустойчивый, любит выпить, но мы его общими усилиями тянем.

— А как он — не может оказаться осведомителем ГПУ?

Борис задумался...

— Пожалуй, может, — наконец, ответил он с расстановкой, — на своих едва ли... однако, надо это обдумать.

Глава девятая

СЛОМЛЕННЫЕ

Бывая по делам в Москве и задерживаясь в учреждениях, Павел перестал возвращаться по вечерам на участок, используя их для восстановления старых связей. Все свободные дни Павел посвящал тому же. В некоторых случаях ему пришлось испытать горькие разочарования. Решив зайти к Сорокину, Павел вспомнил всё, связанное с этим молодым химиком: в свое время ему было поручено изготовление и заготовка взрывчатых веществ; он был арестован и через две недели выпущен. Лена, барышня, за которой тогда ухаживал Сорокин, незадолго перед арестом группы передала, что Сорокин хочет некоторое время ни с кем не встречаться. — Да, — вспомнил Павел свои тогдашние опасения, — выпущенный через две недели после ареста, обычно, оказывается потом осведомителем, но на допросах меня ни разу не спрашивали ни про Бориса, которого знал Сорокин, ни про взрывчатые вещества. Однако, настоящей уверенности в Сорокине не может быть.

Дверь Павлу открыла миловидная полная женщина.

— Я бы хотел видеть Сорокина.

Женщина внимательно посмотрела на Павла. — Мужа нет дома, но он скоро вернется.

— Так Ваня женился! — обрадовался Павел.

— А вы товарищ мужа? — спросила женщина, настораживаясь.

Павел понял, что сделал промах: кто их знает, ны-

нешних жен, может быть, коммунистка, а тут надо пускаться в ненужные объяснения.

— Да, мы были знакомы когда-то, еще студентами.

— Так вы — не Истомин ли? — улыбнулась женщина доброй улыбкой.

— Да... а что? — смешался Павел.

— Заходите, заходите... теперь мы в другой комнате. — Женщина с опаской оглянулась. Комната была низкая, маленькая и менее уютная, чем та, в которой бывал Павел пять лет назад.

— Меня зовут Катя, — сказала женщина простодушно, протягивая Павлу крепкую полную руку. — Ваня мне много про вас рассказывал, всё жалел и говорил, что вы были самыми лучшими товарищами.

Павел решительно начинал чувствовать доверие к этой простой русской женщине.

— Что же вы, наконец, освободились? Не бойтесь, я всё понимаю, у меня у самой родители сосланы, — говорила она ласково и как-то по-товарищески просто. В углу у кровати стояла детская постелька и оттуда раздавалось басистое покряхтывание.

— У вас уже ребенок?

— Сын.

Павел подошел к кроватке. Из глубины глянули ясные глаза, поразительно напоминавшие глаза Сорокина; круглое, как шар, лицо медленно расплылось в улыбку, толстые с перевязочками ручонки протянулись к Павлу и густой бас произнес: «Гууу!».

— Хорош? — с откровенным восхищением спросила Катя.

— Хорош, — ответил Павел, чувствуя, что атмосфера семьи и уюта неудержимо влечет его к себе.

— Зачем же дело стало? Женитесь и заводите вот такого.

— Легко сказать — женитесь, — с горечью ответил Павел, — надо сначала квартиру найти, да самому хоть как-нибудь устроиться.

— Ну, уж это вы оставьте, надо только захотеть, — лукаво возразила Катя, — можно найти невесту с комнатой.

Павла стала забавлять простодушная непринужденность Кати.

— Вы мне хоть расскажите про Ваню.

Оказалось, что Сорокин поступил в Красную армию и служит химиком в технических частях, что мать его умерла, что часть квартиры занял родственник, приехавший еще при матери из армии, сирота, прописавшийся сначала временно, а потом поступивший в ГПУ, женившийся и теперь занимавший две из трех комнат маленькой квартирки.

— Это соседство больше всего отравляет нам жизнь, — жаловалась Катя. — Всё время так и боишься какой-нибудь новой гадости. А как ваши дела теперь?

Павел откровенно рассказал о внешней стороне своей жизни.

— Ну что же, ваше дело совсем не так плохо, — решила Катя, — жениться можете. А как все-то живут? — тоже ведь еле-еле концы с концами сводят.

Сорокин появился в тот момент, когда супруга уже чуть-чуть не начала сватать Павла за одну из своих подруг. Быстро скинув шинель, он радостно обнял Павла и сел напротив, вдруг смутившись, не зная, с чего начать разговор.

— Ну, я пойду готовить ужин, — поднялась Катя.

— Да, много воды утекло... — пробормотал Сорокин.

Павел молчал, решив про себя не поднимать вопроса об организации.

— Да... многое изменилось... — Сорокин никак не мог найти нужных слов. Он возмужал, похудел, военная форма плотно облегала коренастую фигуру; лицо казалось несколько другим, чем раньше. Глаза сохра-

нили прежний веселый блеск, но выражение их приобрело оттенок холодности и сухости.

— Ты всё-таки молодец, — вдруг сказал Сорокин совсем тихо, — не проговорился, не выдал... молодец, я тебя за это очень уважаю. — Черные глаза смягчились и с искренней теплотой посмотрели на Павла. — Знаешь, я всего две недели просидел и то страшно: теснота, грязь, а, главное, стены и решётки — никуда, никакими силами от них убежать нельзя.

Павел терпеливо ждал, чтобы он сам заговорил об организации, но Сорокин вскочил и с напряженной живостью начал суетиться, приготовляя ужин. Побежал на кухню к жене, вернулся, нарезал хлеб и сам начал накрывать на стол.

Разговор за ужином наладился с трудом. Катя сейчас же почувствовала, что что-то обстоит не так, как нужно, и с укором посмотрела на мужа.

— Что же ты так мало радуешься, говорил, что Павел твой лучший товарищ, а приехал Павел — и как будто бы ничего не случилось.

Сорокин покраснел, а глаза его стали колкими.

— Ну, как служится в армии? — спросил Павел.

— Тоже не легко: всё друг друга подсиживают, того и гляди налетишь на неприятность. Зато платят хорошо, паек и обмундирование.

— Знаешь, — оживился Сорокин, — военным быть очень хорошо: везде почет, везде без очереди.

Когда Павел уходил, Катя, всячески желая сгладить натянутость, просила Павла заходить почаще и, в случае нужды, обращаться за помощью. Сорокин накинул шинель и проводил приятеля до конца переулка.

— Помнишь Лелю? — спросил он.

— Как же, помню.

— Вышла замуж и очень неудачно: из жалости, за какого-то прохвоста.

— А у тебя очень хорошая жена.

— Да, хорошая, — протянул Сорокин. — Знаешь, так много воды утекло...

Павлу вдруг надоело играть дальше комедию, он остановился около уличного фонаря и прямо посмотрел в лицо Сорокина. Тот вдруг весь съежился, как бы ожидая удара.

— Вот что, — сказал Павел, — я знаю, что в отношении всех нас ты держался во время ареста так, как надо, но, перед тем как выйти на свободу, ты всё-таки дал подписку?

Павел не сказал какую подписку, но Сорокин понял и, опустив глаза вниз, прошептал:

— Но ведь вас я не подвел.

— За это спасибо, — сказал Петр, протягивая руку. — О нашем разговоре я, конечно, никому не скажу — можешь быть вполне спокоен.

— Ты меня очень за это презираешь, Павел? — с трудом выговорил Сорокин, поднимая сразу осунувшееся лицо.

— Если ты себя держишь так же в отношении других, как в отношении нас, то только жалею, — ответил Павел, пожимая беспомощно лежащую в его паль-
трудом выговорил Сорокин, поднимая сразу осунув-
торое время постоял у фонаря в прежней согнутой позе, затем выпрямился и медленно, тяжелой походкой пошел домой.

Войдя и сев против Дмитрия Дмитриевича, Павел с удовольствием заметил, что в комнате адвоката ничего не изменилось, хотя в обстановке и не было ничего такого, что могло бы доставить удовольствие. Такой же кусок слоновой бумаги заменял абажур некрасиво свешивающейся с потолка лампы, тот же простой деревянный стол, та же шинель и не так уже постаревший Дмитрий Дмитриевич.

Так мы тогда и не проверили организацию, в

которой состоял его племянник, — вспомнил Павел, — ничего, если за пять лет их не арестовали, то мы теперь уже этого дела не упустим.

— Очень рад вас видеть живым и здоровым после концлагеря, — заговорил Дмитрий Дмитриевич сухим официальным тоном.

Павел сразу насторожился. Комната и шинель не изменились, но с их владельцем что-то произошло.

— Да, помните наши с вами разговоры, — пустил Павел пробный шар, — не хотел я тогда быть активным и всё равно попал.

Адвокат недовольно опустил глаза и поежился.

— Ну, а вы как живете? — как бы не заметил этого поеживания Павел.

— Что мне еще надо? — искусственно оживился Дмитрий Дмитриевич. — Служу, вечерами посещаю кружок изучения истории партии и текущей политики. Кроме того, много сверхурочной работы — скучать некогда.

Павлу стало невыносимо тоскливо. — Ничего себе эволюция: пять лет тому назад он уговаривал меня включиться в активную контрреволюционную борьбу.

— И дает вам что-нибудь изучение истории партии? — с невольной иронией спросил Павел.

Дмитрий Дмитриевич сделал вид, что не заметил иронии и продолжал:

— Всюду теперь такой подъем, такой творческий энтузиазм...

— Я тоже проявлял творческий энтузиазм в концлагере, даже грамоту красного ударника получил.

— Вот видите, — подхватил адвокат, — и там заметен общий порыв.

— А что, вам тоже паек срезают, если вы работаете без порыва?

На этот раз адвокат не мог сделать вид, что не понимает насмешки, и рассердился. Обрюзгшие щеки и лысина покраснели, глаза стали враждебными.

— Я вас не понимаю, Павел, — сказал он сухо, — или вы идете в ногу с эпохой или будете отброшены в сторону и затоптаны. Надо понять, что история никогда не возвращается назад. Большевики существуют уже около двадцати лет и будут существовать и дальше, у них есть, как впрочем и у других, плохие стороны, но зато они делают очень много хорошего. Вы всегда были немного мечтателем. Покойница Вера Николаевна воспитывала вас в отрыве от реальной жизни. Я повторяю: история идет своей дорогой, уже половина населения страны состоит из ровесников октября, не помнящих старой жизни. Эта молодежь никогда не видала городового и верит в то, что ей внушается с детства.

Павел чувствовал, что какая-то бездна разверзается у его ног. Да, всё, что говорил Дмитрий Дмитриевич, было им самим продумано и перечувствовано, это было то, что его самого мучило ночами, но как этот человек, ходивший всегда в церковь и верующий в Бога и будущую жизнь, может в своих рассуждениях ограничиваться только временными, земными соображениями, — вот что казалось ему чудовищным. Если ровесники октября, воспитанные в замкнутом, порочном круге материалистической философии, могут читать историю партии, как Евангелие — это понятно, но Дмитрий Дмитриевич...

— Чапаев в фильме заставляет фельдшеров проэкзаменовать коновала на доктора, — сказал Павел, смотря прямо в лицо адвокату. — Это глупо и некультурно, но в этом есть здоровое стремление к совершенствованию. Ужас начинается тогда, когда доктора добровольно регрессируют до степени коновала, хотя бы и идя при этом в ногу с эпохой.

Дмитрий Дмитриевич побагровел еще больше, но сдержался и сказал, стараясь как можно больше смягчить тон:

— Я понимаю, Павел, что пять лет заключения яв-

ляются достаточным оправданием и вашего внутреннего состояния и вашего тона. Давайте переменим разговор.

Павел ушел, на всякий случай не оставив Дмитрию Дмитриевичу своего адреса.

Глава десятая

БРАТ ВЛАДИМИР

Владимир Александрович Андреев, двоюродный брат Павла, проснулся в воскресенье утром в очень плохом настроении. Последнее время это стало случаться чаще и чаще. Владимир перевернулся на другой бок на перине, в которой тонуло его сытое полное тело, и попробовал снова заснуть, чтобы разогнать липкие, неотвязные мысли. Но заснуть ему так и не удалось: мать, спавшая в той же комнате на другом диване и скрытая от него столом, начала противно похрапывать. Стареет, — с раздражением подумал Владимир. Он любил мать, привязанную к нему животной безумной привязанностью, но любовь не заменяла уважения. С детских лет Владимир привык к тому, что мать окружена поклонниками, что они дарят ему дорогие игрушки, а матери бриллианты, что они приносят вкусную закуску и сладости, — это было удобно, приятно, иногда весело, но унизительно. Маленький Володя очень рано перестал слушать мать, часто грубил ей, но постепенно понял, что мать, по существу, глубоко несчастный человек, требующий поддержки и помощи.

Как полный контраст к их жизненному укладу, рядом был уклад семьи Павла. Несмотря на частые ссоры, сестры периодически жили вместе, и тогда Володя из свободной распущенной обстановки, создаваемой матерью, попадал в ежовые рукавицы тети Веры. Жизнь

в семье Истоминых текла по часам, размеренная, строгая и ясная. Мать часто в сердцах шлепала сына, но следом за этим начинала его ласкать и, в конечном счете, он всегда поступал так, как ему хотелось. У тети Веры его ни разу не ударили, но зато приходилось слушаться одного взгляда, не допускающих возражений глаз тетки. Володя любил и Павла и Веру Николаевну и очень их уважал, но в их семье было трудно и очень часто обидно, обидно за то, что мать как бы осуждалась всем строем их жизни.

Сначала, во время периодических ссор и разъездов сестер на разные квартиры, отношения братьев почти не портились, позднее Володя сам начал отходить от Павла.

Павел увлекся церковью, Достоевским, Владимиром Соловьевым; Володя начал курить и ухаживать за барышнями. В это время Володе стало неприятно бывать у тети Веры и встречаться с Павлом. Павел постоянно выдумывал ненужные сложности, только запутывавшие простые реальные людские отношения, а тетя Вера смотрела на шестнадцатилетнего племянника с явным осуждением. Только что пробудившиеся страсти и инстинкты искали свободного выхода; все, кто требовали их обуздания, делались или скучными или вызывали к себе враждебное отношение. Жить дальше от Истоминых было удобнее и легче.

Храп с соседнего дивана усилился. Владимир перевернулся на спину, открыл глаза, протянул руку к аккуратно повешенному на спинку стула пиджаку, достал портсигар и закурил. Пуская клубы дыма, он вспомнил, что Зина просила непременно зайти к ней сегодня, чтобы провести вечер вместе. В то же время он еще раньше сговорился, что зайдет после обеда на службу к Ольге Васильевне: днем она кончала срочную работу, а вечером приглашала к себе.

Нехорошо выходит с Зиной, — обидится и опять

устроит сцену. Владимир вспомнил, как он десять лет назад сблизился с этой девушкой.

Теплым весенним вечером он провожал Зину после кино домой. Город засыпал, шаги четко звучали по тротуару. Свежий ветер развевал черные локоны Зины, заставляя ее наклонять голову и придерживать рукой легкое шелковое платье. Владимир смотрел на крепкие ноги, на всю ее гибкую упругую фигуру. Прохожих почти не было, он сжимал локоть Зины и не мог ни о чем говорить. Беспокойство передавалось ей: она шла близко, задевая его бедром. Он открыл тяжелую дверь и пропустил ее в неосвещенное парадное, а когда сам шагнул следом в темноту, почувствовал, что чьи-то руки крепко обвили его шею.

За десять лет связи острота ощущений притупилась, страсть обратилась в привычку. У Владимира в течение этого времени было много других увлечений, но Зина осталась на каком-то особом положении полулюбовницы, полудруга, которому он грубил, которого обманывал и без которого не мог жить.

С Ольгой Васильевной Владимир познакомился совсем недавно в музее. Владимир был хороший, трудолюбивый инженер, но техническая специальность давала заработок и не давала удовлетворения. Владимир никогда не был ни в комсомоле, ни в партии, и это закрывало дорогу к карьере. Постепенно он стал чувствовать, что окружающая обстановка его душит. Годы шли бессмысленно и однообразно. Служба, вечерние работы, театры — этого становилось мало, это приедалось. Арест брата застал Владимира только что окончившим инженером и был одной из причин появившейся позднее тоски.

Павел и его товарищи жили иначе: жизнь их была, с тогдашней точки зрения Владимира, непереносимой и ужасной, но зато у них была какая-то цель, что-то, чего не было у него и отсутствие чего начинало его беспокоить. Неожиданно в душе занятого делового

инженера проснулась страсть к искусству. В детстве Владимир хорошо рисовал и лепил, потом долго не вспоминал о своих юношеских склонностях и вдруг они ожили вновь. По утрам в свободные дни Владимир стал уходить в музеи и часами бродил один по залам. Особенно влекла его скульптура. Владимир подолгу простаивал перед копией Микель-Анджеловского Давида, Бельведерским торсом и Шубинскими бюстами. Форма, пластическая, манящая, таящая в себе особую реальную и вместе с тем поднятую до высокого благородства жизнь, увлекала его до самозабвения. — Почему я не стал учиться скульптуре, — думал Владимир с отчаянием, — теперь уже поздно, отяжелел, привык хорошо зарабатывать, сытно питаться, тысячи мелочей связывают по рукам и ногам. — Жаль.

Однажды, придя в Третьяковскую галерею, он остановился перед Ставассеровской Венерой с фавнами. Мимо проходили шумные бестолковые экскурсии, сновали отдельные посетители, а Владимир стоял и стоял, стараясь не слушать пошлых замечаний экскурсоводов. Вдруг он почувствовал сбоку чей-то взгляд, обернулся и увидел высокую блондинку, тоже остановившуюся перед статуей. Очевидно, поглощенность Владимира заинтересовала ее. Как только их глаза встретились, блондинка отвернулась и пошла по залу. Интересная женщина, — подумал Владимир и привычный инстинкт проснулся на мгновение, но в следующую минуту он опять увлекся Ставассером.

Проходив еще часа два, Владимир спустился в буфет. За одним из столиков сидела давешняя блондинка и пила чай. Все столики были заняты, только у ее столика оставалось свободное место. Владимир подошел и спросил разрешения сесть. Кончив есть, дама достала каталог галереи. Владимир попросил у нее книжку и с этого завязался разговор.

— Скажите, — спросила дама, — вы очень высоко ставите Ставассера?

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

Дама смутилась и покраснела. Это оживило чересчур бледное лицо.

— Еще утром меня поразило, что вы так внимательно на нее смотрели, — ответила она, чуть запнувшись.

С тех пор прошло полгода. Владимир уже бывал дома у Ольги Васильевны. Жила она на тихой уличке вдвоем со старушкой-матерью и работала обыкновенным бухгалтером. Почти ровесница Владимира, Ольга Васильевна успела побывать замужем и разойтись.

Казалось бы, самый подходящий объект для очередного романа, но этого как раз не произошло. Ольга Васильевна не допускала в отношении себя ни одной вольности, держалась независимо, на товарищеской ноге. Вместо привычной для него легкой связи, получалось что-то совсем новое. Владимир чувствовал, что начинает переживать нечто, похожее на первую любовь. Не по мне эта женщина, — думал он часто, но разорвать уже было не под силу. Зина, привыкшая к изменам, на этот раз учуяла что-то более для себя опасное и начала нервничать. Привычный и естественный ход жизни был нарушен.

Кончив курить, Владимир встал.

Лидия Николаевна слегка застонала и проснулась. Владимир, не оборачиваясь, спросил, как она себя чувствует. Накануне у нее болела голова.

— Ничего, кажется лучше, — ответила она разбитым голосом.

Владимир знал, что мать страдает от того, что уже наступила старость, что, как женщина, она уже вышла из строя, что надвигается неизбежный конец. Лидия Николаевна, как все люди, жившие чувственной животной жизнью, боялась смерти. Владимир понимал это и последнее время сам всё больше и больше стал думать о неизбежной развязке. — Павел молодец, — думал Владимир, — при его образе жизни и настроениях умирать не страшно. Любовь и уважение к брату, даже гордость

за то, что в этой бессмысленной и тяжелой жизни есть люди, смело выступающие на неравную борьбу, всё больше и больше укреплялись в сознании Владимира.

Павел молодец, — подумал Владимир еще раз с удовлетворением и вдруг вспомнил серьезные глаза Ольги Васильевны. Не мне, а ему ухаживать бы за этой женщиной... А что, в самом деле, если их познакомить? На минуту острое чувство ревности сжало сердце... Потом он вспомнил Зину, сцены ревности необходимость лгать и отговариваться. Когда-нибудь надо всё это распутать.

Лидия Николаевна встала, надела халат и, шлепая туфлями, прошла к туалету. В зеркале мелькнуло ее обрюзглое от сна лицо и голова в папильотках.

Какая мать по утрам безобразная, — подумал Владимир.

Войдя в комнату, Павел застал брата за работой. Взгляд его скользнул по засученным рукавам шелковой рубашки и добротному пиджаку, висевшему на стуле рядом... Чорт его знает, хожу до сих пор оборванцем, надо одеться, а как это сделать, неизвестно.

— Как всегда, занят, — сказал он, протягивая Владимиру руку.

— Сейчас кончу, — ответил тот почти ласково.

— Не мешаю?

— Я тебя всегда рад видеть.

Павел сел.

— А где тетя Лида?

— Обед готовит.

Павлу стало неприятно, что он опять попал к обеду: подумают, что нарочно так прихожу. В душе поднималась горечь. Настроение у Павла было неважное. Всё больше и больше тяготила мысль, не слишком ли он замарался работой на канале. Надо уходить, — думал он почти с таким же чувством, с каким Владимир

думал о том, что надо распутать отношения с Ольгой Васильевной и Зиной.

Кончив чертеж, Владимир осторожно расправил засученные рукава и сел напротив брата, прямо уставив на него синие тоскливые глаза.

— Думаю уходить с канала, — сказал Павел.

По лицу Владимира пробежала тень — только устроился и опять что-то затевает. Павел уловил эту тень и рассердился.

— Я поступил на канал только с целью прописаться под Москвой.

У него всегда всё размеренно, целеустремленно и смело. Владимир почувствоал гордость за брата: он, наверно, никогда не запутывался в личных делах так, как запутался я...

— Ты бы хоть дал себе небольшую передышку после концлагеря, — сказал Владимир.

— В моем положении самое опасное давать себе передышку, — ответил Павел.

— Знаешь что, мы сейчас с тобой пообедаем и пойдем вместе, я хочу тебя познакомить с одной дамой. Ты не думай, — вдруг покраснел Владимир, — не такая, как мои обычные, тебе будет любопытно.

Павел с сомнением взглянул на запыленные сапоги и поношенные черные галифе и, внутренне досадуя, ответил:

— Ну что же, я сегодня весь день свободен — пойдем.

Тяжелая дверь парадного открылась и на пороге, жмурясь от внезапно ударившего в лицо света, появилась высокая блондинка. Увидев молодых людей, она смутилась, наклонила голову на бок и вопросительно посмотрела на Владимира.

— Я уже говорил вам о своем брате, это и есть Павел Истомин.

— Зачем он меня с ней знакомит? — Павел почувствовал неловкость.

— Пойдемте в тень, тут рядом небольшой парк, — сказала Ольга Васильевна.

На желтой, заросшей по бокам травой дорожке трепетали тени нежных весенних листьев, пахло сыростью.

Павла охватило жгучее, беспокойное ощущение, что он уже раз был в этом парке. — Да, вспомнил! В деревне, в год смерти матери, мы с Натой, пошли на станцию, там был похожий парк.

— О чем вы так задумались? — Павел даже вздрогнул от этого чужого голоса.

— Просто мне показалось, что я когда-то уже был здесь.

— А знаете, со мной это тоже бывает, — сказала Ольга Васильевна, — когда я попадаю в новые места, мне часто кажется, что я уже их раньше видела, — говорят, что есть учение о переселении душ.

Павлу стало досадно: ломается и интересничает.

— По Марксу вообще никаких душ нет, стало быть, и переселение их невозможно, — сказал он с иронией.

Ольга Васильевна не рассердилась, не обиделась, но как-то вдруг съежилась и погасла. Павлу стало жаль ее, она, действительно, думает то, что говорит.

Все трое остановились около серой скамейки.

— Итак, что мы будем сегодня делать? — спросила Ольга Васильевна.

— Я должен извиниться и оставить вас, — неожиданно сказал Владимир деревянным голосом, — у меня срочная работа.

Ольга Васильевна вопросительно посмотрела на него.

— Вы меня простите, я, действительно, должен уходить, — Владимир наскоро пожал обоим руки и зашагал по желтой, заросшей с боков дорожке.

Что же это такое? Сватать он меня, что ли заду-

мал? — рассердился Павел, но сейчас же сдержался: не хотелось обижать Ольгу Васильевну.

— Давайте посидим в тени, здесь так хорошо, — сказал он.

Ольга Васильевна села, смущенная странным поступком Владимира.

— Брат ваш много рассказывал мне о вас, он вас очень любит.

— Мы росли вместе, — ответил Павел, не зная о чем говорить. — А вы давно уже знаете брата?

— Около полугода. Знаете, вы меня простите за откровенность, — вдруг повернулась она к Павлу, — я знаю, что вы имеете на Владимира большое влияние... Это так, я в этом уверена, я его тоже несколько узнала за эти полгода, он очень несчастный... запутавшийся в жизни человек, ему надо помочь, он этого заслуживает и только один вы можете это сделать.

Павел ожидал чего угодно, но не такого оборота дела.

— Я знаю, — продолжала она, с трудом преодолевая природную застенчивость, — что у него есть очень старая связь с одной бывшей одноклассницей. Это, конечно, не мое дело, но я уверена, что он должен на ней жениться, иного выхода ему нет. Но ему надо помочь, и сделать это можете только вы.

Ольга Васильевна замолчала, вдруг совсем успокоившись.

Павел попал в затруднительное положение. Житейский опыт его был велик, но не в этой области. Может быть, она сама влюблена во Владимира и весь этот странный разговор вызван ревностью? Но то, что она сразу успокоилась, говорило об обратном.

— Откровенность за откровенность, — сказал он, — я не знаю личных дел брата, но, конечно, если что-либо смогу сделать, то сделаю, тем более что, по моим наблюдениям, он во многих отношениях стал изменяться к лучшему.

— Простите меня за не к месту начатый разговор, — поднялась Ольга Васильевна, — а сейчас мне пора идти. Если вздумаете ко мне зайти, вот вам мой адрес. Я и мама будем очень рады. — Она пожала крепко, по-мужски, руку Павла и пошла по той же дорожке, по которой незадолго перед этим уходил Владимир.

— Разрешите вас проводить, — догнал ее Павел...

Глава одиннадцатая

НА КАНАЛЕ

Григорий работал на постройке электростанции. Ему с самого начала не повезло в том отношении, что он сумел устроиться только у самой Волги, слишком далеко от Москвы, чтобы пытаться прописываться и уходить с канала. Зато Григорий решил стать настоящим специалистом. Расчет Григория состоял в том, чтобы после окончания строительства остаться работать на построенной им электростанции. Он подобрал очень хороший штат сотрудников. Главным помощником у него был старый опытный монтер, старообрядец. Счетовода, бывшего чекиста, Григорий сумел отправить с этапом под Москву, куда брали, главным образом, «социально близкий» элемент, и заменил его другим старообрядцем, приятелем монтера. Остальной штат состоял сплошь из 58 статьи. Непосредственное начальство Григория — начальник работ участка — был, к счастью, старый специалист, не стремившийся ни к какой карьере, а, наоборот, старавшийся держаться незаметнее.

Григорий прекрасно знал, что на каждом объекте должен быть осведомитель секретной части, и его тактика защиты сводилась к тому, чтобы знать, кто именно является осведомителем, и чтобы такой осведоми-

тель не был дурак и был бы хоть сколько-нибудь покладистый парень. Ловко отделавшись от счетовода, Григорий делал всякие поблажки одному из монтеров, веселому, бесшабашному и беспринципному малому, бывшему радисту Черноморского флота, подцепившему два года лагеря за самовольную отлучку. Петька до ареста был в партии и поэтому в лагере к нему было особое доверие. Григорий знал, что Петька каждую неделю ходит в секретный отдел и, стало быть, сообщает о ходе дел на постройке электростанции. Он нарочно приблизил Петьку и оставлял его на ночные дежурства, зная, что Петька использует их для посещения девушек в близлежащей деревне. Связав его таким образом, Григорий умело дезинформировал секретную часть о политических настроениях монтеров. Старший монтер Морозов скоро понял тактику Григория и всячески помогал ему тем, что нарушения лагерной дисциплины, вроде нелегальной покупки вольного хлеба в соседней деревне или ночных посещений дежурными монтерами колхозных картофельных полей, расположенных около станции, делались так, что Григорий мог ни о чем не знать. Григорий, конечно, знал, но хлеб приносил тот же Петька, а молодая картошка копалась «с умом» — ботва всегда остается целой, а борозды аккуратно заравниваются. Хлеб и картошка играли колоссальную роль для заключенных, и только на электростанции у Григория были такие возможности, поэтому работой у него дорожили и самым страшным наказанием был перевод на другую работу.

Однажды утром в выходной день, когда Григорий хотел пойти посмотреть, всё ли в порядке на объекте, в комнату ворвалась Леночка. С тех пор, как братья освободились и стали работать в непосредственной близости от Москвы, Леночка ожила и расцвела: ей теперь было легче и морально и материально.

— Привезла письмо от Павла, — сказала она, садясь на табуретку.

— Как дела? — спросил Григорий ласково, беря конверт.

— Хорошо, — ответила Леночка, сияя счастливыми глазами, — договорились с Алешей сегодня идти в театр, надо теперь спешить возвращаться. Ты прочти скорее, может быть, надо будет что-нибудь ответить.

Павел и Григорий официально не общались: связь, поддерживаемая между старыми однодельцами, могла привести к печальным последствиям. Письмо было очень лаконичным: Павел передавал просьбу Бориса, сообщая, что некто Михаил Артемьев, человек свой, находящийся в лагере в отделении Григория на общих работах, передал на волю, что больше двух недель не выдержит. В прошлом Артемьев мельник, надо его немедленно вытянуть на легкую работу. Григорий задумался: штат полный и зачем на электростанции мельник?

— Передай, что сделаю всё, что возможно. Писать ничего не буду.

— Павел хочет уходить с канала, — сказала Леночка. — По-моему, это очень рискованно: на канал его больше не возьмут, а устроиться в столице, имея за плечами судимость, просто невозможно.

Известие о решении Павла взволновало Григория: быстро он действует, а я, дурак, осел в этой дыре. Григорию стало обидно и грустно.

На другой же день утром Григорий сидел в кабинете начальника работ.

— Зачем вам еще работник? — с удивлением посмотрел на него начальник работ. — На соседнем участке прорыв, стоит вопрос о переброске туда части наших рабочих, а вы хотите расширить штат. Это невозможно.

Григорий уже исчерпал все изобретенные накануне аргументы. Если Борис просил за человека, значит

надо выручить, но как? Григорий посмотрел на суровое лицо инженера. — Едва ли я в нем ошибаюсь — наш человек, надо рисковать. Григорий невольно оглянулся, плотно ли закрыта дверь, и сказал ровным, уверенным голосом:

— Анатолий Иванович, это дело личного, интимного порядка: на общих работах погибает человек, которому я лично обязан. Мне надо его спасти. Я только вчера узнал, что он здесь, на земляных работах, и не сегодня-завтра сляжет от истощения.

Взгляд инженера дрогнул, на мгновение в нем появилось недоверие. Потом он стал еще более суровым.

— Александров! — крикнул прораб секретарю. Григорий замер. — Неужели продаст? — пронеслось в его голове...

— Александров, — сказал прораб безразличным деловым тоном вошедшему секретарю, — товарищу Сапожникову нужен новый специалист для очень спешных монтажных работ. Фамилию кандидата он вам скажет сам. Напишите срочное требование в учетно-распределительную часть. Выполнение плана требует немедленной присылки этого специалиста на наш участок. Товарищ Сапожников, — обратился он строго к Григорию, — вы поедете сами с моим требованием и проследите за тем, чтобы всё было сделано быстро. Можете идти.

Начальник учетно-распределительной части, чекист-латыш, подозрительно повертел в руках требование и спросил:

— А почему вам нужен именно этот заключенный?

— Хорошие специалисты уже разобраны, а мои монтеры говорят, что знают этого, как его... — Григорий сделал вид, что забыл фамилию и прочел ее по бумажке... — как хорошего специалиста, скрывшего свою специальность.

— Почему же он скрыл свою специальность? — насторожился чекист.

— Срок у него короткий, — ответил Григорий, — и он, повидимому, боится, что после освобождения его задержат в качестве вольнонаемного.

Объяснение вызвало как раз нужную реакцию.

— В таком случае мы его немедленно выявим и пришлем к вам, — сказал чекист и тут же приказал секретарю принести учетную карточку.

Григорий ждал с замиранием сердца: что если мои сведения неверны и у него большой срок или еще что-нибудь совсем неожиданное?

— Да... — сказал начальник У.Р.Ч., пробегая злыми глазами принесенную карточку, — возможно, вы и правы. Срок у него всего три года и освобождается он через два месяца.

Камень упал с души Григория.

— Числится он мельником и работает на общих работах... Очень может быть, что мерзавец действительно скрыл специальность. Мы его к вам срочно пришлем, а вы дайте, пожалуйста, свой отзыв.

Борис просил Григория и Павла помочь тому самому мельнику Мишке, у которого он с Любой скрывался на хуторе в 1930 году после ареста товарищей. Вскоре после отъезда Бориса Мишка, чтобы не быть раскулаченным, бросил мельницу и переехал в соседний городок, где устроился на государственной мельнице. В 1932 году на мельнице были обнаружены хищения. Сам Мишка был виновен только в том, что собирал просыпавшуюся из мешков муку, набивал ею карманы и этим подкармливал семью. Это преступление не было обнаружено. Попал же он по подозрению в соучастии в крупном хищении, за которое был расстрелян заведующий мельницей. Мишка, как бывший лишенец, по особой милости суда получил всего три года концлаге-

ря и попал на канал. На беду связь с Борисом прервалась и жена Мишки сумела ее восстановить только, когда он уже досиживал срок. Мишка непоколебимо верил во всесильность Бориса, несмотря даже на то, что Борис не мог возглавить вооруженное восстание в 1930 году.

За три года работы Мишка исхудал и почти доканал степное здоровье. Оставалось два месяца до освобождения, а сил уже не было. Мишка не выполнял нормы и с ужасом чувствовал, что уменьшенный, благодаря этому, паек не сегодня-завтра сведет его в могилу. Мишка молился, надеялся, падал духом и гадал на бобах. Бобам Мишка верил с наивной непоколебимостью, всегда возил их с собой в маленьком грязном мешочке, а в минуту жизни трудную, уединившись где-нибудь в углу барака, подбрасывая вверх, следил за их расположением после падения.

Чем больше слабел Мишка, тем чаще он прибегал к бобам. Последнее время бобы неизменно показывали резкое изменение судьбы Мишки к лучшему. — Спасусь как-нибудь, — думал Мишка с новой надеждой, а сил оставалось всё меньше. От слабости Мишка перестал бриться и умываться. Возвращаясь из котлована и проглотив жидкий суп — второго Мишка не получал, как невыполняющий норму выработки, он ложился на нары и моментально засыпал, как в бездну проваливался. Однажды, проснувшись утром, Мишка почувствовал, что не может себя заставить встать. — Пускай расстреляют за отказ, — подумал он, — всё равно двух месяцев не дотяну. Эх Боря, Боря, видно, не получил письма от жинки, не знает. Мишка закрыл глаза и накрылся тряпьем. — И бобы соврали, — подумал он с отчаянием, хоть бы лечь понезаметнее, чтобы подольше не увидели. Когда Мишка услышал голос бригадира, он был уверен, что тот пришел, чтобы силой погнать его на работу, и сделал вид, что ничего не слышит.

— Вставай, чорт! Тебя, дурака, куда-то вызывают, пришло срочное распоряжение.

Миша поднялся и протер глаза. Вот они, бобы-то, так оно и есть — перемена судьбы — значит выживу.

Когда Григорий подходил к дощатому зданию канцелярии своего объекта, навстречу вышел Морозов с удивленным выражением лица.

— Прислали нового специалиста, гражданин начальник, — какой-то чудной, совсем дикий и того гляди загнется.

— Опять надули, — ответил Григорий, изображая на лице негодование, — говорили, что пришлют высококвалифицированного техника.

— Какой там техник! — язвительно усмехнулся Морозов. — Обыкновенный неграмотный мужик.

Войдя в канцелярию, Григорий увидел в углу скорбную оборванную фигуру заключенного. Фигура сидела на корточках, острые колени необыкновенно худых ног почти упирались в подмышки; длинный острый нос безнадежно свешивался к земле. Заключенный спал.

— Доходяга... — мрачно протянул Морозов, перестав улыбаться.

— Вот что, ребята, — сказал Григорий, — такого грех выгонять. Пусть сегодня отдохнет. Проведите его, как подсобного рабочего, потом разберемся.

Через три дня Мишка, которому выводилась полная норма, отдохнул, отъелся и стал проявлять признаки жизни. Григорий не говорил о нем с Морозовым, Морозов не говорил с Григорием, а счетовод аккуратно выводил сто процентов выработки, хитро комбинируя различные работы таким образом, что нельзя было понять, каков Мишка, как специалист.

Григорий дал Морозову денег и велел достать Мишке вволю хлеба. Через две недели Мишка стал при-

обретать человеческий образ. Однажды Григорий улучил момент, когда никого не было близко, и спросил Мишку:

— Петрова Бориса знаешь?

Потолстевшее лицо Мишки озарилось радостной улыбкой.

— Знаю, — ответил он с гордостью.

— Так вот благодари его. Небось не ожидал?

— Как не ожидал? — обиделся Мишка. — А бобы то на что?

— Какие бобы? — не понял Григорий.

— А я на бобах хорошо гадаю, гражданин начальник.

— Ну, и что же?

— А то, что по бобам я уже давно знал, что судьба моя несчастная переменится.

— Вы хотите уходить со строительства? — глаза начальника работ зло забегали.

— Я чувствую, что не справлюсь: по специальности я филолог, а не снабженец.

Начальник работ побагровел от негодования. Павел знал, что начальник сам только ждет случая, чтобы его уволить, но психология большинства советских начальников такова, что если человек, от которого они хотят избавиться, приходит сам просить об увольнении, это вызывает самое крайнее раздражение.

Два человека застыли, разделенные широким рабочим столом, с нескрываемой ненавистью смотря друг на друга. Павел презирал начальника за карьеризм, построенный на костях заключенных. Начальник работ ненавидел Павла за то, что этот освободившийся контрреволюционер имеет смелость поступать посвоему и отказывается от материальных благ из-за каких-то неясных соображений, косвенно осуждающих его собственное поведение. Зазвонил телефон. Началь-

ник работ взял трубку и Павел понял из отрывочных слов, что это звонит начальник участка.

— У меня сейчас сидит Истомин, — сказал начальник работ, кончая разговор, — он просит увольнения. Как вы думаете?.. Прислать к вам?.. Хорошо, сейчас. Идите к начальнику участка, — обратился он ехидно к Павлу, вешая трубку, — это скорее его, чем мое, дело.

Начальник участка сидел один в большом, хорошо обставленном кабинете на мягком кожаном кресле. Когда Павел вошел, он что-то писал и, не отрываясь от работы и не поднимая глаз, невнятно пробормотал:

— Садитесь...

Обращать на себя внимание в СССР всегда опасно, — подумал Павел. — Если они учуяли хотя бы то, что я восстанавливаю старые знакомства? Кроме того, они могут сообщить в милицию, что я ушел от них и поэтому теряю подмосковную прописку...

Чекист поднял от стола холодное, надменное лицо и иронически посмотрел на Павла.

— Почему вы вздумали вдруг уходить? — спросил он лениво.

— Я чувствую, что не справлюсь с работой и очень боюсь получить новый срок за какую-нибудь оплошность.

Чекисты любят, когда их боятся. Павел сразу понял, что его ответ кажется убедительным и произвел хорошее впечатление.

— А почему вы так часто застревали в Москве, когда ездили туда по делам строительства?

Дрожь пробежала по спине Павла: хуже всего, когда чекисты начинают говорить ласково.

— Мне всего двадцать шесть лет, товарищ начальник, я не видел женщин около пяти лет.

Чекист снисходительно улыбнулся.

— Я знаю, что вы не воровали и не пьянствовали, — сказал он покровительственно.

В таком месте и такая добродетель! — подумал про себя Павел, и, мгновенно используя создавшееся положение, почти инстинктивно обратился к начальнику с просьбой дать ему рекомендацию для устройства на работу по специальности. Маневр этот был очень опасен потому, что, спасаясь от подозрения в контрреволюционной деятельности, Павел мог создать впечатление моральной капитуляции и готовности работать осведомителем. Эта мысль пришла ему в тот момент, когда он кончал излагать просьбу. — Нет, начальник слишком играет в вельможу: вербовка такого ничтожества, как я, в осведомители для него чересчур мелкое дело, — решил Павел.

Чекист, видимо, удивился смелости Павла и ответил в том же снисходительном тоне после краткого раздумья, что в случае необходимости Павел может на него сослаться.

— Еще одно сражение выиграно, — думал Павел, выходя из кабинета.

Глава двенадцатая

КУЗЬМИЧ

Лука Кузьмич Курбатов — Кузьмич, как его обыкновенно называли крестьяне, уехав еще в 1930 году в Сибирь, переменил фамилию и сделался шофером. Специальность эта очень помогала скрываться. Кузьмич постоянно был в движении, а при перемене работы легко устраивался заново. Сложнее было с семьей. Переменив несколько раз место жительства, жена Кузьмича, наконец, устроилась в совхозе, но видеться с ней Кузьмичу попрежнему было опасно. Кузьмич измучился и окончательно озлобился на советскую власть. Он знал, что жена болеет и работает через силу,

а ребятишки отбились от рук без отцовского присмотра. Сам Кузьмич устал от постоянного страха ареста и кочевого образа жизни. Он постоянно вспоминал про Бориса и Григория, но связь с ними прервалась. — Эти ребята могут кое-что сделать, только почему они так против террора? — Кузьмичу хотелось мстить за себя и за загнанный в колхозы и концлагеря народ.

Однажды, приехав на одну новостройку, он вдруг увидел Бориса.

— Борис Петрович! — вырвалось у Кузьмича, — не чаял встретить...

Вечером Кузьмич сидел в маленькой комнатке Бориса. Между ним и Борисом возвышался литр и стояла закуска.

— Переезжаю в Москву, — говорил Борис, — непременно пиши, вот адрес, ты можешь нам очень понадобиться.

— Эх, Борис Петрович, — говорил разочарованно Кузьмич, — зря ты против террора: надо их, сволочей, бить, где можно.

— Террором ничего не добьешься, — возражал Борис, — до крупных коммунистов не достанешь, а уничтожать мелочь нет смысла. Самое главное, за одного своего они десять наших уничтожат.

— Пусть уничтожают, — озлобился Кузьмич. — Пусть дураки сопротивляются! Если все начнут коммунистов бить, власть долго не продержится.

— Для того, чтобы все сразу начали, нужен подходящий момент, — ответил Борис. — Подожди, война начнется, тогда другое дело.

— Ну, прощай, — сказал Кузьмич, исподлобья глядя на Бориса, — война-то будет или нет, а пока они нас без войны всех уничтожат.

— Всех не уничтожат, за нами целый народ, — ответил Борис уверенно.

Расстались Кузьмич и Борис суше, чем встретились.

Стосковавшись по семье, Кузьмич решил рискнуть и устроился трактористом в тот совхоз, где работала жена, но после месяца работы почувствовал слежку и, от греха подальше, перешел на расположенную около железной дороги машинно-тракторную станцию. Сделал он это, как всегда, быстро и решительно, заметя следы. Через три дня Кузьмича неожиданно вызвал директор.

— Автомобилем править можешь? — спросил он.

— Могу, — ответил Кузьмич, сразу заметив, что директор пьян.

— Надо отвести срочно НКВД в совхоз... — Заплетающийся язык назвал совхоз, где жила семья Кузьмича.

— Много? — спросил Кузьмич, настороживаясь.

— Троих, — ответил тот икая. — Только помни, за это дело отвечаешь головой. Смотри, чтобы всё было в порядке!

Кузьмич вышел, как в тумане. — Что это — ловушка или глупость врага? — размышлял он. — Они едут, конечно, кого-то арестовывать, конечно, они не сказали директору кого. Наверно, это донос на моих или на меня самого, но почему он поручает это мне? Наверно, так пьян, что ничего не может сообразить, — — решил Кузьмич.

Постепенно возбуждение стало переходить в дикую злобу. Кузьмич скрипнул зубами, заправляя в темноте трехтонку. Не дают жизни, сволочи... ну, постойте!

Заправив автомобиль, он зашел в общежитие, взял чемодан с вещами так, что этого никто не заметил, вынес и спрятал в автомобиле под брезентом, вернулся, достал из бумажника адрес Бориса, несколько раз внимательно прочитал его, запомнил и разорвал.

— Куда это ты собираешься? — спросил сосед по койке.

— Какое-то начальство велят отвести в совхоз, — буркнул Кузьмич и вышел.

— Скорее, скорее! — бросился к Кузьмичу директор.

На крыльце канцелярии уже стояли три фигуры в военной форме. Двое кряхтя и ругаясь, полезли в кузов, один сел с Кузьмичом в кабину.

— Куда ехать? — спросил Кузьмич, выезжая за ворота.

— А тебе разве не сказали?

Сидевший рядом чекист повернул к Кузьмичу длинное лицо с большим курносым носом.

— Говорили в совхоз, а в какой, не сказали. Я думаю, что в Первомайский. — Кузьмич нарочно назвал другой совхоз. Чекист посмотрел пристально на Кузьмича и заговорил злым, раздраженным голосом.

— Поедешь в совхоз имени Калинина и чтобы потом ни с кем не трепаться.

— Знаю, — ответил Кузьмич спокойно, — не первый раз. Я в Новосибирске работал одно время шофером у уполномоченного.

Ложь попала в цель — чекист поверил. Он еще раз подозрительно посмотрел на Кузьмича и спросил:

— А в этом совхозе ты уже бывал?

— Бывал, — кивнул Кузьмич.

— А что, там семейные рабочие живут в общежитии или отдельно?

— Там три дома, — ответил Кузьмич, — в одном правление, в другом холостые и две или три семьи, в третьем только семейные.

Чекист задумался.

— А знакомые у тебя там есть?

Сердце Кузьмича забилось.

— Я, когда зимой туда приезжал, ночевал у трактористов, — ответил он небрежно.

— А после зимы не был? — впился в него глазами чекист.

Автомобиль медленно, прыгая на ухабах, ехал по грязной дороге.

— Был месяца два назад, — Кузьмич уже чувствовал себя уверенно.

— А есть там новые трактористы?

Чувствовалось, что чекист хочет и боится расспрашивать дальше.

— Кажется, был кто-то новый, только, когда я приезжал, трактора работали в поле. А живут трактористы все в одном доме, — добавил он понимающим тоном.

— В каком?

— С холостыми вместе.

— Дом знаешь хорошо?

— Знаю.

— Подвезешь прямо к нему.

Кузьмичу теперь было ясно, что дело идет о его семье и о нем самом. — Пока донос дошел до центра, — соображал он, — пока сверились по картотеке... во-время я оттуда убрался!

Фары освещали однообразную черную ленту дороги, забрызганные грязью кусты по бокам и отсвечивали в лужах. Плохо, что один в кабинке и двое в кузове, — думал Кузьмич, — надо как-нибудь сразу всех... Что он будет действовать, Кузьмич даже не решал — это было неизбежно, как судьба; всё его существо автоматически, без колебаний, готовилось к борьбе. Что будет дальше, об этом Кузьмич будет думать потом, теперь хватит того, чтобы сообразить как разделаться с чекистами. Кузьмич знал, что в кузове лежит лом. Револьвера у него уже не было — пришлось спрятать в хорошем месте, слишком опасно было возить оружие с собой. Лом тоже штука хорошая. От сидевшего рядом чекиста пахло водкой, но пьян он не был. Те, в кузове, может напьются дорогой для храбрости? Нет, едут арестовывать, напьются потом, — соображал Кузьмич. Наконец, удачная мысль мелькнула в его

голове, он крепче сжал руль и даже повеселел. Чекист посмотрел на часы.

— Долго еще ехать? — спросил он.

— Два часа.

— Нельзя скорее?

— Постараюсь.

Кузьмич дал газу и автомобиль рванулся в темноту, подскакивая на ухабах. Сидевшие в кузове заругались и стали стучать в окно. Кузьмич немного уменьшил ход. Впереди разверзлась выёмка глубокого оврага, дорога пошла круто вниз. Из-под колес полетели брызги и куски грязи; на дне оврага было много больших, подернутых грязной пленкой луж. Теперь автомобиль полз по грязи, буксуя и переваливаясь с боку на бок, медленнее... медленнее и, наконец, застрял, попав правым колесом в глубокую выбоину, полную воды и липкой грязи. Кузьмич выругался и выскочил из кабинки. Небо было темное, мутное, тяжелым пологом навалившееся на землю. Кузьмич зажег фонарь «летучую мышь» и осмотрел колесо: автомобиль застрял ровно настолько, насколько он хотел.

— Ничего, товарищ начальник, не поделаешь, — сказал Кузьмич, возвращаясь к кабине, — надо поднять колесо и что-нибудь под него подложить. У меня в кузове есть хорошая вага, придется вам подсобить.

Чекист зажег электрический фонарь, вышел из кабины и сказал сидевшим в кузове товарищам: «Выходите помогать!». Те выругались и начали медленно спрыгивать в грязь. Кузьмич в самом деле достал тонкое двухметровое бревно из кузова и круглое полено, которое положил около колеса, разгреб лопатой грязь и ткнул под шину вагу.

— Теперь вы все беритесь за вагу, а я подложу полено, — командовал он.

Два чекиста взялись за вагу и сразу все наклонились; третий, тот, который сидел с Кузьмичом в кабине, остался стоять на шаг в сторону и закурил папи-

росу. — Вот сволочь! — подумал Кузьмич. — Ну, была не была...

Молниеносно выхватив из кузова железный лом, он крикнул бодрым голосом: «Раз, два — взяли!». Чекисты навалились еще, и правый борт автомашины начал медленно подниматься из грязи. Кузьмич взмахнул ломом и ударил со всей силы, стараясь попасть сразу по двум черепам. Раздался неприятный глухой звук от удара и хруст костей. В следующий момент Кузьмич поднял лом и бросился к третьему чекисту. Тот громко вскрикнул и отскочил в сторону. Только вторым ударом Кузьмичу удалось попасть третьему по боку и сбить его с ног. Сейчас этому еще раз по голове и опять к тем двоим — пронеслось в воспаленном мозгу Кузьмича. В это время сбоку блеснул свет и что-то сильно ударило его в челюсть. Одного из двоих не добил, — подумал Кузьмич, теряя сознание и захлебываясь кровью.

....

До Бориса только через полгода дошли неясные слухи о том, что Кузьмич погиб, а семья его исчезла в недрах НКВД.

Глава тринадцатая

ШТУРМ МОСКВЫ

Павел уже в течение трех месяцев не мог найти работу. Однажды, когда он зашел к Осиповым, Николай встал к нему навстречу и сказал:

— Хорошо, что зашел — есть надежда на работу, пойдем скорее!

Дорогой Николай рассказал, что редакция, в которой он надеялся устроить Павла, нуждается в людях, способных проводить черновую обработку материалов,

извлекаемых из различных архивов, выискивать эти материалы, проверять их достоверность и уже в подготовленном виде передавать литературоведам-марксистам, которые перекраивают их на свой образец.

— Работа трудная, неблагодарная и поэтому есть шансы на нее устроиться. Я тебя познакомлю с одной дамой — бывшая меньшевичка, теперь совсем наша, — говорил Николай.

В длинном вестибюле стояло несколько скамеек и он служил отчасти приемной, отчасти курительной комнатой редакции. На вызов Николая вышла немолодая дама с блестящими, озорными глазами.

— Сядемте подальше, — сказала она, здороваясь и проходя ближе к выходу, — здесь меньше бывает народу. Курите?

— Нет, — ответил Николай.

— Простите, я и забыла, что вы дали монашеские обеты! — В глазах забегали огоньки, но в шутке не чувствовалось никакой враждебности.

— Итак, Антонина Георгиевна... — начал Николай.

— Итак, Николай Алексеевич, — ответила дама, — место есть и его замещение зависит от меня. Я могу дать договорную работу, при которой можно избежать оформления в отделе кадров и заполнения анкет, но... есть существенное но — надо для общей пользы сделать так, чтобы ваш приятель пришел с рекомендацией со стороны.

Павел задумался — предприятие грозило срывом. Вдруг блестящая мысль пришла ему в голову.

— Эврика! — сказал Павел, — я знаком с женой одного наркома.

Глаза Антонины Григорьевны стали совсем озорными.

— Принесите от нее рекомендацию, остальное я беру на себя.

Через полчаса Павел входил в шикарный вестибюль привилегированного советского учреждения. С наркомшей Павел познакомился незадолго до своего ареста, случайно, у одного из своих многочисленных знакомых. Дама эта пользовалась некоторой известностью за широкий образ жизни и взбалмошный характер. Были случаи, что она доносила на знакомых, но, наряду с этим, она многим помогала и любила оказывать покровительство. В свое время, разговорившись с Павлом, она предлагала ему свое содействие для устройства в Москве по окончании университета. Павел был накануне у знакомого, у которого тогда с ней встретился, и узнал, что Ирина Андреевна в силе и к ней можно обратиться.

Павел поднялся в приемную, полную народа. Когда он назвал фамилию Ирины Андреевны, секретарь попросил его подождать и исчез за дверью. Через несколько минут на пороге появилась величавая фигура наркомши. Высокая, черная, в собольей пелерине она выглядела очень эффектно. Даст или не даст рекомендацию, — думал Павел, подходя к ней.

— Вы меня, может быть, не помните, — я познакомился с вами у...

— Почему не помню? Помню, — протянула она низким грудным голосом.

Если она знает, что я сидел, мое дело дрянь. Да и по костюму можно догадаться, — соображал Павел.

— Я хотел обратиться к вам с просьбой...

На лице Ирины Андреевны показалась ободряющая улыбка.

— Я хочу поступить в издательство к товарищу Островскому и попросил бы вас рекомендовать меня ему, — продолжал Павел.

Благосклонная улыбка сменилась недоумевающим выражением.

— Что это вы вздумали? Это очень известное из-

дательство, близкое к ЦК партии — там бывают разные проверки.

Сердце Павла упало. Не хочет?

— Если хотите, я вам напишу письмо к этому самому Островскому, только не советую, — она вопросительно глядела на Павла.

Сказать ей, что я сидел или нет? — думал Павел.

— Я бы вас всё-таки попросил, если вас это почему-либо не затрудняет...

— В таком случае подождите немного. — Ирина Андреевна величественно повернулась и исчезла за высокой дверью.

Прошло минут десять, пока она отсутствовала. Кругом Павла сновали люди с портфелями, а он сидел на мягком кресле и думал. Противно было просить у коммунистки рекомендацию — пришлось. Противно было работать на канале — пришлось. Всё время приходится идти на какие-то компромиссы. Насколько приятнее было бы сразу решиться на открытую борьбу и погибнуть, не теряя чести, с гордым сознанием своей правоты. Ничего не сделаешь: чтобы спасти родину, надо идти на компромиссы. Спасти родину... не слишком ли это звучит дерзко, напыщенно? Не есть ли это простое объяснение своей неспособности идти на жертву? — мучился Павел.

В дверях опять появилась Ирина Андреевна.

— Вот, — сказала она, протягивая письмо, — отнесите на квартиру и передайте лично.

Несчастные! — подумал Павел. — Боятся друг друга, боятся даже в открытую кого-либо рекомендовать.

— Ну, всего хорошего! — Холодная рука с длинными полированными ногтями лениво протянулась к Павлу.

— Я хотел вас предупредить, — сказал он, ощущая в своей руке нежную кожу ее пальцев, что я только что отбыл срок за контрреволюцию; возможно, это бу-

дет препятствием для того, чтобы вы меня рекомендовали. Я могу вернуть ваше письмо.

Выражение ее лица нисколько не изменилось.

— Я это знала, — сказал густой низкий голос, — поэтому я вас и предупреждала.

— В таком случае я благодарен вам вдвойне...

Пройдя вестибюль, в котором накануне разговаривал с Антониной Георгиевной, Павел поднялся по лестнице в секретариат издательства. Томная секретарша с загадочными глазами пошла докладывать. В комнате работало много народу. Осмотрев поле битвы, Павел увидел стол, который не мог быть ничем иным, как столом отдела кадров. Белокурый, упитанный мужчина в кожаной куртке склонился над папками.

— Товарищ Островский просит вас в кабинет.

Обращение секретарши заметно изменилось — видимо, она узнала, от кого пришел Павел.

Большой, заставленный шкапами кабинет, мягкий ковер, за широким столом круглая, похожая на моржа, голова, прямо всаженная в прекрасно сшитый серый костюм, мутные глаза...

— Присаживайтесь, — бурчит сиплый голос, — я сейчас вызову заведующую справочным отделом.

Павел сидит в небрежной позе, стараясь ничем не выдать волнения. Его знакомят с Антониной Георгиевной; она, как и он, ничем не выдает того, что они уже знакомы. Она смотрит вопросительно недоброжелательным взглядом.

— Вот, — бурчит товарищ Островский, смотря куда-то мимо обоих собеседников, — жена народного комиссара — товарищ Островский четко называет фамилию, — рекомендует нам товарища Истомина в качестве подходящего кандидата для работы в справочном отделе. Если вы можете его использовать, я, со своей стороны, буду очень рад... — Товарищ Остров-

ский, повидимому, совершенно уверен в отрицательном ответе Антонины Георгиевны.

— Да, у меня есть работа, — говорит она недовольным тоном. Можно подумать, что она боится отказать человеку, рекомендованному женой наркома.

На лице товарища Островского изображается растерянность и удивление, но игра им уже проиграна. Он зовет томную секретаршу и просит сейчас же оформить Павла на договорную работу. Павел пожимает толстую вялую руку и выходит из кабинета. Теперь самое страшное — надо избежать анкеты. Секретарша ведет Павла к столу начальника кадров и что-то тихо говорит ему. На розовом лоснящемся лице человека в кожаной куртке появляется подобострастие, он встает и вежливо протягивает Павлу анкету.

Ясно — на четвертой странице анкеты есть вопрос о судимости! Антонина Георгиевна говорила, что договорным работникам можно не заполнять анкеты, но она осталась в кабинете. Что делать? Один неверный шаг и всё погибло! — думает Павел.

Павел медленно отходит от стола, еще не зная, что делать. В этот момент из кабинета директора выходит Антонина Георгиевна. Павел идет к ней с анкетой в руках.

— Когда можно приступить к работе? — спрашивает он, показывая глазами на анкету.

— Завтра, — сухо отвечает Антонина Георгиевна, беря анкету и бросая ее в корзину с мусором. Черные озорные глаза делаются еще более озорными.

— Итак — до завтра, товарищ Истомин, — говорит она ледяным голосом, — дайте только свой адрес для оформления договора.

Благообразный старичок-делопроизводитель смотрит на Павла с недоверием и ненавистью. — Еще одного соглядатая прислали! — думает он.

Григорий в свободный день поехал в Москву к Павлу и Николаю.

— А, герой электрификации Советского Союза! — встретил его Алексей Сергеевич. — Как идет построение социализма в одном концлагере?

Григорий улыбнулся.

— Всякие бывают чудеса, — сказал он, — из них первое то, что вы до сих пор сами не строите социализм где-нибудь в северных районах СССР.

— Даже для посадки в тюрьму, видимо, не гожусь, — пробасил Алексей Сергеевич.

— Что нового? — спросил Григорий.

— Павла на службу устроили! — Глаза Алексея Сергеевича торжествующе блестели. — И Евгений освободился...

Не просиди Григорий четыре года в лагере, он, наверно, подпрыгнул бы от радости.

— А где Николай?

— Заделался научным работником, составляет всякие справочники и целыми днями сидит в библиотеке.

Знаю я, в каких библиотеках проводит время Николай, — подумал про себя Григорий, — про этого никто не знает, где он и когда бывает.

— А что, Павла можно найти?

— Можно, но не без труда, — ответил старик с хитрым видом, — он теперь живет в Москве.

— Как в Москве? — удивился Григорий.

— А так: прописан под Москвой, но там жить, собственно, даже и невозможно, и мы его устроили здесь у одного знакомого, конечно, без прописки — старик иронически улыбнулся. — А в деревне на его месте живет хозяин дома, тоже бывший заключенный, не имеющий права жить в стокилометровой зоне. Одним словом — сплошная конспирация!

— Это разумно! — сразу оценил Григорий всю комбинацию, — только как Павел узнает, если его внезапно вызовет милиция или сельсовет?

— И это всё предусмотрено. Дома у него лежит серия открыток, написанных им самим и оставленных у хозяина, всё на наше имя; в случае вызова, хозяйка немедленно бросает открытку, на другой день она у нас, а нам Павел каждое утро звонит по телефону... Я говорю — не жизнь, а сплошная конспирация!

Трам, там, там — застучал старик пальцем по столу, приходя в плохое настроение.

— Сплошной цирк, — добавил он, раздражаясь.

— Я, кажется, испортил вам настроение... — Григорию было жалко старика.

— Ничего, — ответил Алексей Сергеевич, смотря куда-то в сторону.

— Когда только всё это кончится! Лучше не думать... Нет, раньше, когда правили государи, а не милостивые государи, жилось легче. За весь девятнадцатый век в России казнили меньше тысячи человек, а кричали о кровавом царском режиме!

Григорий уже давно пришел к выводу, что царское правительство пало не потому, что было слишком строго, а потому, что было слишком мягко, но говорить на эту тему было неинтересно.

— Так где же мне найти Павла? — спросил он, переменяя разговор.

— Иди-ка ты к Евгению, повидайся, а к вечеру вернешься к нам — Николай будет дома и найдет Павла.

Мать, отец и старая няня Евгения сияли счастьем; няня, открыв дверь Григорию, расплакалась и долго не могла успокоиться. Евгений лежал на мягком диване на любимых с детства, вышитых матерью подушках, курил и наслаждался ощущением того, что он, наконец, в Москве. Григория все встретили, как родного.

— Ну что же, — спросил Григорий, — сперва в Тулу, а потом к нам на канал?

— Дудки! — лицо Евгения даже изменилось. — О

канцлагерях слышать больше не хочу, в лес гулять ходить не буду! Теперь мечтаю только о мещанском уюте, канарейках, фикусах и хозяйственной жене-домоседке.

— Ну, когда тебе надоест мещанское счастье без работы в Туле, приезжай на канал, — полушутя ответил Григорий и задумался — опять пример того, что длительного напряжения средние люди не выдерживают.

— Ты что вдруг скис? — спросил Евгений.

— Ничего, так, — работать некому.

— Ты всё об организации! — нахмурился Евгений. — Я тебе скажу честно: если начнется настоящее дело, я готов бросить даже семью, если она у меня к тому времени будет, а сейчас всё равно, кроме риска и болтовни, ничего не может быть. Ты не сердись, — поглядел он дружески на Григория, — я очень уважаю твое упорство, но я устал. Дайте мне немного отдохнуть и пожить спокойно.

....

Вечером Григорий долго говорил с Павлом и Николаем. Павел, окрыленный тем, что штурм Москвы удался, рвался к работе и вполне соглашался со всеми мыслями, высказываемыми Григорием относительно тактики борьбы в настоящих условиях.

— А как дела у мельника Мишки? — спросил Павел, прощаясь.

— Освободился! — с радостью вспомнил Григорий. — Так мы его до конца срока на станции и продержали. Вот вам еще пример: освободился свой надежный человек, а что ему можно поручить? — Григорий рассказал про гадание на бобах. — Придет время, такие ребята будут на вес золота, а пока штаб, штаб и штаб во что бы то ни стало, — закончил он.

Глава четырнадцатая

В ЕЛОХОВЕ

Павел по освобождении почти не бывал в церкви. В это время на весь город, вместо нескольких сот дореволюционных храмов, осталось всего около десятка незакрытых церквей. Лучшие священники и архиереи погибли в тюрьмах, лагерях и ссылках; к оставшимся относились с недоверием, — каждый из них мог оказаться секретным сотрудником НКВД. Из-за того, что прихожан на оставшиеся церкви было слишком много и для того, чтобы избежать недоверия со стороны верующих, обычная исповедь почти всюду была заменена исповедью общей. Священник выходил на амвон и говорил о покаянии, толпа в несколько сот человек каялась про себя, затем все по очереди подходили получить отпущение и при этом могли говорить со священником отдельно, если хотели. Почти то же самое было с крещением: крестили одновременно, нося кругом купели вереницу плачущих младенцев.

Архитектор Мельников, у которого жил нелегально Павел, был очень верующим человеком, любителем торжественных богослужений. От него Павел узнал, что все протодьяконы, по тем или иным причинам, перестали служить. Михайлов, лучший бас, любимый протодьякон святейшего патриарха Тихона, перешел, повидимому, не без нажима, в Большой Оперный театр и там быстро делал карьеру. Холмогоров, второй русский Шаляпин, был выслан из города и служил в провинции. Лебедев, еще лучший бас, чем Михайлов, был расстрелян, остальные арестованы, высланы или вынуждены перейти на сцену. Об архиереях и говорить не приходилось. Патриарший местоблюститель митрополит Сергий, став на путь компромисса, потерял любовь и уважение верующих. Служил он в храме Богоявления

в Елохове, в единственном незакрытом в Москве соборе. С тяжелым сердцем Павел поехал туда к обедне. Когда он входил, вспомнились прежние, так любимые им богослужения. Народу было много, но большинство уже составляли женщины. Пели слепые, по сравнению с прежними хорами, нестройно и незвучно. Вышел сам Сергий. Длинная борода, большое круглое лицо, холодные глаза... Павел не чувствовал к несчастному старику ни уважения, ни любви — только жалость. Женщины подходили к нему под благословение, мужчины избегали это делать. Что-то было надломлено, чувствовалось, что немногое, еще оставленное властью, будет скоро отнято.

Глава пятнадцатая

ПРОСНУВШИЙСЯ

Владимир сидел и внимательно читал. Книжка называлась «Германия в вихре революции», написана она была немецким офицером генерального штаба и переведена на русский язык с целью доказать, что в 1919 г. германская социал-демократия пошла на сговор с военными кругами для того, чтобы подавить коммунистическое движение. Как раз это больше всего и нравилось Владимиру. — Наши в 1917 году боролись все против всех, а власть в это время валялась на земле, как правильно говорит Павел. Большевики ее подобрали и начали расправу со всеми по очереди. Теперь надо начинать всё сызнова и поменьше заниматься спорами о программных тонкостях, а побольше делать конкретное дело, — думал Владимир.

Особенную симпатию Владимира вызывал Носке за то, что не побоялся в нужный момент взять на себя роль «кровавого пса» и разгромить спартаковцев.

Последнее время Павел регулярно снабжал Владимира политической литературой. Владимир, как и все советского воспитания люди, плохо знал историю, но теперь всё больше и больше втягивался в чтение. По разным причинам, в разное время большевики издавали разные, по существу враждебные им книги, многие из которых потом изымались. Павел умел их откуда-то доставать и пускать по своим людям.

— Как тебе нравится обер-лейтенант Фогель? — был первый вопрос Владимира, когда Павел вошел в комнату.

— Я бы предпочел, чтобы Роза Люксембург и Карл Либкнехт были расстреляны по приговору суда или посажены в тюрьму.

— А что ты скажешь о Гитлере? — К этому вопросу Владимир возвращался неизменно, когда начинался разговор о политике.

— Почему он тебе так нравится? — улыбнулся Павел.

— Да ты сам посуди: главный козырь большевиков — противоречия между пролетариями и капиталистами, а Гитлер сумел разрешить социальную проблему. Вот увидишь — с нашими расправится никто другой, как Гитлер.

Павел знал, что этот аргумент не только для Владимира, но и для многих русских был решающим.

— Мы, к сожалению, знаем о национал-социализме очень мало, — возразил Павел, стараясь быть как можно более беспристрастным. — Я боюсь, что национал-социализм в такой же степени материалистичен, как и коммунизм. У наших материализм «диалектический», у немцев «расовый».

— Ты это насчет евреев? — перебил Владимир. — Не верь советской пропаганде. Если их послушать, то в Америке негры до сих пор остаются рабами, англичане устраивают искусственный голод в Индии, ну, а немцы преследуют евреев — всё это, в лучшем случае, ко-

лоссально преувеличено, а, возможно, выдумано с начала до конца. Зато ты смотри: «наши» же пишут, что даже бывшие коммунисты принимаются в национал-социалистическую партию. Нет, немцы разрешают проблему борьбы с большевиками пока что наилучшим образом.

Павел замолчал. Действительно, большевистская пропаганда могла выдумать всё, что угодно: читал же он сам в концлагере, сидя на штабеле с экспортным лесом, что заключенные в Советском Союзе на лесозаготовках не работают!

После знакомства с Ольгой Васильевной Павел ни о чем не расспрашивал Владимира; тот молчал, в свою очередь. Теперь Павел ясно видел, что брат хочет поговорить по душам. — Как странно бывает в жизни, — думал Павел, — сколько в свое время я затратил душевных сил, чтобы не дать ему заснуть, сколько мучился и страдал! Как тяжело было убедиться, что все усилия тщетны — и вот проходит несколько лет, я уже и не думаю о нем, для меня он человек конченый и тут-то, в самый неожиданный момент, конченый человек пробуждается сам.

— Я хотел тебя спросить... — с усилием начал Владимир, — ты, может быть, удивился, когда я тебя так настойчиво знакомил с Ольгой Васильевной? Я уже говорил — эта женщина не для меня. Чтобы для тебя всё стало совсем ясно, я тебе должен рассказать... — Владимир сбился и замолчал.

Павел поднял глаза от белой скатерти и увидел, что брат в самом деле взволнован. — Выздоравливает! — радостно подумал он.

— Я уже давно живу с одной девушкой, — продолжал Владимир, — много раз поступал с ней не так, как нужно. Теперь я хочу на ней по-настоящему жениться.

— Ну и молодец! — вырвалось у Павла.

— Ты не думай, это не по Достоевскому — не искупление вины... Я к ней привык и совсем разорвать,

наверно, и не смог бы. Просто я хочу теперь определить давно сложившиеся отношения.

— Очень рад — женись и заводи ребят.

— Вот что, — замялся опять Владимир, — у меня к тебе еще вопрос — я хотел серьезно поговорить и о политике. Вы ведь и после лагеря работаете... я много об этом думал — принять большевизм я не могу, оставаться нейтральным практически невозможно и нечестно. Как ты думаешь, женитьба не будет препятствием для моего участия в вашей организации?

— Так ведь мы не монашеский орден! — ответил Павел радостно, — всё дело в том, какая жена и насколько женитьба затянет тебя в чисто материальные дела. Мы ведь не завтра думаем поднимать вооруженное восстание! Женись — это только лучше, что личная жизнь твоя определится... Мы ведем не столько физическую, сколько нравственную борьбу.

— Тогда по рукам! — встал Владимир.

— По рукам!

Братья крепко обнялись и три раза поцеловались.

— Так ты давай мне задания, я хочу начать работать.

— Читай да присматривай подходящих людей, а я тебя тоже потом кое с кем познакомлю.

— Люди у меня есть — я уже давно наметил некоторых сослуживцев.

В этот момент позвонили.

— Это Зина, — сказал Владимир и пошел открывать дверь.

— Познакомься — моя невеста, — сказал Владимир, подводя стройную смуглую женщину к Павлу.

Зина покраснела и на глазах у нее сверкнули слезы. Бедняга! — подумал Павел. — Много ей, видно, пришлось помучиться, прежде чем стать невестой.

Глава шестнадцатая

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Павел решил зайти к Ольге Васильевне и рассказать ей о решении Владимира. Встретила Павла мать Ольги Васильевны — опрятная старушка с серыми глазами, как у дочери, и манерами замоскворецкой мещанки.

— Подождите, подождите, — говорила она ласково, с сомнением глядя на черную рубаху Павла, — Олечка сейчас придет, у нее сегодня сверхурочная работа, поэтому она задержалась. Вы двоюродный брат Владимира Андреевича? — старушка вся расплылась в любезной улыбке, — очень рада, очень рада.

Не иначе, как надеялась выдать дочь за Владимира, — с досадой подумал Павел, проходя за старушкой в большую чистую комнату, отделенную от импровизированного коридора портьерами.

— Не знаю, почему Владимир Андреевич нас совсем забыл, — осторожно начала старушка.

Любопытна и неумна, — решил Павел. — Интересно, что она думает о моем костюме?

За портьерой хлопнула дверь и Ольга Васильевна вошла в комнату. Павел поднялся к ней навстречу. Бросив мельком тревожный взгляд на мать, Ольга Васильевна обернулась к нему и улыбнулась.

— Наконец-то зашли, а я думала... — она вдруг замолчала, подошла к маленькой этажерке, заменявшей туалет, и поправила золотистые волосы. Старушка поднялась и незаметно выскольнула из комнаты. Павел почувствовал неудобство: зачем я пришел и о чем я с ней буду говорить?

Ольга Васильевна повернулась от зеркала и села в угол дивана. Милое русское личико ее было утомлено

и очень бледно, глаза глядели грустно. — Ей тоже нравился Владимир, — понял Павел.

— Ну, что нового? — спросила она. — А я, откровенно говоря, боялась, что вы неправильно истолкуете мою тогдашнюю прямоту.

После ухода матери она стала проще и естественнее.

— Я пришел вам сказать, что ваше желание исполнится: Владимир женится на Зине.

Облако грусти пробежало по бледному лицу, но она сейчас же справилась с собой и, чуть нахмурившись, посмотрела на Павла.

— Я серьезно думаю, что для него это единственный выход.

— Знаете, я всегда была в этом уверена. — Ольга Васильевна задумалась. — Один раз он пригласил меня в театр — я тогда ничего не знала о ней и согласилась, почему же не пойти? После спектакля в гардеробе он вдруг весь переменился, извинился и отошел в сторону... Там стояла смуглая женщина. Я только мельком взглянула на ее лицо и мне всё стало ясно... Знаете, я сама из-за этого разошлась со своим мужем и очень хорошо ее понимала. Владимир решительно взял женщину под руку и вышел с ней на улицу... Скоро он вернулся, извинился и проводил меня до дому. Но я тогда же решила, что между нами ничего не может быть, кроме дружбы. Потом он рассказал мне всё про свою связь.

Серые глаза, не скрывая грусти, смотрели в глаза Павлу.

Ему стало ее искренно жалко: трудно такой женщине найти себе мужа в современной Москве!

— Может быть, куда-нибудь сходим, в кино как раз можно попасть на последний сеанс, — предложил Павел.

— Спасибо... Давайте как-нибудь в другой раз —

я сегодня очень устала. Мы лучше попросим маму поставить чай, посидим дома и отдохнем.

Постепенно жизнь организации стала входить в некоторые рамки. Сам собой в Москве образовался центр из Павла, Бориса, переехавшего в столицу, и Владимира, так неожиданно включившегося в работу. Николай всё время помогал своими обширными, иногда совершенно неожиданными связями. Никто не знал, с кем и как он работает.

— Ну, как ваша политическая деятельность? — спрашивал Николай при встречах, слегка щуря глаза.

— Где уже нам до такой сети и конспирации, как у вас! — парировал Павел. Николай делался серьезным и замолкал.

Семья Осиповых всё время опекала Мишу Каблучкова, попавшего в провинцию и неудачно менявшего различные специальности. Все его начинания кончались крахом. Устроился он, было, механиком и сразу испортил мотор. Пришлось не только потерять место, но и выплатить довольно значительную сумму за починку. После этого, поступив работать шофером, Михаил налетел на столб и едва избежал суда. С политической работой дела у него обстояли тоже слабо.

Григорий попрежнему работал на канале. Появилась сразу группа энергичных деловых инженеров, найденная Борисом и введенная в общий круг. Вне этого существовало много разрозненных, совершенно не связанных между собой групп и ряд лиц, помогавших организации советами и следивших за отдельными отраслями политической и экономической жизни. Всё это было скреплено гибкой, практичной, но очень поразному организованной сетью законспирированных каналов. За немногочисленной организацией стоял широкий многотысячный слой внутренней эмиграции, а за нею почти весь народ, скованный, но непокоренный,

ждущий благоприятного момента, чтобы открыто выступить.

Павел, Борис и Владимир, обычно, собирались раз в неделю, меняя места собраний и координируя всю работу.

Павел всё чаще и чаще заходил к Ольге Васильевне. Он купил, наконец, костюм и чувствовал себя менее стесненным, радуясь, что перестал обращать на себя внимание.

Жизнь в стране постепенно улучшалась, карточки были отменены. В столице, снабжаемой в первую очередь, можно было уже купить всё. Голод, вызванный проведением первой пятилетки, кончился, но уровень 1925-1926 г.г. так и не был достигнут.

Павла больше всего удивляло, что многие совсем не замечали этого. Из разговоров с Ольгой Васильевной он заключил, что она слышит о многих вещах впервые. Когда, рассказывая как-то о себе, он решился доверить ей тайну о своем аресте и концлагере, она была удивлена, что за участие в религиозно-философском кружке можно было попасть на пять лет в заключение (Павел, конечно, ограничился официальной стороной дела).

Они поехали в этот день в Нескучный сад — запущенные дорожки, отдельные уединенные беседки, пруды... Павел любил это уединение, шум города едва доносился туда.

Под влиянием рассказов Павла Ольга Васильевна стала очень грустной, ее глаза потемнели. Она сначала задумалась, потом вдруг пристально посмотрела на Павла и, как всегда прямо, спросила:

— Я понимаю, что обвинение было формулировано так, как вы мне рассказываете, но всё-таки, на самом деле вы ведь боролись против советской власти?

Павел внутренне поморщился: правила конспира-

ции особо оговаривали осторожность в отношении женщин, тем более интересных и не до конца проверенных; в то же время ему было тяжело лгать Ольге Васильевне.

— К сожалению, больше ничего не было — русские слишком инертны, чтобы идти на большее, — ответил он.

В серых глазах появилось беспокойство.

— Я с вами не согласна... Конечно, у советской власти много темных сторон, но со временем всё войдет в свои рамки. Голос ее звучал не совсем уверенно, а в лице Павел прочел беспокойство за него... да, за него, за Павла!

— Я думаю, что чем дальше, тем отношение власти к народу будет хуже, — ответил он суше, чем хотел.

— Почему?

— Потому, что постепенно создается новая советская аристократия, беспринципная и алчная — она составит государственный аппарат. Тогда незачем будет считаться с народом. Прежде о народе вспоминали ради демагогии, а теперь вся страна постепенно превращается в гигантский концлагерь — наверху дисциплина партийная, дальше профсоюзная, дальше концлагерная, а превыше всего и над всем НКВД.

— Вы смотрите слишком мрачно — после пяти лет лагеря это вполне понятно, но не надо забывать домов отдыха и системы образования. Я сама в 1932 году была за счет службы в Крыму...

Павел почувствовал, что кровь бросилась ему в голову: неужели она такое же продажное, бездушное существо, как многие?

— Простите, а когда вы в 1932 году ехали через Украину, смотрели вы в окна? — спросил он.

— Почему вы об этом спрашиваете? — не сразу поняла Ольга Васильевна.

— А потому, что в то время, когда вы ехали на курорт через Украину, там от голода вымирали

целые села — погибло несколько миллионов человек.

Этот выпад Павла подействовал на Ольгу Васильевну подавляюще: она побледнела, губы ее задергались, а глаза опустились на серую дорожку парка.

— Да, — прошептала она совсем тихо, — я помню... на станциях были дети — оборванные, худые, с раздутыми животами... Это было ужасно, но мне объяснил ехавший со мной в купе военный, что это беспризорные, убегающие из детских домов.

— А много было этих беспризорных? — с горечью спросил Павел.

— Очень...

— А вы не спросили своего военного, почему их очень много?

— Нет...

Неужели она не то, что я думал? Павел привык, сдерживаться, привык молчать, но, раз заговорив на больную тему, почувствовал непреодолимое стремление сказать всё до конца. Ольга Васильевна шла молча. Верхушки лип тихо покачивались. Павел вспомнил мать, похороны, ее сон и ее непримиримость к большевикам.

— На нас тяготеет позорное пятно за то, что мы терпим всё это в пассивном бездействии...

Это последняя фраза, которая у меня вырвалась сегодня, — решил Павел, злясь сам на себя.

Ольга Васильевна еще больше затихла и съежилась, потом с трудом подняла глаза и прошептала:

— Этот военный был мой муж, он был коммунист. Вы меня очень презираете?

Такого эффекта Павел меньше всего ожидал и растерялся. Острая жалость сжала сердце.

— Коммунист не НКВД, — ответил он примирительно, — мало ли русских дураков пошло в партию по убеждению!

Серые глаза наполнились слезами и опять опустились.

Несчастная женщина! — думал Павел. — Она хорошая, искренняя, только запутавшаяся. Кто ей мог разъяснить всё это — неинтеллигентная и неумная мать? Вот так и вся Россия — обманутая, униженная обманом и вместе с тем родная и неотделимая.

Глава семнадцатая

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

Возвращаясь вечерами домой, Григорий стал часто заходить в соседний барак к инженеру Рогачеву. Рогачев, пятидесятилетний мужчина с глазами на выкате и усами, как у моржа, был в свое время техническим директором треста, затем угодил за вредительство на десять лет и, кончив срок, поступил вольнонаемным на канал. Жил он в двух комнатах с женой и двумя дочерьми. Старшая дочь, Катя, двадцатилетняя девушка, видевшая и нужду и лишения, не по летам серьезная, привлекала Григория глубиной зеленоватых глаз, освещавших скорбным блеском миловидное личико. Катя тоже служила на строительстве, вечерами помогала матери, больной, совершенно раздавленной жизнью женщине, и проверяла тетради младшей сестре Ирочке, учившейся в школе. Вскоре Григорий начал столоваться у Рогачевых, привык ко всем, играл с отцом в карты и незаметно для себя так привязался к этому семейству и особенно к Кате, что ему стала, наконец, ясной необходимость жениться на ней и устраивать собственную семью.

Нечего дурака валять! — размышлял Григорий, — скоро стукнет тридцать, пора. Катя будет только помогать и в жизни и в работе — столько горя видела, что всё понимает.

Однажды, провожая девушку вечером из кино,

Григорий сжал крепче ее руку и спросил вдруг сделавшимся глухим голосом:

— А что, Катя, согласились бы вы выйти за меня замуж?

Она не удивилась этому вопросу, посмотрела на Григория глазами, ставшими еще глубже, и тихо кивнула головой в знак согласия. Григория охватил прилив молодой, давно забытой им радости. Григорий привлек Катю к себе и, ощущая запах молодой свежести и душистого морозного воздуха, поцеловал прямо в губы.

Ночью он долго не мог заснуть от сомнений, радости и возбуждения. Григорий хорошо понимал, что женитьба сделает еще более трудным проникновение в Москву, еще более затянет его в тину провинциальной жизни. С другой стороны, жить дальше бездомным бобылем он не был в состоянии, — только теперь он ясно понял, насколько нехватало ему близкой, любящей женщины. Ничего, — утешал он себя, — Павел и Борис справятся в Москве, а я и в провинции смогу кое-что сделать. А Катя хорошая — настоящей женой будет и ребят воспитать сумеем... Мысль о детях наполнила его сердце радостной теплотой. Надо и ребят! Коли женюсь — ребят заведу, а жениться надо будет по-настоящему, церковным браком, а не по-собачьему, в ЗАГС-е...

Около маленькой деревянной церкви недалеко от Москвы, но не там, где пролегала трасса канала, остановилось три человека — Григорий, Катя и Павел. Николай пошел за священником, жившим за квартал от церкви.

— А что, он тоже властей поминает? — спросил Григорий с тревогой в голосе.

— Нет, не поминает, — улыбнулся Павел, — это свой человек, его Николай хорошо знает. Знаешь, и в СССР бывают чудеса: он официально с Сергием не

порвал, но ни властей, ни самого митрополита не поминает. Почему-то до сих пор на воле!

— Добро, а то я этих полукрасных не люблю.

В конце улицы появилась высокая фигура Николая, рядом с ним шагал плотный бородатый мужчина в черном пальто.

— Давайте отойдем в сторону и дадим им пройти в храм — сами мы пройдем после, чтобы меньше обращать на себя внимания.

На белом снегу и беловатом зимнем небе храм выделялся четко, окруженный черными, как будто нарисованными карандашом на белой бумаге липами.

— Ну, пошли, батюшка с Николаем уже, наверное, в храме.

Дверь церкви была приоткрыта. Войдя, Павел запер ее на засов. Чистенький, опрятный храмик выглядел ласково и приветливо. Священник оказался человеком лет шестидесяти, моложавым, полным, с живыми смеющимися глазами и звонким чистым голосом.

— Вы уже, молодые люди, смотрите — никому... меня и так НКВД постоянно вызывает: не совершаю ли я тайные требы и таинства? А как их не совершать! Женятся, верно, не все, а что касается крестин, то думаю, нет ни одного русского коммуниста, у которого дети некрещеные! Тут даже анекдот появился: родился у партийца сын, ну, как полагается — октябрины. Назвали парня Кимом и будто бы успокоились. Только через несколько дней бабка с ним куда-то исчезла... Вернулась вечером. Мать беспокоится — где была? Я, говорит, его своей знакомой показывать носила — старушка у нее приятельница была больная, так сама прийти не могла. Ну, ладно, живут еще неделю. Через неделю мать с ним тоже куда-то съездила. А отец ходит грустный — его спервоначалу и мать и бабушка за октябрины пилили — что, говорят, это за имя такое Ким, вроде собачьего получается! Ходил, ходил да в свободный день и пошел сам с сыном гулять. Возвра-

щается еще позднее, чем бабушка и мать, пьяный, веселый. Те к нему: где пропадал? А он кладет мальчишку на кровать, гордо так на всех смотрит и говорит: где был не скажу, а принес вам Ваську, чтобы его так теперь и звали. Тут бабушка и мать ахнули и признались: оказалось, что и они тоже потихоньку крестить носили. Хорошо еще, что все трое, не сговариваясь, Василием назвали. Вот какие теперь вещи случаются! — Глаза батюшки стали ласково плутовскими... — Как видите, нашему брату приходится тоже хитрить: ведь если детей коммунистов в книги записывать, отцы бояться будут — их за это из партии и со службы повыгоняют.

Словоохотливый батюшка принес венцы, облачился и начал служить, распевая сам звонким мелодичным голосом. Из-за облаков выглянуло солнце и осветило храм радостным серебристым светом. Григорий стоял, полный благоговейным, благодарным чувством к Творцу, показавшему ему дорогу спасения и веры в глухой северной тайге и теперь сведшего его с этой серьезной чистой девушкой.

Не сломят православия большевики! — думал стоящий за ним Павел. — Как невидимые северные родники, оно пробивается из самой русской земли...

Лучи солнца залили церковь. Катя, в белом простеньком платье, в скромной фате на голове, стояла молодая, серьезная, окруженная золотистым светом.

Пример заразителен. Зайдя к родителям Евгения, Павел застал только няню. Григорий поручил ему поддерживать связь с устроившимся в Туле в качестве механика Евгением.

— Ну, что нового?

Павел очень уважал старушку.

— Женюша-то наш — жениться собрался! — в тоне няни было разочарование и неудовольствие.

— Ну и хорошо — не век же ему холостым быть!
— Хорошо, то хорошо... — протянула няня.
— А на ком? — насторожился Павел.
— Еще до ареста вместе на лыжах ходили, а теперь вот в Туле встретились, — вздохнула няня, — так, девчонка советская... комсомолка... Валя Печкина.
— А может быть, хорошая?
Няня неодобрительно посмотрела на Павла и ушла на кухню.
Павел вышел на улицу. Надо навести о ней справки, — думал он, лавируя между прохожими. Толпа в Москве с каждым днем грубела и толкотня становилась всё тягостнее. — Надо пойти к Леночке, может быть, через нее и братьев удастся что-нибудь узнать.
Леночка переменила комнату на более маленькую, с одной стороны, чтобы избежать вселения, с другой стороны, чтобы переменить район и поселиться в доме, где жильцы ничего не знали о братьях.
Павел застал ее за книжкой: вернувшись со службы, она забиралась с ногами на диван и целыми вечерами читала. После лагеря Павел относился к ней, как к младшей сестре.
— Что читаешь? — спросил он, подсаживаясь на диван.
— Соловьева, Историю Государства Российского.
— Ого! — удивился Павел. — И тебе не скучно?
— Конечно, не скучно, — обиделась Леночка.
— Молодец. Слышала, что Евгений женится?
Глаза Леночки расширились от любопытства:
— На ком?
— Какая-то Валя Печкина. Евгеньева няня недовольна...
Любопытство сменилось на лице Леночки растерянностью и удивлением.
— Не может быть! — протянула она.
— А ты о ней что-нибудь слышала?

— Слышала, — ответила попрежнему растерянно Леночка.

— А ну-ка рассказывай!

— Я тебе расскажу всё, только ты дальше никому не передавай.

Леночка уставилась на Павла испуганными глазами.

— Не бойся. Я ведь спрашиваю не из любопытства, сама понимаешь...

— Конечно, понимаю. Видишь ли, за ней ухаживал Алеша — еще тогда... Она настоящая активистка, а главное... — Леночка замялась, — мы еще тогда думали, не она ли и посадила наших... Алеша сам виноват — поухаживал и бросил, а она прилипла и как-то нехорошо... — Лицо Леночки стало детски несчастным. — Я ничего определенного сказать не могу, но, знаешь, я вас всех люблю и за вас всегда беспокоюсь, — чувствую, что Валя человек опасный.

Павел задумался: по собственной матери он знал, насколько чуткими бывают любящие женщины. Конечно, у Леночки нет ни ума, ни жизненного опыта Веры Николаевны, но она действительно любит братьев, а особенно Алешу, и интуиция ее совпадает с интуицией умной няни.

Должно быть, дело серьезнее, чем показалось с первого взгляда, — анализировал Павел, шагая по улице, — чего она лезет в нашу среду! Конечно, и Алеша и Женя ребята интересные, но всё-таки надо держать ухо востро: может быть провокация? И у меня тоже с Ольгой Васильевной! — вдруг подумал Павел, — то чуть не закружила голову Владимиру, то со мной начинается нечто вроде романа... зря я с ней был так откровенен — нет ничего хуже, как распускать язык перед женщинами... Не может быть, чтобы и она оказалась агентом! Павел вспомнил скорбное, подавленное выра-

жение серых глаз, когда он так резко заговорил о голоде на Украине. Но вслед за жалостью сейчас же поднялось возмущение. В тот момент, когда мы сидели в лагере, а миллионы русских людей умирали от голода, она, видите ли, отправилась в свадебное путешествие с мужем-коммунистом, в Крым, на средства рабоче-крестьянского государства, выжимаемые из тех же концлагерников и голодающих крестьян. Черные круги забегали в глазах Павла. Темные, безлюдные переулки Замоскворечья казались непроходимым лабиринтом: шагая в волнении, как попало, он заблудился, но продолжал идти, полный вихрем противоречивых чувств и мыслей. Одно было ясно: как и тогда, семь лет назад, провокация стала подползать, тихо крадучись, почти незаметно. Знакомый переулок... Да, это дом, в котором живет она. Как в авантюрном романе: трагическая судьба приводит меня к ее дому в трагическую минуту. Вот он, трехэтажный, серый, обыкновенный до пошлости, одно из безликих жилищ обезличенного города. Как все, и она тоже как все — обычная психология: женщине нужен уют, некоторый достаток, стало быть — не гонимый бездомный муж, а человек, идущий в ногу со временем, коммунист... хорошо, что не НКВД! У Павла не было ненависти даже к НКВД, но, одно дело относиться безразлично, холодно к посторонним людям, другое дело — человек близкий. Павел в первый раз подумал о возможности женитьбы на Ольге Васильевне. Что же, как дурак, стою перед ее домом? Павел повернулся и зашагал по переулку к трамваю. Погода испортилась, резкий морозный ветер бил в лицо острыми крупинками снега. Павел вспомнил Нату. Неужели и теперь иллюзия чего-то хорошего разбита действительностью? На остановке никого не было, трамвайные рельсы лежали холодные и пустые. Ветер гнал струйки снега по блестящим стальным желобкам. Очевидно, произошла какая-то авария и трамваи не ходили. Постояв минут пять, Павел пошел пеш-

ком. Улица была пустынная, мороз и вихрь разогнали прохожих. Павел шел, подгоняемый сзади холодными злыми порывами.

А если она всё-таки хороший человек? Ведь из корыстных соображений никто не стал бы тратить время на такого явно неимущего человека, как я! Либо она агент НКВД, либо порядочная женщина. Опять вспомнились полные затаенной грусти глаза. Острое чувство не то любви, не то жалости поднялось опять в душе. Неужели я уже успел полюбить ее — или это возраст, потребность найти, наконец, близкую женщину, лагерь, лишения? Нельзя, в самом деле, бесконечно себе во всём отказывать; скоро молодость сгинет бесследно, а ее и вспоминать будет нечем... Может быть, люди компромисса правы, может быть, в самом деле, надо брать от жизни то, что она дает сама...

Павла вдруг охватил ужас перед мыслью, что вся жизнь была построена неправильно. Господи, помоги, укрепи, — начал он молиться, — умудри и направь...

Ветер всё не унимался, а холод становился всё резче. Вдруг впереди показалась женская фигура в синей шубке и белом берете — шла она, с трудом преодолевая ветер, жалкая и беспомощная...

— Ольга Васильевна!

Фигурка остановилась.

— Трамваи почему-то не ходят, а я окончила сверхурочную работу, задержалась и так замерзла, так замерзла... А вы у нас были?

— Да, почти что у вас, подошел к дому...

— И увидели, что в комнате нет света? Мама, наверно, куда-нибудь ненадолго вышла. Пойдемте! — головка в берете слегка наклонилась на бок и Ольга Васильевна сама взяла Павла под руку.

По наметанным на тротуары сугробам идти было трудно: ноги то скользили по льду, то путались в сухом скрипевшем снегу. Разговаривать было почти не-

возможно. Встречный ветер прижимал пальто к коленам.

— Знаете, у меня очень замерзли ноги — я не надела шерстяных гетр. Давайте зайдем на минуту в какое-нибудь парадное, — голос был испуганный.

В полутемном парадном казалось совсем темно, запыленная лампочка еле освещала грязные ступени лестницы, желтые плиты кафельного пола и серые трубы отопления.

— Они у меня онемели до колена.

— Разрешите, я вам помогу их растереть.

— Пожалуйста.

Павел прикоснулся к упругим икрам. Действительно, они были холодны, как лед.

— Ну как?

— Спасибо, теперь лучше. Как я испугалась!

Оттаявшие ресницы широко распахнулись, щеки разгорелись. Павел почувствовал, что опьянен близостью этой свежей, пахнущей морозом женщиной. — А, может быть, это всё гораздо проще? — пронеслось в его голове. — Может быть, замерзшие ноги это только предлог... Он быстро наклонился и поцеловал ее прямо в холодные, полураскрытые губы. И без того раскрасневшиеся щеки запылали, в глазах появилось возмущение, затем она с усилием сдержала первый порыв и со слезами в голосе отчеканила:

— Я к вам относилась, как к очень хорошему чистому человеку... как к другу и товарищу. Я не ударила вас сейчас только потому, что Владимир говорил о вас столько хорошего. Тоже страдальцы за идею... — Она шагнула к двери и моментально очутилась на снегу и морозе.

Павел был озадачен, но не подавлен. — Молодец! — подумал он с радостью, хотя к радости примешивалась и досада.

— Простите меня, — сказал он, догоняя ее и беря под руку.

Она наклонила низко голову и старательно шла, преодолевая ветер. Так они молчали минут десять, пока не повернули в переулок.

Определенно хорошая женщина! — решил за это время Павел. — Это была не игра — настолько я бы никогда не ошибся.

— Вы, наверно, думаете, что если я могла выйти замуж за преуспевающего коммуниста, то я человек, с которым можно себе позволить всё, что угодно. Имейте в виду, что я всё время первого замужества работала и сама содержала маму — да, я ошиблась, мой муж оказался во всех отношениях непорядочным человеком; я не предъявляла к нему, выходя замуж, высоких требований, как к русскому гражданину... меня дома не воспитывали в духе высокой гражданственности, меня учили только тому, что я должна быть честной женщиной и сама зарабатывать на хлеб, — всё это она выпалила сразу, попрежнему с обидой в голосе.

— Не сердитесь, — ответил Павел. — Я всегда относился к вам с уважением и если позволил себе вольность, то только потому, что вы мне очень нравитесь.

Она взглянула на него сбоку и Павлу показалось, что что-то дрогнуло в серых глазах.

— Ну как, зайдете погреться? — спросила она уже другим, прежним тоном, когда они подошли к серому дому.

Вечер прошел быстро и незаметно. Мать Ольги Васильевны уже ждала дочь с чаем. Говорили о Москве, о прежней дореволюционной жизни в Замоскворечье, о детстве Павла и Оленьки, как мать называла Ольгу Васильевну. Убаюканный теплотой и домашним уютом, Павел засиделся. Все в доме уже спали, когда Ольга Васильевна вышла провожать его в переднюю.

— Ну как, больше не сердитесь? — спросил Павел, задерживая ее руку.

— Сердиться не сержусь, но мне очень жаль, очень

жаль, что это вообще было, — голос дрогнул и пресекся.

Павел почувствовал, что что-то неудержимое поднимается в его груди. Голова закружилась и, не совсем понимая, что говорит, он прошептал:

— Не сердитесь, я серьезно... я люблю вас, люблю по-настоящему...

Она тихо высвободила свою руку из его руки, положила ему обе руки на плечи и пристально посмотрела в глаза.

— Вы это вполне серьезно? Не так, как тогда в парадном... В глазах ее вспыхнуло то же, что так клокотало в груди у Павла.

— Ольга Васильевна — Богом клянусь! Тогда...

Глава восемнадцатая

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Прошло два года. За это время была провозглашена новая «самая демократическая в мире» конституция. Казалось, что режим смягчается, материальное положение в стране улучшилось. В то же время новые тучи сгущались на горизонте — надвигалась ежовщина.

Павел сидел за столом и читал. В комнату то и дело входила Анна Павловна, мать Оли. В свободные дни Оля помогала матери по хозяйству и делала это, как и всё, что она делала: энергично, весело и быстро — работа кипела в ее сильных, ловких руках. Первое время Павел не мог привыкнуть к положению женатого человека: в двадцать шесть лет он уже приобрел некоторые привычки холостяка. Самое же главное, он долго боялся, что семейная жизнь помешает работе в организации. Узнав о специфических трудностях, вы-

текающих из жизненного уклада и биографии Павла, Оля сначала растерялась. Например, она никак не могла представить, что работоспособный мужчина может оказаться без работы и без возможности найти работу. После того, как Павел за два года дважды терял место в редакции и только с величайшим трудом, при помощи разных хитростей, восстанавливал положение, она поняла, какие условия создала власть для отверженных. Другая трудность заключалась в прописке Павла в Москве. По советским законам, мужа к жене и жену к мужу обязаны были прописать вне всяких ограничений, но попасть в Москву с таким паспортом, как у Павла, было слишком рискованно и он жил все эти годы полулегально, оставаясь прописанным в той самой непригодной для жизни клети, в которую он с таким трудом попал благодаря работе на канале. За клеть он регулярно платил, раз в месяц с отвращением ездил на свою «квартиру», убеждался, что ничего страшного не произошло, еще раз наказывал, чтобы хозяйка, в случае появления НКВД, ни в коем случае не говорила, где он находится, а приезжала бы предупредить сама; в случае же какого-нибудь другого вызова, чтобы бросала немедленно заранее написанную Павлом открытку. Хозяйка скорбно смотрела при этом на него, сочувственно вздыхала и обещала сделать всё, как говорил Павел. Муж ее, промучившись около года, не выдержал и уехал куда-то на новостройку.

В квартире Оли поведение Павла объяснялось жильцам тем, что у него есть под Москвой замечательная квартира, с которой ему жалко расстаться — этому верили потому, что комнаты в красной столице расценивались приблизительно, как собственный дом в Западной Европе. Только через три года, сменив паспорт, Павел рискнул прописаться в Москве.

Глава девятнадцатая

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ГОД

Григорий широким неуклюжим шагом нервно ходил по комнате. Владимир сидел на своем обычном месте у стола и внимательно слушал. Павел и Борис устроились на диване. Было душно. Августовский раскаленный воздух вливался в раскрытое окно. Пользуясь праздничным днем, все соседи с утра уехали за город, поэтому говорить можно было не стесняясь.

— Одна возможность свержения большевизма была упущена в 1930 году, — говорил с раздражением Григорий, — тогда могла произойти общенародная революция. Тогда внутри не было сильной организации и большевики раздавили силой эту революцию. Теперь бы положение изменилось: колхозники недовольны всё время, но они зажаты и подавлены так, что рассчитывать на них не приходится. В концлагерях миллионы обиженных, среди них сотни тысяч таких, на которых можно смело опираться, но они измучены и надзор за ними так силен, что это пока тоже мертвый капитал. Партийная оппозиция состояла из более идейных коммунистов чем те, которые пошли за генеральной линией партии. Я думаю, что идейные коммунисты в общем уничтожены, а осталось послушное стадо чиновников от коммунизма, мещан от марксизма. Среди этих кулаков с партийными билетами много, по существу, враждебного коммунизму элемента, но они перейдут только на сторону более сильного — скажем, на сторону Гитлера, если он сумеет разбить Сталина в будущей войне с СССР. Интеллигенция разбита и деморализована, а рабочие еще не настолько обозлены, чтобы немедленно восставать. Одним словом, ситуация такова, что без внешнего военного или внутреннего, вызванного очередной борьбой внутри партии потрясения, никакой антибольшевистской революции сейчас не будет.

— Я всегда говорил, что нужна война и как можно скорее... — сказал Борис.

— Это говорят очень многие, — живо обернулся Григорий, — и война неизбежна потому, что с тех пор, как была объявлена первая пятилетка, началась подготовка к военному захвату мира. Я не понимаю только одного: если это совершенно очевидно нам, почему этого не понимают заграницей?

— Я думаю, заграницей это многие прекрасно понимают, — вмешался Павел. — Я убежден, что «Мюнхен» объясняется только тем, что англичане как бы говорят Гитлеру: если ты вооружаешься и усиливаешься для борьбы с СССР — мы тебе поможем, если ты, как большевики, хочешь мирового господства — мы будем с тобой воевать.

— Но ведь война между Германией и Англией с Францией — чистейший абсурд. Ведь только этого и хочет Сталин! Ведь он сделает всё, чтобы их стравить между собой, остаться до времени в стороне, а когда они друг друга истощат, захватить силой всю Европу, — возразил Григорий, еще более раздражаясь.

— Никогда Англия не будет воевать с Германией! — убежденно сказал Борис.

— Да, но ведь уже идут переговоры между советскими, французскими и английскими представителями генеральных штабов, — ответил Павел. — Я не думаю, что Гитлер настолько силен, чтобы выдержать войну на два фронта. По-моему, вся трагедия в том, что он хочет забрать еще Данциг и коридор и отказаться от неприятной обязанности уничтожать в России коммунизм. Вопрос для нас станет более ясным, если мы будем исходить из того, что в мире борются не две основные силы — коммунизм и капитализм, как нам подсказывают сами большевики, а три — СССР, Германия и демократии. СССР надеется стравить демократии с Гитлером; демократии, в лице, скажем, Англии, думают стравить Гитлера со Сталиным — конечно,

чтобы избавиться от обоих. А Гитлер хочет балансировать между двумя возможными союзниками и захватить то, что легче захватить, например, Польшу.

— Для нас совершенно безразлично, кто будет воевать с большевиками, — опять вмешался Борис. — Бесспорно одно: фашизм, национал-социализм и капитализм для большевиков одинаково враждебны. Гитлер сильнее других, потому они его больше боятся, но, с другой стороны, больше и уважают. С точки зрения же интересов России, выгоднее всего, чтобы Гитлер и Сталин пожрали друг друга, а демократии остались пока в стороне, чтобы после неизбежной победы Гитлера не дать ему захватить Россию, что для них самих было бы крайне невыгодно.

— Боюсь, что в возрождении России, кроме нас самих, никто не заинтересован, — заметил Павел.

— Они будут заинтересованы в том, чтобы не дать усилиться Германии и поэтому будут вынуждены помочь нам, — возразил Борис.

Владимир, сидевший до этого молча, поднялся и заговорил в свою очередь:

— По-моему, коммунизм не выдержит большой войны. Большая война сейчас может быть только с Германией. Значит, мы заинтересованы только в том, чтобы не началась война между Германией и демократиями. А бояться, что немцы поработят Россию, не приходится: никакое внешнее господство нам не страшно. Поработить Россию извне вообще невозможно, а если мы даже потеряем часть территории, то только временно. Одним словом, я боюсь только того, что Сталин обманет и Гитлера и демократии и останется в стороне.

— Правильно, — подошел к столу Григорий, — если большевизм продержится еще двадцать лет, это будет значить, что Россия превратится в гигантский концлагерь и в ней вырастет поколение рабов, кото-

рым будет очень трудно восстановить настоящее государство.

— Ну, а что мы будем делать в случае войны? — спросил Павел.

— Что ты этим хочешь сказать? — сказал Григорий.

— Я понимаю, что силы наши так ничтожны, что от нашего решения ничего не переменится, но, тем не менее, принципиально решить этот вопрос необходимо.

— И решать нечего! — воскликнул Борис, — надо будет вредить большевикам, чем можно, вплоть до организации вооруженных восстаний в тылу.

— А вы как думаете? — обратился Павел к Владимиру и Григорию.

— Я думаю, Борис прав, — сказал Владимир не совсем уверенно.

— А ты сам что думаешь?

— По-моему, наша цель, говоря, конечно, отвлеченно, будет состоять только в том, чтобы, пользуясь создавшейся обстановкой, делать свое собственное дело — продолжать создавать организацию, около которой могли бы сплотиться национальные силы.

— Но ты, надеюсь, не собираешься создавать эту организацию при помощи большевиков? — спросил Борис, впиваясь глазами в Павла.

— Я говорю только о принципе, — ответил Павел спокойно. — Я бы предпочел работать в советском тылу, не ставя себя в зависимость от иностранной армии, хотя никогда не отверг бы иностранной помощи, конечно, на известных условиях.

— Ну, в случае войны в этих тонкостях разобраться будет трудно, — возразил Борис, не придававший большого значения теоретическим разговорам. — Лучше поговорить о наших практических мероприятиях в случае войны.

— Это тоже будет одна теория, — сказал Гри-

горий, — пока можно предвидеть только одно: в случае войны у нас очень много шансов попасть за решётку и очень мало шансов попасть в армию.

— Я попаду в армию, — заметил Владимир, — Борис тоже, если не получит броню по своему учреждению — он ведь почти в генеральских чинах. Останутся или попадут за решётку: Григорий, Павел и прочие из их разряда.

— Ничего сейчас не выдумаешь, — прервал его Григорий, — надо только установить заранее связь, используя женщин и стариков, чтобы, на случай мобилизации, дублировать все нынешние связи родственниками. А в случае общей каши и развала фронта, каждый будет пробираться в Москву и действовать в зависимости от обстоятельств.

— По-моему, надо заранее разработать инструкцию по использованию всех возможностей поднятия вооруженного восстания в армии, — заговорил Борис. — Вы учтите, что теперь в армию берут молодежь — самую надежную часть населения. Ее специально проверяют, пропагандируют и ставят под надзор комиссаров и секретных сотрудников. Армия мирного времени достаточно надежна, но, в случае всеобщей мобилизации, положение изменится в корне: они будут вынуждены вооружить колхозников, которые только и ждут этого момента, чтобы рассчитаться за коллективизацию. Мне это дело представляется так: в благоприятный момент пустить пулю в комиссара и солдаты наши. Остается стать во главе и командовать.

— Я верю, что у тебя подобная комбинация может удасться, — улыбнулся Григорий, — но рассчитывать на массовый характер восстаний не приходится. Не забывай, что уже в течение двадцати лет все люди, выделяющиеся инициативой, смелостью, романтичностью и, главное, самостоятельностью, систематически уничтожаются. Я предвижу массовое дезертирство и массовую сдачу в плен, но не массовое вооруженное восста-

ние. Красная армия в своей реакции на события будет очень пассивна.

— Надо еще учитывать, — вмешался в разговор Павел, — что даже в случае освобождения концлагерей, освободятся сотни тысяч кадровых уголовников, и пройдет не мало времени, пока удастся сколотить настоящую силу из положительной части заключенных.

— Ты, конечно, прав, — приостановился Григорий. — Вот что мы могли бы легко сделать, это начать учет надежных людей прямо по учреждениям, где имеются свои люди; только это упрется в ту трудность, что списков составлять теперь нельзя, а без списков, при перемещении наших людей, все сведения, имеющиеся в их головах, потеряют цену.

— Для этой цели надо будет подобрать специальных лиц, — сказал Борис, — у нас не так мало стариков, которые, в случае войны, останутся на местах и вполне смогут справиться со своей задачей. Я один десятка два таких наберу, а если передать по линии, то можно найти сотни, но дело, конечно, опять упирается в поддержание связи.

— Эх, поскорей бы началось! — почти простонал Борис.

Павел вернулся домой взволнованный и возбужденный. Более пяти лет прошло после освобождения. Нечеловеческими усилиями организация была доведена до прежних размеров, даже увеличилась по сравнению с 1930 годом, но усилия не соответствовали эффекту: десятки работали сознательно и активно, сотни были проверены и могли быть использованы при благоприятных обстоятельствах, но этих обстоятельств как раз и не было. К счастью, ежовский разгром почти не коснулся среды, на которую опиралась организация, и всё же постоянный гнет страха ареста и возраставший зажим всего населения в целом были так ощу-

тительны, что иногда становилось просто нестерпимо.

Оля ждала Павла с обедом. За последние годы она сроднилась со всеми мыслями и чувствами мужа, хотя и сохранила значительную самостоятельность мышления и восприятия.

Комната была чисто убрана, на столе блестела белизной новая скатерть. Оля сидела на диване и читала Достоевского.

— Наконец-то! — с тревогой посмотрела она на мужа. — Слава Богу! Всегда, когда тебя нет, я боюсь.

— Чего? — ласково спросил Павел, садясь рядом.

Оля опустила глаза — боялась она, конечно, ареста.

— Ну, что нового, что решили? — Оля знала, что приехал Григорий и что говорили о принципиальных вопросах.

— Говорили о войне, — устало ответил Павел.

Оля взрогнула.

— Боюсь я войны!

Павла самого мучил этот вопрос и поэтому он рассердился.

— Другого выхода нет. Если не будет войны, они задушат и обескровят народ, — сказал он.

— Не верю я в то, что кто-нибудь придет нас освобождать, а особенно немцы — не люблю я их, а Гитлер, кроме жестокостей, ничего с собой не принесет.

— Никто и не рассчитывает на альтруизм иностранцев. Ты пойми, что коммунизм угрожает всему миру: они должны его уничтожить не для того, чтобы освободить нас, а для того, чтобы не быть порабощенными самим.

Оля ничего на это не возразила, но лицо ее вытянулось.

— Боюсь я и всё... — сказала она после некоторого молчания.

Павла это задело еще больше.

— Ты только подумай, — заговорил он тихо, — в

мое время в лагерях ежегодная смертность равнялась 16% — это, учитывая, что стариков почти не было. Теперь условия еще хуже. Сосчитай сама: если даже сидит шесть миллионов, а их, вероятно, сидит больше, то 16% с шести миллионов это без малого миллион в год — так ведь это страшнее войны! Кроме того, на войне гибнут все подряд, а арестовывают всё-таки лучших.

— Я тебя понимаю, — мрачно ответила Оля, — только смотрите не ошибитесь.

— Ошибиться нам трудно, — возразил Павел тоже мрачным тоном, — ведь не мы вызываем войну — просто мы ее считаем неизбежной и хотим, насколько это будет возможно, использовать ее в интересах народа.

Борис сидел дома и чинил чемодан. Любовь к ручному труду у него была в крови, а когда приходилось нервничать — это становилось потребностью.

Сергей опять не принес работу во время. Борис с таким трудом достал для него заработок! — Наташа из-за этого болвана спустила уже последние фамильные бриллианты, — думал Борис с раздражением. — Действительно Люба права, что нельзя вечно помогать бездельнику. Борису представилась длинная сгорбленная фигура Сергея, его безразличные глаза и неопрятный большой рот, из которого обычно пахло водкой. — Самое главное, что работа срочная и отвечаю за нее я, а не он — взята она на мое имя.

Одновременно жалость к попавшему в беду товарищу одолевала другие чувства. Борис вспомнил свой разговор с Сергеем, когда тот признался, что он уже давно является осведомителем НКВД. Он был тогда тоже пьян, но не настолько, чтобы ничего не соображать. Борис долго смотрел в серые мутные глаза Сергея, прежде чем тот признался. Это было жалкое и трагическое зрелище. Сергей совсем побледнел, и Борис боялся, что он сейчас умрет: от обычной заносчивости

ничего не осталось. — Забыл весь свой дворянский гонор! — горько усмехнулся Борис. Потом глаза его стали совсем пустыми и он признался: да, я работал... и работаю сейчас, но никогда ни одного слова я не сообщил про своих... я... я... сообщал только о работе некоторых сослуживцев... Борису это стоило дорого. Наташи не было дома, они говорили часов пять подряд и Сергей обещал прекратить доносы, сославшись на загруженность и нервное расстройство. С тех пор его уволили и никуда больше не брали. Подобные случаи уже бывали, многих за это арестовывали... Но что же делать — нельзя же оставаться подлецом! Главное, работу ему находят. Наконец, он может уехать в Сибирь — вон брат Григория тоже там, осел навсегда, — думал Борис.

Он аккуратно сложил инструменты, медленно оделся — Борис всегда становился медлительным, когда нервничал — и, выходя, крикнул Любе в кухню:

— Я к Наташе — приду через час!

На улице была обычная толкотня. Это раздражало Бориса. С тех пор, как Риббентроп подписал пакт в Москве, Борис не знал ни минуты покоя: неужели Сталин обманет всех и останется в стороне? Это казалось ему чудовищным и противоестественным. Плохо было, когда демократы уже хотели объединиться со Сталиным, но тогда Борис утешал себя надеждой, что это только игра, а тут случилось самое страшное, что могло случиться — Гитлер помирился с большевиками и, повидимому, получил поддержку советов против Запада. Это значило, что Советский Союз обманул всех.

— Не может этого быть! — успокаивал себя Борис. — Не могут они воевать друг с другом.

Дверь открыла Наташа, и по ее лицу Борис сразу понял, что случилось несчастье.

— Отец арестован, — прошептали перекосившиеся губы.

Борис остолбенел: этого он никак не ожидал. Михаил Михайлович жил последнее время тихо и числился на иждивении дочери.

— Когда?

— Я ездила на два дня к подруге по делу; сегодня, час тому назад вернулась... комната его опечатана.

— А Сергей? — спросил с нарастающей тревогой Борис.

Наташа смутилась и, ничего не отвечая, пошла в комнату. Войдя следом за ней, Борис увидел Сергея лежащего на диване; рядом на ночном столике стояла пустая бутылка водки, в комнате был страшный беспорядок: видимо, обыскивали всю квартиру. Наташа беспомощно опустилась на стул, закрыла лицо руками и заплакала. Борис сел рядом, не зная, что предпринять. Сергей застонал во сне и заскрежетал зубами.

— Господи, когда этот ужас кончится, — вырвалось сквозь рыдания у Наташи, — замучили сначала Алешу, теперь отца... Раньше хоть что-нибудь узнать об арестованных было можно, свидание получить, а теперь, как в черную бездну проваливаются... хуже чем смерть.

Борис сидел напротив с ощущением бессилия, граничащего с отчаянием. Нет, война, только война... Неужели запад не понимает, что единственная опасность для мира — это большевизм.

Наташа плакала попрежнему. На диване Сергей стонал и страшно скрежетал зубами: видимо, его мучил кошмар.

На другой день Гитлер вторгся в Польшу и началась Вторая мировая война. — Сталин всё-таки перехитрил всех: Советский Союз остался нейтральным.

Глава двадцатая

ЧИСТКА 1940 ГОДА

Павел вертел в руках повестку. Странно... «Тов. Истомин вызывается в Военкомат (Военный Комиссариат) н-ского района Москвы к 5-ти часам, комната № 2 к тов. Слонову». Указан не мой районный комиссариат, а комиссариат на другом конце города... Странно, это какой-то подвох. Время?... Это час окончания занятий... Да, конечно, это что-то скверное...

Когда Оля пришла со службы, как всегда тревожно взглянув на Павла — не случилось ли опять какой-нибудь неприятности — она сразу поняла, что на этот раз ее привычное опасение оправдалось.

— Рассказывай, что произошло.

— Не волнуйся, повестка из военкомата, — сказал Павел совсем спокойным голосом.

— Покажи... дрожащей рукой Оля взяла стандартную почтовую открытку военкомата и быстро ее прочитала. — Это не твой военкомат?

— Это не мой военкомат, — ответил Павел и глаза их встретились.

Ветер неровно теребил белую занавеску окна. Неприятная пауза была прервана вошедшей в комнату Анной Павловной. Она пришла узнать, вернулась ли Олечка и можно ли накрывать на стол.

Павел подошел к жене и крепко ее обнял. Вечер был совершенно испорчен, ночь оба спали тревожно. Уходя утром на работу и прощаясь с Павлом, Оля чуть не заплакала. Павел слушал, как ее шаги затихли на лестнице... Действительно, так хочется успокоиться и хоть немного отдохнуть. Он сел работать.

Прежде чем идти по адресу, указанному в повестке, Павел зашел в свой военкомат и показал повестку дежурному. Дежурный был краснощекий сержант с безмятежным толстым лицом.

— Ерунда, — сказал он, — чего-нибудь перепутали, можете не ходить.

Проходивший мимо военный на минуту остановился и, бросив испытующий взгляд на желтоватую открытку, посоветовал:

— Обратитесь к начальнику первой части.

Начальник первой части, прочтя повестку, сказал подчеркнуто небрежным тоном, не глядя Павлу в глаза:

— На всякий случай сходите, может быть, какой-нибудь материал на вас пришел.

Пока Павел ехал в трамвае, перед его глазами пронеслись картины предыдущих посещений военкомата — все они были необыкновенно однообразны. Павел приходил и поражался пустотой и запущенностью здания. Показывал в дверях дежурному очередную повестку. Дежурил внизу, обычно, кто-нибудь из только что призванных на очередный сбор. Он смотрел равнодушно на почтовую открытку и кивал в сторону ветхой деревянной лестницы — «наверх». Наверху Павел входил в большую низкую комнату, заставленную столами, с несколькими маленькими окошечками в соседнее помещение, где находилась канцелярия. Обычно в приемной уже сидело человек тридцать-сорок молодых мужчин тридцати лет и выше. Молча, подозрительно поглядывая друг на друга, они заполняли анкеты. Из маленького окошечка Павлу протягивали анкету и лист бумаги. «Напишите краткую биографию», — наставительно говорил грубый голос. Павел садился и в четверть часа справлялся с анкетой и биографией. Странность его положения состояла в том, что в военном комиссариате он не скрывал судимости. Почему при советской любви ко всяким проверкам, военкомат не сверялся с милицией — Павлу было совершенно непонятно. Очевидно, никому не приходило в голову, что человек, не скрывающий судимости в военкомате, может не сообщать о ней в милицию. Может быть, его считали секретным сотрудником НКВД.

Через четверть часа Павел опять шел к окошечку; обычно редко кто из торжественно склонявшихся над анкетами мужчин кончал за это время свою работу — они сидели, как шахматисты, сверяли написанное в анкете с заметками в записных книжках, вздыхали, курили и о чем-то сосредоточенно думали. Это всё были люди хорошо одетые, в пальто с массивными подложенными плечами, с кожаными портфелями, в фетровых шляпах или каракулевых шапках. Неужели у них положение еще запутаннее моего? — удивлялся Павел. Через окно он видел, как ловкие руки работника военкомата брали папку с его делом, подкладывали новые бумаги к старым и сверяли серию ранее написанных биографий с вновь переданной.

— Вы были судимы по статье 58? — спрашивал ледяной голос.

— Да, и освобожден, как ударник. Последнюю часть фразы Павел произносил с особым ударением, но небрежно, как бы вскользь давая понять, что у него есть особые основания жить в столице. — Дело идет о трехмесячном сборе, — неуверенно говорил голос.

— Знаете, если бы можно было в следующий раз, — спокойно отвечал Павел, — у меня сейчас особенно важная работа в редакции.

— Хорошо, мы вас вызовем потом, — с облегчением говорил работник военкомата. Он явно не знал, что делать с Павлом.

Теперь дело оборачивалось как-то иначе.

Грязное здание чужого военкомата выглядело неуютно и враждебно. Когда Павел вошел, большинство служащих уже расходилось — хлопали двери, щелкали в замках ключи. Павел показал повестку одному из уходящих лейтенантов.

— А, знаю, — равнодушно ответил лейтенант, — товарищ Слонов вышел, он сейчас вернется... Подождите здесь.

Павел опустился на простую деревянную скамью

приемной. Последние служащие ушли, стало тихо и пусто.

Скрипнула входная дверь, через приемную по направлению к двери с цифрой 2, написанной черной краской на притолоке, скользнула невзрачная фигура молодого человека в синем штатском пиджаке и серых поношенных брюках.

— Не вы товарищ Слонов? — спросил Павел, поднимаясь.

— Товарищ Истомин? — почти ласково спросил молодой человек, вынул из кармана ключ и открыл дверь. Комната № 2 оказалась приемным залом военкомата. Два стола, покрытые зеленым сукном, были поставлены в виде буквы «Т». Над столом висел плохо написанный портрет Сталина и литография с известной картины Герасимова, изображавшая маршала Ворошилова на фоне Кремля, верхом на рыжей лошади. Павел и тов. Слонов сели друг против друга на краю стола. Тов. Слонов поместился к окну, вежливо предложил Павлу место напротив. Лицо у товарища Слонова было толстое, глаза мутно-серые.

— Я — следователь НКВД — сухо сказал товарищ Слонов, из-под опущенных ресниц следя за эффектом своих слов.

— Очень приятно, — тоже сухо ответил Павел и прямо посмотрел на товарища Слонова.

— Мне надо записать ваши данные, — сказал товарищ Слонов и достал из портфеля лист белой бумаги.

Павел ответил на обычные вопросы о месте рождения, социальном происхождении, занятии родителей и т. д.

— Вы судились? — спросил товарищ Слонов, отрывая взгляд от бумаги и пристально смотря на Павла.

Отпираться было бессмысленно.

— Да, — ответил Павел, — за контрреволюцию, по статье 58.

— Значит, вы не имеете права жить в Москве.

— Возможно, я этого не знаю, — спокойно ответил Павел.

— Мне вас жаль, — ласково сказал товарищ Слонов, проникновенно глядя на Павла.

Будут вербовать в осведомители, — понял Павел, До моих дел не докопались, а интересуются кем-нибудь из знакомых.

— Я считаю, что был осужден по недоразумению, — сказал Павел. — Кроме того, я освобожден, как сверхударник. Если даже считать меня действительно виновным — я уже давно искупил свою вину.

— Очень хорошо, что вы ставите вопрос именно так, — еще более проникновенным голосом сказал товарищ Слонов. — Скажите, если бы вы узнали, что кто-нибудь что-либо замышляет против советской власти — сообщили бы вы об этом нам?

Всё идет по программе, — констатировал Павел. — Следователь неопытный. Надо непременно узнать, кто их интересует...

— Конечно, — ответил он совершенно естественным голосом, продолжая глядеть в глаза собеседнику.

Товарищ Слонов взял из портфеля еще лист бумаги и стал писать протокол допроса.

Несмотря на опыт и умение быстро оценивать положение, не прерывая разговора и сохраняя непринужденно открытый взгляд, Павел почувствовал облегчение, когда следователь сам отвел глаза, занявшись протоколом.

Сейчас начнет перебирать мои ответы, — подумал Павел, — во что бы то ни стало нужно узнать, кто провалился.

— Итак, — небрежно продолжал беседу товарищ Слонов, — вы обязуетесь сообщать нам о всём виденном и слышанном.

— Нет, не обязуюсь, — спокойно ответил Павел.

— Как не обязуетесь? — покраснел товарищ Сло-

нов, — если вы будете упорствовать, мы выбросим вас из Москвы!

— Видите, товарищ следователь, — Павел опять вперил в собеседника открытый простоватый взгляд, — видите, товарищ следователь, я уже один раз отсидел из-за всяких прохвостов и больше не хочу ни за кого отвечать.

— Ну и что же, — протянул товарищ Слонов, ничего еще не понимая и в то же время не снижая требовательного, властного тона.

— А то, что с меня хватит одного раза. Теперь, конечно, никаких знакомых не завожу и ни про кого ничего не знаю. Кроме того, я человек религиозный, — это теперь не в моде, — ну, и сижу себе дома.

— Очень хорошо, что религиозный, — вдруг обрадовался следователь, — и никаких новых знакомств мы от вас не потребуем.

Провалился Николай, — подумал с тоской Павел, — ...однако, следователь совсем неопытный.

— Но что же вам тогда от меня надо? — непонимающе спросил Павел.

— К следующему разу вы напишите свою биографию и принесете характеристики знакомых.

Конечно, это Николай. Хорошо, что я религиозный — значит дело идет о подпольной церкви; «новых знакомств не потребуем», — значит это старый знакомый. — Достигнув намеченной цели, Павел немного успокоился и сразу почувствовал усталость...

— Биографию я могу написать и сейчас, а знакомых у меня нет, значит, и характеристик я писать не могу.

— Так ты нас обманываешь! — заорал товарищ Слонов не своим голосом, — захотел опять в концлагерь!

Всё по шаблону: не помогает ласка, начинает грозить, не помогают угрозы, начнет что-либо обещать, — равнодушно подумал Павел и ничего не ответил.

— Что же ты молчишь? — остановился следователь.

— А что же мне крик на весь военкомат поднимать, что ли? — ласково отозвался Павел.

На этот раз следователь вспылил по-настоящему: — Ну, постой, — бросил он зло и вышел в коридор. Павел слышал, как позвякивал набираемый телефон, затем товарищ Слонов некоторое время говорил тихо, так что нельзя было разобрать слов, а затем кончил разговор нормальным полным голосом:

— Значит, автомобиль будет прислан. Потом он вернулся и как ни в чем не бывало сел напротив.

— Вам придется немного подождать, товарищ Истомин. Хотите закурить? Вот папиросы.

— Нет, благодарю, — холодно отказался Павел, — я не курю.

Следователь сидел молча, искоса следя за выражением лица Павла. Павел боялся много думать, чтобы чем-либо себя не выдать и старался быть по возможности спокойным. — Чорт их знает — могут арестовать, надо было бы успеть предупредить Николая. Как-то там Оля мучится? Может быть, больше не увижу? Павел сейчас же отогнал мысль о жене: нельзя было ничем ослаблять волю.

— Вы футболом интересуетесь? — спросил Павел.

— Нет, — сухо ответил следователь.

Опять водворилось молчание. — Если арестуют — плохо, что со мной ничего нет теплого. Скоро осень, попадать на этап в одном костюме, — гиблое дело... А может быть, и отпустят, помучат еще полчаса неизвестностью, надоест и отпустят.

Товарищ Слонов кончил курить, собрал бумаги и закрыл портфель. В переулке раздался шум автомобиля...

— Поедемте, — встал следователь. Павел пошел за ним через зал и заплеванную приемную. Скамейка, на которой он сидел час тому назад, стояла попрежнему,

лоснясь от въевшейся в дерево грязи. У подъезда ждал черный новенький автомобиль «М-1». Шофер повез их, не спрашивая куда. На Лубянку или в Бутырки, — старался сообразить Павел по улицам. Но улицы незнакомого района ничего ему не говорили. Шел дождь, прохожие торопились по домам.

Автомобиль круто свернул в сторону и остановился у подъезда большого дома. На подъезде была вывеска: «Районный Совет ... района города Москвы». Павел знал, что в каждом районе есть секретное отделение НКВД, вербующее осведомителей. Пока что дело идет не об аресте.

Вслед за Слоновым Павел прошел большую комнату с множеством дверей, приемную Совета, вошел в небольшую дверь в конце приемной и очутился в коротком коридоре секретного отдела. Оставив здесь Павла, следователь скрылся за одной из дверей. Через минуту Павел был введен в кабинет. Кабинет был просто и уютно обставлен, на полу лежал ковер, в противоположном углу, наискось к окну, стоял большой письменный стол. За столом, выпрямившись во весь рост, в негодующей позе застыл высокий молодой лейтенант НКВД.

Не предлагая сесть, лейтенант с презрением и гневом обратился к Павлу.

— Вы упорствуете и вводите органы власти в заблуждение. Мы выбросим вас из столицы, вы — враг советской власти. Если вы будете еще упорствовать, вас ожидает гораздо худшее.

Павел вспомнил, что на первом допросе, десять лет тому назад, следователь сразу упомянул о пяти годах концлагеря, срок, который и был дан Павлу. Остальные угрозы менялись: расстрел, десять лет, арест матери — всё это было, но срок пять лет повторялся чаще всего. Теперь чаще всего говорят об удалении из Москвы. Очевидно, выбросят-таки.

— Вот что, товарищ следователь, — обратился Па-

вел к высокому молодому человеку, — я уже говорил товарищу Слонову, что готов ответить за себя, но не собираюсь отвечать за других — довольно одного раза. Дать чью либо характеристику — значит принять на себя большую ответственность. Вы ведь не хотите, чтобы я на кого-либо клеветал?

— Конечно, — лейтенант невольно потерял взятый вначале тон.

— Так вот, — продолжал Павел, перебивая, — клеветать нельзя, плохого я ни о ком ничего не знаю, потому что веду очень замкнутый образ жизни. — Павел все время напирал на замкнутый образ жизни. — А писать хорошее опасно. Вон народные комиссары, и то вредители оказываются! Так уж лучше сажайте меня за мой отказ, чем я возьму на себя ответственность за других.

Говоря все это, Павел смотрел на нового следователя так же прямо и открыто, как перед этим смотрел на товарища Слонова, сидящего теперь сбоку, чтобы лучше следить за лицом Павла.

Тонкое злое лицо лейтенанта нервно подергивалось, но Павлу было ясно, что он правильно учел психологию следователя — своеобразная аргументация производила должное впечатление. Чекисту всё сказанное казалось понятным и логичным, вместе с тем ему надо было заставить Павла сделаться осведомителем, поэтому лейтенант закричал, стуча кулаком по столу:

— Я не позволю обманывать советскую власть!

Играть, так играть, — решил Павел. Подошел ближе к столу и тоже стукнул кулаком по столу.

— Вот именно, я не хочу обманывать советскую власть, поэтому и говорю сразу всю правду.

Это окончательно сбило следователя с толку, он перешел на нормальный тон, предложил Павлу сесть и весь допрос начал сызнова. Время шло, мозг Павла работал уже не с прежней ясностью. Противники тоже

заметно устали, лица их осунулись, под глазами появились черные круги.

Работенка у них не из приятных, — подумал Павел, — недаром столько работников НКВД в нервные санатории попадает.

Допрос переходил из интимно-дружественного тона на грубую брань и угрозы, от угроз к дружественному тону, отклонялся в сторону, касаясь совершенно посторонних тем для того, чтобы утомить и отвлечь внимание Павла и затем неожиданно задать наиболее каверзный вопрос, — и всё это неизбежно кончалось предложением стать осведомителем.

Под утро измученный Павел неожиданно для себя допустил крупную ошибку: рассчитав заранее, до какого предела можно уступить, благодаря переутомлению, он перешел намеченный рубеж.

Всякий допрос есть шахматная игра. Допросы, связанные с вербовкой в осведомители, были столь часты, что русское подполье разработало ряд вариантов защиты. Основным правилом всех вариантов было максимальное сохранение сил и минимальное количество произнесенных слов. «Говорить надо поменьше», — поется в известной песне. Павел знал все эти варианты, считался знатоком техники ответов на допросе и именно поэтому, слишком уверенный в своих силах, — допустил ошибку.

В классической формулировке: «Я, как каждый гражданин Советского Союза, знаю, что если мне станет известно о каком-либо заговоре, направленном против советской власти, я буду обязан поставить об этом в известность соответствующие органы», — по существу, не было ничего страшного: недонос в СССР все равно карался. Важно было не принять на себя специальных обязательств. Правда, были варианты тактики, придерживаясь которых можно было избежать и этой сомнительной формулы, но тогда нельзя было много разговаривать и, стало быть, вырвать из следова-

теля необходимые данные, как это удалось сделать Павлу с неопытным Слоновым. Оступился Павел на том, что согласился подписать, что «в случае, если узнает о какой-либо контрреволюционной работе, то сообщит об этом товарищу Слонову». Правда, к протоколу, написанному рукой Слонова, была приписка самого Павла: «но от всякой постоянной работы такого рода категорически отказываюсь», — тем не менее, уже сделав приписку, Павел понял свою ошибку.

Почему именно товарищу Слонову? Формула из противной, но безобидно общей делалась опасно конкретной.

Павел хотел порвать протокол, но товарищ Слонов с ласковой улыбкой спрятал его в портфель.

— Итак, товарищ Истомин, мы теперь с вами друзья. Через неделю вы нам привезете автобиографию и характеристики знакомых.

— Автобиографию — да, характеристики знакомых — нет, — зло ответил Павел.

— Ну, об этом у вас будет время подумать... Итак, через неделю!

Оба измученных следователя, видимо, радовались, что как-то закончили дело с Павлом.

Выйдя на улицу, Павел почувствовал себя более несчастным, чем если бы получил приговор на 10 лет концлагеря.

Было уже утро. Дворники мели тротуары, появились первые прохожие. По небу бежали обрывки серых облаков.

Дверь открыла Оля, пошатнулась, судорожно обняла Павла и, стараясь не разбудить соседей, на цыпочках прошла в комнату. Анна Павловна сидела на диване, закутавшись в шаль. На этажерке около дивана стояла икона Николая Чудотворца и догорала лампадка — обе женщины целую ночь молились.

— Ну, как? — спросила Оля тревожным шопотом.

— Не так плохо, — с трудом ответил Павел, — напутал немного с протоколом.

Оля болезненно вздрогнула и впилась в мертвенно бледное лицо Павла. Павел рассказал все со всеми подробностями

— Я боялась чего-нибудь гораздо худшего, — успокоенно прошептала Оля, — когда ты вошел, у тебя было такое лицо... Ну поешь скорее, — захлопотала она, — а мне на службу.

Анна Павловна перекрестилась на икону и вышла приготовлять завтрак. Павел и Оля опять сели.

— Говори скорее, кого и о чем предупреждать, — заговорила Оля торопливо деловым, почти спокойным голосом.

— Все связи мои с Николаем прерываются на неопределенное время, его специально предупрежу сам. Все мои связи переходят к Борису. По дороге на службу зайди на автомат и передай Любе тревожный сигнал.

К вечеру вся группа знала о случившемся.

Беда никогда не приходит одна.

Работая в библиотеке редакции, Павел поднял голову от рукописи и вдруг встретил взгляд очень знакомых, внимательных глаз. Это были глаза ищейки — острые, неестественно напряженные, бегающие.

Высокий молодой человек стоял на другом конце комнаты около полуоткрытой двери и внимательно смотрел на Павла. Черные шкапы нахмурились, свет тусклого дня еще потускнел. Павел сразу понял, что попался: но в чем и как, еще сообразить не мог. Кто это?.. Павел, наконец, вспомнил: да, это он... Конец НЭП'а, вечер у Наты, танцующие пары и этот расхлябанный и вызывающий — это Сергей, родственник Наты, сотрудник уголовного розыска, поклонник ее сестры. Молодой человек, повидимому, тоже узнал Павла — теперь он радостно улыбался и дружески подмигивал.

— Здорово! Как живешь? — спросил Павел, принимая грубовато дружеский тон, которым он обыкновенно разговаривал с подобными людьми, и одновременно выходя в вестибюль, где их разговор не мог быть никем услышан.

— Ты ведь был арестован? — Сергей глядел с любопытством.

— Был... — Павел прямо посмотрел в бегающие глаза, они еще больше забегали и опустились.

— Работаешь здесь?

— Работаю. А ты?

Сергей запнулся, отвечая.

— Я теперь ушел из уголовного розыска. Я тут в фотолаборатории.

— Бываешь попрежнему у Тумановых?

— Нет, они ведь повыходили замуж.

Разговаривать больше было не о чем.

Павел хотел сразу предупредить о случившемся Антонину Георгиевну, но на беду она была нездорова и не пришла в этот день на службу. Работа у Павла не клеилась, он сдал книги и вышел. Надо сегодня же зайти к Антонине Георгиевне.

Когда Павел кончил рассказ, карие глаза Антонины Георгиевны стали совершенно черными. Застал он ее в кресле, завернутую в плед и одетую в фуфайку: грипп второй день ломал ее.

— Устала я от всего этого, — неожиданно вырвалось у нее, — неделю тому назад арестовали несколько бывших эсеров, они все давно не занимались никакой политикой, кое-как жили переводами, литературно-справочной работой...

— Бог милостив, — грустно заметил Павел, — всё проходит, пройдет и это трудное время.

— Вы в Бога верите?

— Верю.

— А я не верю... Вы счастливый, у вас есть какая-то надежда — просвет какой-то. Ну, это всё ерунда, — упрямо тряхнула головой Антонина Георгиевна, — дня через два поправлюсь. Если он донесет, конечно, будет скандал, но не унывайте, что-нибудь выдумаем.

В кабинете Павла встретил заместитель главного редактора, недавно принятый на службу: не писатель, не журналист, не филолог, а бывший военный, ловкий, пронырливый человек лет тридцати пяти.

— Товарищ Истомин, я хотел вас спросить... — заместитель сделал неприятную паузу, — действительно, вы были судимы за контрреволюцию?

— Это вам Сережка рассказал ? — спросил Павел.

Такого оборота дела зам. не ожидал. Кроме того, в тоне Павла было что-то независимо панибратское, заставляющее думать о наличии заручек и связей. Глаза зама посмотрели в сторону.

— Видите ли, товарищ Истомин, — переменил он настойчиво деловой тон на интимно дружеский, — я спрашиваю вас только потому, что вы так давно связаны с нашей редакцией, а мы до сих пор ничего не знали. Собственно нам самим до этого нет дела, но вы сами понимаете — бывают разные проверки...

Павел очень хорошо понимал, какие бывают проверки. Делать было нечего, игра была проиграна.

— Я попрошу вас зайти к начальнику отдела кадров и заполнить анкету.

Павел вышел из кабинета и направился к тому самому столу, где несколько лет назад получил анкету, так во время уничтоженную Антониной Георгиевной.

— Мне надо заполнить анкету, дайте, пожалуйста, бланк, — сказал он деревянным голосом тому же голубоглазому блондину, с которым разговаривал тогда. По выражению удивленных глаз, Павел понял, что тот еще ничего не знает. Ясно, что заместитель редакто-

ра не связан непосредственно с НКВД, — решил Павел.

По мере того, как Павел писал ответы на бесконечные вопросы анкеты, ему делалось все больше и больше тошно, безысходная тоска охватывала сердце. Железное кольцо рабства безжалостно смыкалось у его шеи. Пять лет борьбы, выдержки, нечеловеческого напряжения — всё было уничтожено сразу. — Если пойти и дать согласие на секретную работу в НКВД, они сразу ослабят нажим, — подумал Павел с отвращением, — добро бы так поступали со мной одним...

Перед глазами встал образ школьного приятеля Анатолия... гроб поперек комнаты и недоверчивое измученное лицо сестры Анатолия. Да, большевизм — это сифилис, от которого гниет не тело, а душа русского народа: это не просто порабощение, это — попытка морально разложить целый народ. Даже татарское иго было лучше. Война, только война, как страшная хирургическая операция, может уничтожить источник болезни.

Павел подписал анкету и передал голубоглазому мужчине: тот быстро прочел ее, дошел до параграфа о судимости — кашлянул от неожиданности, покраснел и, не глядя на Павла, схватив анкету, скрылся в кабинете директора.

Павел медленно, как раненый, повернулся и пошел к выходу. На лестнице его нагнала Антонина Георгиевна — старая революционерка была сегодня в форме: озорные глаза блестели, как уголья, о душевном упадке и помину не было.

— Я сейчас от главного редактора, выдержала за вас отчаянный бой, с самостоятельного договора вас снимают, но удалось уговорить его присоединить вас к договору, заключенному Феоновым. К сожалению, большего сделать не могла, да и это уже кое-что.

Павел остановился в нерешительности. Да это было уже кое-что, но... Феонов, коммунист, ловкач и совершенно беспринципный человек, набирал работ

столько, что сам справиться не был в состоянии — дело ясное, всю черновую подготовительную работу должен будет делать Павел, а Феонов поставит на книге свое имя, напишет предисловие в марксистском духе, вставит в текст свои рассуждения и получит львиную долю гонорара... да, всё-таки это было кое-что...

— Вы недовольны?

Павел только теперь заметил, что Антонина Георгиевна постарела и осунулась. Прядь седых волос выбилась из-под гребня, воткнутого в собранный на затылке пучок, и свисала на пересеченный морщинами лоб, крепкие широкие плечи как-то обвисли.

— Большое спасибо, Антонина Георгиевна! — пожал Павел сухую тонкую руку, — большое спасибо. В настоящих условиях это меня вполне устраивает.

Примерно раз в месяц Павла продолжали вызывать в ненавистный Райсовет и требовать то же самое — доносов на знакомых. Приходилось врать, хитрить, подделываться под тон следователей и одновременно напрягать всю волю, чтобы не сдаться, не допустить новой ошибки. Ни одной характеристики Павел так и не принес, он не дал показаний ни на кого. Борьба была тупая, однообразная, жестокая, похожая на агонию. Оля осунулась, побледнела и уже много раз предлагала мужу бросить проклятую столицу, уехать куда-нибудь в глушь, устроиться на любую работу и жить так, чтобы не трогали. Павел доказывал, что это бессмысленно: в глуши было тоже правительство и те же трудности, только при меньших связях и меньших возможностях маневра. Потерять раз Москву, значило потерять ее навсегда, значило прекратить политическую работу, как прекратили ее уже очень многие. Кроме того, Павел был уверен, что война всё-таки неизбежна и надо было держать вместе хотя бы ту малень-

кую организацию, которую удалось создать с таким трудом. В личном плане уехать куда-то от родных и знакомых, потом быть призванным и оставить Олю среди чужих людей — было тоже бессмысленно. — Буду держаться до конца, — решил Павел, — а если меня доканают до начала военных действий, перейду на нелегальное положение. При этих словах глаза Оли наполнялись слезами. Нелегальная жизнь в Москве в 1940 году казалась ей абсурдом.

— Не бойся, — старался крепиться Павел, — мы достаточно сильны, чтобы спрятать несколько человек на несколько месяцев.

Ночи стали длинными и тягостными. У изголовья на этажерке горела лампадка. Белые занавески, как саваном, закрывали темные окна — было что-то зловеще обреченное в комнате. Павел предпочел бы обстановку концлагерного барака — там хоть терять было нечего, можно было уйти во внутреннюю жизнь, недоступную НКВД. Здесь было слишком много дорогого, ставшего родным. Павел стал часто просыпаться ночью и лежать в темноте с открытыми глазами. Оля спала, беспокойно вздрагивая, иногда шепча что-то торопливым неровным шопотом — шопот этот напоминал Павлу бред умирающей матери, — потом Оля успокаивалась, свертывалась беспомощным комочком и казалась бесконечно маленькой и жалкой. — Господи, — начинал молиться Павел, — дай сил ей и мне перенести всё это. Приходило суровое примирение, отказ от тихой семейной обстановки казался уже менее трудным. В той жизни все дорогое сольется в непонятной теперь для нас гармонии: высшие ценности не погибают. Иногда Оля становилась на молитву рядом — это еще больше успокаивало Павла.

Глава двадцать первая

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

По Москве ходил анекдот по поводу освобождения польских белоруссов и украинцев. Перефразируя официальный лозунг, говорили: «Мы протянем вам руку, а ноги вы протянете сами». Большевизм, одевшийся в новую тогу национал-большевизма, начал брать силой то, что не мог взять агитацией.

Все были взволнованы и напряжены. Чувствовалось, что большевизм вступил в новую фазу. Будет ли эта фаза последней, роковой для системы? — думали одни. Большевизм перестает быть большевизмом, он повернул в сторону национализма, он эволюционирует, он должен будет отказаться от колхозов, концлагерей и крайностей системы — он будет приемлемым, — думали другие.

И первые и вторые с напряжением ждали надвигающихся событий. Нажим внутри страны между тем всё возрастал, вышел закон об опозданиях на работу. НКВД чистило крупные города от неблагонадежного элемента. Жизнь дорожала, продуктов становилось опять меньше. Одновременно миллионы красноармейцев увидали Европу. Правда, только Польшу, но и это для многих было открытием.

Борис срочно вызвал Павла к себе. Приехал инженер, член организации, только что вернувшийся из «освобожденной» Польши. Павел пожал руку высокому нервному мужчине и сел. Родителей и Любы не было дома, Владимир и Борис уже начали расспросы до прихода Павла.

— Повидимому, после разгрома организации Тухачевского Красная армия потеряла лучших команди-

ров. То, что я видел, свидетельствует о хаосе, неспособности что-либо организовать и об отвратительном отношении к красноармейцам. Колонны вступали в Польшу так густо, что, появись вражеская авиация, погибли бы тысячи и совершенно зря. Вооружение Красной армии хорошее, обмундирование тоже, но доставка организована так, что снабжение попадает не во время и не туда, куда надо. Я думаю, что если бы армия встретилась с немцами, то была бы разбита моментально.

— А каково отношение населения? — спросил Борис.

— Дураки! — махнул рукой инженер, — ничего в начале не понимали, думали, что действительно идут их освобождать. Евреи-торговцы продавали вначале за облигации займов, говорят, надеялись хорошо спустить всякую заваль, а потом поехать в Москву и купить новый товар.

Все невольно засмеялись: облигации в Москве принимались в залог за 1/3 номинальной цены и то с разными ограничениями; фактически это были погибшие деньги.

— Сам-то успел что-нибудь ухватить? — спросил Владимир.

— К сожалению, попал к самому концу: всё подорожало, хотя и было в несколько раз дешевле нашего — купил только два костюма и английское летнее пальто за 200 рублей, мне за него давали уже 1.500 рублей.

— Воображаю, как у наших глаза разбежались, — подмигнул Борис.

— Это даром для власти не пройдет, — продолжал инженер, — все теперь видели, как живет Европа: ведь там побывало несколько миллионов красноармейцев, это не шутки — это такая антибольшевистская агитация, что лучшего и выдумать нельзя.

— Добро, — ухмыльнулся Борис, — это нам на руку. А как бы ты расценил шансы Красной армии в случае столкновения с Германией?

— Видите, — инженер всё еще был очень взволнован всем им пережитым, — я думаю, что та армия, которая была в Польше, мало боеспособна; возможно, у них есть где-нибудь части лучше, но сомневаюсь. А если вся Красная армия такова, то поражение неизбежно.

— А как с патриотической пропагандой?

— Офицеры и молодежь частично ею захвачены, но масса вновь мобилизованных, в особенности после всего виданного, воевать не станет. Еще одно любопытно: ведь вот в Москве много интеллигенции, ничего не скажешь, но когда я посмотрел на всю серую массу в целом, прямо удивительно — куда подевались интеллигентные люди, иногда прямо жутко было. Нам в одном городе прием устроили. Всё честь честью: в хорошем ресторане, скатерти, сервировка. Так можете себе представить, когда принесли закуску, все повскакивали и начали в селедку вилками тыкать.

— Как бы не опоздать, а то чего доброго, недостанется, — ехидно подмигнул Борис.

— На другой день прихожу в этот же ресторан, — продолжал инженер, — смотрю, скатерти убраны и, вместо них, клеенки постелены. Прямо стыдно стало, а ведь все офицеры были.

— Ничего не поделаешь, — грустно заметил Павел, — старую интеллигенцию разгромили в начале революции, новую Ежов и Ягода уничтожили больше, чем на половину, ну а самоновейшая не успела приобрести никаких культурных привычек.

— А что говорят о войне в армии? — обратился Борис к инженеру.

— Против немцев пока никаких выпадов не заметил, но сами солдаты и офицеры прекрасно понимают, что в случае разгрома Англии и Франции, столкновение с Гитлером неизбежно.

— Ну, а каково отношение к немцам? — опять вернулся Борис к больному вопросу.

— Всякому в душу не влезешь. Сам я пораженец при любых условиях, а армия вообще за советскую власть воевать не хочет, но немцев по традиции еще 1914 года не любят. При таком переплете трудно что-нибудь предсказывать.

Промучив все лето допросами, Павла, наконец, оставили в покое. Потерявший терпение следователь стукнул кулаком по столу и тихо, устало прошипел: — Ну, ладно, иди, если не хочешь, но из Москвы мы тебя всё равно вышибем.

— Вышибай, если можешь, — ответил Павел примирительно, — а пока подпиши пропуск, я спать пойду.

Холодное октябрьское небо выглядело из-за высоких серо-голубых стен темных домов. Было около часа ночи. Не хотелось ни думать, ни чувствовать. Силы иссякли. Походить бы так по ночному, гулкому городу, отдохнуть... Оля, бедная, ждет, молится, боится, что арестуют, надо ее хоть немного утешить. Павел зашагал по улице. Может быть, скоро опять расстанусь со столицей, приближается праздник октябрьской революции — надо хоть раз сходить посмотреть, что из себя представляет демонстрация на Красной площади... может быть, сумею уловить настроение толпы. Выгонят — никогда больше не увижу: всё-таки, как никак, фрагмент из истории России.

Демонстрация в честь годовщины октябрьской революции, проходившая по Красной площади со стороны города в направлении к Москва-реке, начиналась сразу же после военного парада, в 12 часов дня, и затягивалась, обычно, до 5-6 часов вечера.

С 9 часов утра центр города оцеплялся милицией, движение городского транспорта прекращалось, а участники демонстрации должны были в это время нахо-

диться уже на местах сборов своих учреждений и предприятий. Павел шел со стороны Москва-реки через Каменный мост. Было начало десятого часа. На набережной он натолкнулся на цепь милиции. Милиционеры стояли серые, важные, молчаливые и безжалостные, в новых шинелях и белых перчатках, сплошной цепью, с интервалами шагов в десять.

— Вы куда, товарищ?

Павел, со свойственной каждому советскому человеку настойчивостью, попытался пройти мимо цепи.

— Я иду на демонстрацию, я...

— Здесь проход закрыт, можете идти налево.

Налево, вдоль набережной, насколько можно было разглядеть, стоял сплошной ряд милиционеров. В кои-то веки собрался на демонстрацию и не пропускают, — подумал с раздражением Павел. В это время рядом с ним прошла пожилая женщина, показывая паспорт, она жила в доме напротив и ее пустили. Павел отошел в сторону, постоял несколько минут и, когда милиционер, с которым он только что разговаривал, отвернулся, подошел к цепи с другого края моста и сказал: — Я иду вон в то парадное.

Молодой, широкоплечий блюститель порядка посмотрел на него в нерешительности и уже хотел не пускать, но в этот момент Павел шмыгнул мимо и сразу скрылся за дверью. После этого ему оставалось только постоять немного на темной лестнице, незаметно выйти и направиться на Зубовскую площадь к месту сбора своего учреждения. На демонстрацию и то с хитростью, — думал он, шагая по улице Крапоткина, бывшей Пречистенке. Внутри оцепления можно было ходить беспрепятственно. Из-за отсутствия трамваев и автобусов улицы казались странно пустыми и праздничными; народу было много. Из многочисленных громкоговорителей лились хриплые марши и песни. Дома были украшены флагами, портретами вождей и лозунгами, написанными белыми буквами на красном дешевом кумаче.

Встречавшаяся молодежь заметно была увлечена шумом, маршами, красными флагами и ожиданием чего-то. Мимо прошло несколько оживленно болтающих школьниц старших классов, украшенных красными ленточками и всевозможными значками, начиная с ГТО, кончая комсомольскими металлическими флажками с буквами КИМ. Павла всегда отталкивала советская зеленая молодежь, если она бывала в массе. Ритм песен, шумные возгласы — всё это ему казалось искусственно бодрым, нервным и неестественным, всё это было рассчитано на то, чтобы не дать сосредоточиться, создать искусственный подъем и увлечь в направляемом скрытой волей порыве. Молодежь охотно отдавалась этому, и если и не была действительно счастлива, то в массе не замечала своего несчастья. Люди среднего возраста и пожилые шли усталые и озабоченные.

Не без труда Павел отыскал свое учреждение.

— Товарищ Истомин! — с деланным весельем закричал, увидя его, заведующий отделом кадров. Он был все в той же неизменной кожаной куртке и в кепке на голове, — присоединяйтесь скорее к нашему коллективу.

— Мерзавец, — подумал Павел, — ты бы лучше поменьше доносил.

Главный редактор, массивный, толстый, в прекрасно сшитом пальто, выглядел издали старорежимным барином; около него суетились две секретарши, Антонина Георгиевна прохаживалась в стороне с независимо мрачным видом.

— Что вы для праздника такая задумчивая? — громко крикнул ей начальник отдела кадров.

— У меня грипп, — ответила она сухо.

— Хорошо, что пришли, — услышал Павел над ухом вкрадчивый голос. Это был его соработник Феонов, полнеющий лысоватый мужчина с лоснящейся физиономией и редкими зубами, через которые, когда он говорил, брызгала слюна.

Павел не нашелся, что ответить: он знал, что этот жирный, преуспевающий карьерист заинтересован в нем, как в дешевой рабочей силе, и поэтому следит за его лойяльностью в отношении советской власти.

На доме, около которого они стояли, красовался портрет Сталина с девочкой на руках; Сталин ласково улыбался из-под щетинистых усов и улыбка его походила на оскаленную пасть волка, готовящегося проглотить Красную Шапочку.

Пронзительный ветер прямо препятствовал веселью, он рвал с древков знамена, поднимая столбы пыли и нес в злом вихре бумагу от бутербродов, окурки и обрывки плакатов. Весь бульвар и оба тротуара были полны толпой: надо было дожидаться в течение нескольких часов очереди, чтобы демонстрировать свою мощь и преданность вождям революции.

Кое-где образовались кружки, и под аккомпанемент ритмического хлопанья в ладоши, озябшие фигуры пускались вприсядку; многие боролись и прыгали на одной ноге, чтобы согреться. Постепенно становилось все скучнее и скучнее, деланные шутки никого не веселили, все начинали посматривать на часы и с тоской думать о том, как хорошо было бы очутиться дома в теплой комнате. Павел заметил, что парторг редакции, маленькая коренастая женщина с добрыми ясными глазами, ходит по рядам с записной книжечкой и проверяет наличие сотрудников. Поровнявшись со стоявшим в этот момент около Павла начальником отдела кадров, она тихо сказала:

— Пятнадцати человек нет.

— Может быть еще подойдут, — ответил тот, делая серьезное деловитое лицо.

— Вы выделили уже старших для каждого ряда?

— Выделил.

— Так их надо инструктировать.

Павел хорошо знал парторга Максимову, это была неумная, очень хорошая девушка, выдвинутая благо-

даря своей партийности, — искренне хотевшая верить в коммунизм и раздавленная бесконечными партийными чистками и проверками. После ежовщины она стала истеричной и раздражительной, теперь на ней лежала неприятная обязанность учета не пришедших на демонстрацию и слежка за пришедшими. Каждое учреждение, входившее в колонну, строилось отдельно, разбиваясь на ряды по пять человек, причем в каждом ряду заранее назначался старший, на обязанности которого лежал надзор за тем, чтобы к ряду не примазался кто-либо посторонний и чтобы ни у кого из демонстрирующих не было в руках портфелей, свертков, зонтиков или палок. Все веселье, все демонстрирование «преданности и энтузиазма» строго регулировалось сверху. Лозунги, которые выкрикивались с трибун и писались на плакатах, транспарантах и знаменах, опубликовывались в газетах за день до демонстрации. Ничего выдумывать из головы было нельзя. Относительно нападок на очередных «плутократов», «прислужников капитализма» или «фашистов» давались специальные инструкции. Для собственного творчества масс оставалась только возможность, прождав несколько часов на улице, пройти через Красную площадь.

Наконец, впереди почувствовалось какое-то движение, начали устанавливаться в колонны.

— Вы, Павел Александрович, будьте в моем ряду, — тучный коллега по работе, вежливо улыбнулся.

— С удовольствием, — ответил Павел, становясь в ряд.

После долгого ожидания предстоящее движение радовало и оживляло. Где-то впереди заиграл военный оркестр, взвились знамена и колонна двинулась. В общем движении всегда есть нечто захватывающее и увлекательное, — когда же движется многотысячная толпа, она невольно тянет за собой каждого отдельного человека.

На балконе универмага, на углу Арбата, стояли чле-

ны Районного Совета, вожди небольшого калибра, выкрикивающие затверженные лозунги. Возбужденная движением толпа, почти не слыша лозунгов, грянула в ответ «ура» и прошла мимо. Было уже около двух часов. — Может быть, нас сразу же пропустят, — подумал Павел и, обернувшись к марширующему справа Феонову, спросил его мнения об этом.

— Может быть, — радостно ответил тот, выдавая этим свое небезразличное отношение к времени возможного возвращения домой.

Весь Арбат был пройден без остановки. С Арбатской площади колонна повернула вдоль Никитского Бульвара, свернула направо по улице Герцена, дошла до консерватории и... застряла. Опять началось бесконечное ожидание, и энтузиазм, как рукой сняло. Теперь сказывалось уже не нетерпение, не досада на бессмысленную трату времени, а настоящее утомление. Главный редактор незаметно «смылся» домой, в колонне нехватало теперь уже не пятнадцать человек, а человек тридцать; бедная девушка-парторг опять ходила по рядам с записной книжечкой и, стыдливо опуская глаза, проверяла списки.

От нечего делать, Павел вошел в здание консерватории. В просторном, украшенном колоннами гардеробе, связанном для Павла с самыми приятными воспоминаниями о симфонических концертах, грелась толпа народу; несколько студенток-консерваторок в красных узбекских костюмах, шурша яркими юбками и позванивая монистами и бубнами, репетировали национальные танцы — медленные, пряные, грациозные. Это было такое солнечное пятно на общем крикливом, красносером фоне демонстрации, что Павел забыл про усталость и невольно залюбовался экзотическим зрелищем. Вдруг толпа хлынула из вестибюля на улицу, вся улица текла народом, теперь чувствовалось, что уже больше остановки не будет — знамена, плакаты, транспаранты, портреты вождей торжественно плыли над

головами людей: опять мощная стихия подхватывала и уносила индивидуальности.

Павел нагнал своих и стал в предназначенный ему ряд. Поток людей, выливавшийся на площадь перед Историческим Музеем, принимался в заранее подготовленные русла, состоявшие из ряда шеренг, специально для этой цели мобилизованных коммунистов, военных и НКВД. Подход к Красной площади и сама площадь были перегорожены как бы живыми заборами, делившими демонстрацию на десяток каналов; между каждым потоком стояли две шеренги спиной друг к другу и лицами к демонстрантам. Стихия моментально была рассечена, вытянута и обуздана. Мимо Павла мелькали суровые сосредоточенные лица стоявших в шеренгах людей, сверливших глазами каждого проходящего. «Быстрее!» — беспрерывно кричали они. Впереди колонны образовался разрыв длиною в сотню метров — непозволительная лысина в потоке людей, вливавшихся на площадь.

— Скорее, скорее! — понукания делались всё грубее. Колонна побежала. Павел покосился на толстого коллегу, страдавшего отдышкой: лицо его побледнело, на лбу выступили капли пота, бедняга хрипло дышал и бежал, тяжело переваливаясь. Голова колонны Павла нагнала хвост колонны, ушедшей вперед, у самого входа на площадь. Приближался самый торжественный момент — впереди показался мавзолей. На красноватом мраморе мавзолея высилось несколько фигур в теплых пальто, кепках, папахах и фуражках сталинского фасона. Перед мавзолеем сплошной стеной стоял громадный военный оркестр и еще масса военных. Сталина, повидимому, на трибуне не было. Поток Павла шел третьим от мавзолея.

— Скорее, скорее! — торопили суровые люди, стоявшие в боковых шеренгах.

Павел оглянулся. С двух сторон Исторического Музея и из Никольской на площадь выливались тыся-

чи людей; все гигантское пространство площади колыхалось сплошным потоком быстро движущихся голов. Такого скопления народа Павел еще никогда не видел после похорон патриарха. Несмотря на грубые окрики с боков, несмотря на скорый шаг, так не гармонирующий с понятием демонстрации силы и преданности, — в этом стремительном движении сотен тысяч людей было что-то величественное и могучее.

Вожди на трибуне казались маленькими и ничтожными. Кто-то, кажется Калинин, поднял руку и крикнул в микрофон очередной затверженный лозунг — толпа ответила слабым «ура» и быстро пошла дальше. Мимо Павла промелькнула величественная фигура бронзового Минина, простиравшего вдаль могучую длань, и рвущиеся в облака завитки куполов Василия Блаженного.

— Как по-твоему, финская война не сыграет для подрыва престижа советской власти ту же роль, какую сыграла русско-японская война для подрыва престижа царского правительства?

В нише окна, в комнате Николая, сидели: Николай, Павел и обветренный, загорелый, выцветший от мороза и бессонных ночей, Юрий Семенов, старый товарищ Николая, только что прибывший с Карельского перешейка. Потускневшие глаза Семенова с удивлением посмотрели на сказавшего эту фразу Николая — видно было, что Юрий чего-то не понимает.

— Вначале финны нас били, как хотели, — ответил он, наконец, с расстановкой, — но последнее время падает дот за дотом и наши войска неуклонно продвигаются вперед. — Семенов принадлежал к одному кругу с Павлом и Николаем, он тоже был тесно связан с православной церковью, только арестован на четыре года раньше остальных и поэтому не принял участия в создании организации. В даль-

нейшем Желтухины постоянно собирали для него деньги и посылали посылки. Окончив срок, в момент ареста остальных, Юра был одним из тех, кто осел в провинции и постепенно потерялся. Он оказался мобилизованным на финский фронт, получил звание старшины и приехал в Москву после легкого ранения. Теперь он выздоровел и должен был возвращаться в часть.

Павел и Николай переглянулись.

— Ты что же, стал советским патриотом? — прямо спросил Николай.

— Я ничем не становился, я всегда был русским патриотом, — ответил Юра.

— И ты считаешь, что русские патриоты заинтересованы в том, чтобы большевизм поглотил еще маленькую героическую Финляндию? — вмешался Павел.

— Это дело не большевистское, а чисто русское, — нахмурился Семенов. — России нужно обеспечить безопасность Ленинграда — пускай это сделают большевики, мне все равно. Не хотите же вы, чтобы к несчастьям внутренним присоединились еще поражения внешние. Это значило бы идти против интересов народа в целом.

— А как по-твоему, — вспыхнул Николай, — праздник Покрова Богородицы почитался на протяжении тысячелетий народом в целом?

— Да, — не сразу понял Семенов.

— Ты, конечно, знаешь, что это за праздник?

— Знаю... — Семенов начал догадываться и несколько смутился.

— Так ты должен знать, — разгорался всё больше Николай, — что в Покров русский народ празднует чудесное спасение Богородицей христианской Византии от наших предков — славян, язычников, хотевших захватить ее с целью грабежа — как видишь, иногда поражение может стать всенародным праздником.

— Что же ты этим хочешь сказать? Финляндия не Византия, — неудачно возразил Семенов.

— Финляндия не Византия, но, согласись, что Финляндия страна христианской культуры, маленькая, неагрессивная, а на нее нападают русские люди во имя атеистического коммунизма, принесшего тем же русским только одни несчастия.

— Ну, в советской системе есть и неплохие стороны, — неуверенно ответил Семенов.

— Я думаю, что язычники славяне не хотели, по крайней мере, вводить в Византии колхозы, — улыбнулся вдруг Николай.

При упоминании о колхозах Семенов тоже не выдержал и улыбнулся.

— Это правда, в языческой Руси колхозов не было, но ты скажи прямо — ты сам безоговорочный пораженец?

— Если материальный ущерб может содействовать духовному обновлению народа, я всегда буду рад военному поражению большевизма.

Семенов покачал головой и грустно задумался.

— А я всё надеюсь, что, став на путь национализма, большевизм так и покатится дальше к православию.

— Как бы он не попытался сделать православную церковь орудием Коминтерна! — ответил Николай, — от митрополита Сергия можно ждать многого.

— Да, его всегда считали человеком слабым, — согласился Семенов. — Ну, прощайте, ребята, — поднялся он, — мне пора. Не думайте, что я переменился... может быть, вы и правы, только...

— Что только? — спросил Николай.

— Только, когда видишь, что своих бьют, — обидно, — вздохнул Семенов.

— Для меня обиднее, когда своих сажают в концлагери, загоняют в колхозы, заставляют глумиться над религией и умирать за Третий Интернационал, — ответил Николай.

— Обработали! — вздохнул Павел, когда несколько смущенный Семенов ушел.

— Ничем не брезгают, — взволнованно заходил по комнате Николай, — они согласятся проповедывать магометов рай, вместо социализма, если это будет тактически необходимо.

— Как бы они нас на национализме не обыграли! — сказал Павел. — Я убедился на Красной площади, что всякое массовое движение, даже насильно организованное, очень увлекает, а если к этому добавить, что все способные проявить инициативу систематически из этой толпы изымаются, то дело может обернуться совершенно не в нашу пользу.

Николай ничего не ответил и продолжал молча ходить по комнате.

Глава двадцать вторая

НА ПТИЧЬЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Прошло несколько месяцев после последнего вызова в НКВД. Павел уже начал надеяться, что угроза удаления из Москвы останется только угрозой. Каждый день, возвращаясь вечером домой, он со страхом ждал какой-нибудь неприятной повестки. Оля похудела и осунулась. — Хоть как-нибудь, да выяснилось бы, наконец, всё это! — думала она. Выясниться всё это могло только в отрицательную сторону и она начинала молиться, чтобы все оставалось так — невыясненным ощущением вечно нависшей угрозы, но не немедленной катастрофой. Оля боялась войны и не верила, что от нее можно ждать спасения; в то же время так оставаться тоже не могло. Она сама чувствовала по окружающим, что все ждут какой-то катастрофы, каких-то перемен.

Павел сидел за чаем, когда Анна Павловна открыла дверь и сказала неестественным голосом:

— Павел, тут к тебе.

За маленькой пухлой фигурой старушки высилась зеленовато-серая фигура милиционера. Милиционер вошел в комнату немного смущенный и пытливо посмотрел на Павла. — Я знаю, зачем он пришел, — думал Павел, — но почему он так странно держится?

Оля встала с дивана, вытянулась и замерла, как бы ожидая удара.

Зеленоватые, совсем незлобные глаза милиционера забегали.

— Тут о вас бумага пришла, — сказал он, оглядываясь по сторонам, — у вас была судимость, вам придется переменить паспорт и выехать из столицы.

Он согласится за взятку оставить меня в покое, — понял Павел, — поэтому и пришел на дом. — На минуту им овладело сомнение, — попробовать, предложить... но те об этом узнают и все равно... как бы они не начали игру сызнова! Опять допросы... нет, лучше нелегальная жизнь и открытый бой, чем эта тина!

Милиционер посмотрел на Павла явно сочувственно.

— Вы понимаете, я тут не при чем, — сказал он. — Раньше этого не было. — Последние репрессии и ежовщина смутили даже милиционеров.

— Я всё знаю, — ответил Павел, — скажите, когда я должен прийти? Я выеду сам. Если можно, не ставьте ни о чем в известность домуправление.

— Хорошо, я могу дать вам неделю сроку для устройства личных дел. Через неделю приходите в паспортный отдел.

Павел крепко пожал руку милиционеру.

Найти Свечина оказалось не так легко. С письмом Алексея Сергеевича Павел пошел к литературоведу, сидевшему уже шесть раз в тюрьме за антисоветские стихи, написанные еще в 1918 году. Последнее время его дважды спасало знакомство с Алексеем Толстым.

Литературовед оказался лысоватым мужчиной с острым подвижным лицом и ехидным выражением серых глаз. Встретил он Павла в кабинете, заваленном книгами и рукописями. Прочитав письмо, литературовед сочувственно посмотрел на Павла и участливо спросил:

— Выкидывают из благословенной столицы?

— Выкидывают, — ответил Павел.

— Это хорошо, — успокаивающе сказал литературовед, — значит пока не посадят. Теперь, батенька, сидеть плохо стало: дают не меньше десяти лет и без права переписки — не то, что раньше! Деньги есть?

— Спасибо, пока есть?

— Ну то-то же, а если нет — не стесняйтесь, свои люди! По-моему, Свечин теперь ночует у одного своего приятеля, но адреса его я, к сожалению, не знаю. Вот что — вы с Орловым знакомы?

Орлов был известный переводчик.

— Знаком, но для такого дела недостаточно, а потом Орлов вхож в высокие коммунистические круги — может быть, с таким делом к нему и обращаться неудобно.

— Это ничего, я ему сейчас напишу. Нам нужен только адрес, где теперь ночует Свечин.

Через полчаса Павел входил во двор только что отстроенного дома. Когда он пересекал широкий двор, со стула, стоявшего у одной из дверей, поднялся дворник и вежливо спросил:

— Вы, гражданин, к кому?

Павел назвал фамилию.

— Второй этаж налево, — сказал дворник, внима-

тельно вглядываясь в лицо Павла. В доме живут крупные коммунисты, понял тот.

На дубовой полированной двери квартиры была прибита медная дощечка с одной фамилией. Орловы занимали целую квартиру. Дверь открыла простая пожилая женщина.

— Орлов дома?

— Николая Федоровича нет, дома только Мария Евгеньевна.

— Можно ее видеть?

— Пожалуйста.

Женщина провела Павла в маленькую уютную гостиную. Стены гостиной были покрыты синей клеевой краской, на полу лежал турецкий ковер; кругом полированного, карельской березы столика стояли удобные кресла. Стиль 40-х годов прошлого века. Павел с удовольствием сел в кресло. Открылась дверь и в комнату вплыла очень толстая дама с умным, почти мужским лицом.

— Здравствуйте, — заговорила она густым грудным голосом, подавая Павлу большую пухлую руку. — Николай Федорович сейчас придет, может быть, я могу его заменить?

— У меня к вам письмо от Ильи Сергеевича. Я ищу адрес Свечина.

— Так он ведь живет где-то далеко! — насторожилась Мария Евгеньевна.

— Насколько мне известно, он здесь остановился у одного знакомого.

Раздался звонок.

— Вот и хорошо — это, наверно, Николай Федорович, — обрадовалась Мария Евгеньевна.

Но пришедший оказался не Николаем Федоровичем. В дверь легонько постучали и на пороге появился чистенький старичок, свеже выбритый, в стареньких, но аккуратно выглаженных серых брюках и в черном старомодном пиджаке.

— А, господин профессор! Вы знакомы?, — очень ласково обратилась Мария Евгеньевна к старичку.

— Как же — постоянно в специальном зале библиотеки встречались, — любезно ответил старичок.

— Кстати, вы ведь знаете где живет Свечин?

Старичок сделался серьезным и ничего не ответил.

Павел, действительно, очень хорошо знал профессора Волина. Его всегда поражало, как мало отразилась революция на этом человеке. Часто, придя к открытию библиотеки, Павел уже встречал в гардеробе профессора. Старичок аккуратно передавал гардеробщице пальто, зонтик, снимал галоши и ровненько ставил их в угол. — Ничего не скажешь, приятный милый старичок, но напоминающий человека в футляре. Как это он ухитряется жить без всяких невзгод житейских? — подумал Павел.

— А позвольте узнать, молодой человек, зачем вам понадобился Свечин?, — обратился профессор к Павлу, чуть-чуть наклоняя голову на бок.

Насколько мне известно, он человек наш — можно ему прямо сказать в чем дело, — решил Павел.

— Меня удаляют из Москвы за старую судимость. Я хотел посоветоваться со Свечиным, где ближе всего от города можно устроиться — он ведь, кажется, сам на таком же положении.

— А позвольте спросить, вы судились по делу историков или нет? — опять спросил профессор и опять легонько повернул голову на бок.

— Я судился по отдельному мелкому делу, об историках меня допрашивали попутно, — ответил Павел.

— Очень хорошо. Адрес Свечина я вам дам — он сейчас ночует у Миллера.

— У Владимира Владимировича?

— Вот именно — у Владимира Владимировича. А вы с ним тоже знакомы?

— Мы с ним почти друзья, мы даже работали некоторое время вместе, — обрадовался Павел, — но он мне никогда не говорил, что у него скрывается Свечин.

— Зачем употреблять такие страшные слова — скрывается! — мягко поправил его профессор, — все мы теперь принуждены несколько нарушать букву закона...

— Разве и вы? — Павел спросил полушутя, полусерьезно, не допуская мысли, что такой довоенного вида старичок может быть связан с чем-либо нелегальным.

— А почему бы и не я? Я молодой человек, уже отбыл пять лет концлагеря. Мне тоже запрещено проживать в столице.

— А как же... я вас встречал чуть ли ни каждый день в библиотеке?

— А вот так, как и вам теперь придется. На птичьем положении: сегодня в одном месте, завтра в другом — добрых людей много.

Как ни тяжело было у Павла на душе, но он улыбнулся.

— Знаете, — сказал он профессору, — я многое в жизни видел, знаю самые невероятные случаи, но вы и нелегальная жизнь в Москве, да еще в период чистки — это прямо невероятно! Могу поздравить — ни один агент не обратит внимания.

— Вот именно, — утвердительно кивнул головой старичок, — этого я и добивался. Вы еще молоды, а в моем возрасте часто менять места ночевок трудновато, вот я и замаскировался — ничего не поделаешь, жизнь всему учит.

— У вас отняли московский паспорт? — сочувственно спросила Марья Евгеньевна.

— Отняли.

— К сожалению, все наши коммунистические связи таковы, что хлопотать не у кого, — вздохнула Марья Евгеньевна. — Они ведь и своим не верят. В нашей сре-

де хоть все друг другу помогают, а у них и этого нет: от семей арестованных все сейчас же отворачиваются. До Ежова еще можно было рассчитывать на человеческие чувства, а теперь только страх и жестокость, больше ничего.

— Так вы найдете Свечина у Миллера. Приходит он, правда, поздно, не раньше десяти часов вечера, чтобы поменьше на глаза попадаться, но в 10-11 вы его наверное поймаете, — сказал профессор.

Павел поблагодарил профессора, извинился перед Марьей Евгеньевной за беспокойство и вышел. — Век живи — век учись, — думал он, идя по лестнице, — такой безобидный, старорежимный, а хитрее молодого! Миллер тоже молодец — никогда ни одним словом не сказал, что так близок со Свечиным.

Вечером того же дня Павел поднимался по ветхой деревянной лестнице в квартиру Миллера. Миллер был давно на учете у организации, но за легкомыслие и неврастеничность ни в какие тайны не посвящался. В свое время, сразу после гражданской войны, попав в плен в форме белого офицера, Миллер спасся только тем, что притворился сумасшедшим, что ему дорого обошлось — пришлось, действительно, просидеть около года в психиатрической лечебнице... С тех пор он стал на самом деле не совсем нормальным, но это спасало его и дальше. Приходя в редакцию, Миллер целовал ручки секретарше и машинисткам. Для советского учреждения это было почти невероятным явлением, но к Владимиру Владимировичу все привыкли и всерьез его поступков не принимали. — А Свечин тоже прав, — решил Павел, — у Миллера скрываться почти безопасно.

Дверь открыла пожилая дама неопрятного вида. — Сейчас посмотрю, дома ли Владимир Владимирович, — сказала она и ушла.

Павел стоял в темной, заставленной шкапами передней. Из коридора пахло чем-то кислым. Где-то в

темноте послышался голос Владимира Владимировича:

— Заходите, дружище, очень рад вас видеть!

— Куда заходить-то? В темноте ничего не видно.

— Э, батенька, держите мою руку — у нас в коридоре лампочка перегорела. Это ничего, смелее — ступенек нет.

Павел устремился в темноту за Владимиром Владимировичем, как Данте за Виргилием. Сделав несколько поворотов между надвигающимися шкапами, они достигли двери, за которой оказалась маленькая, заставленная всяким старьем комната.

— Ну, смелее... Здесь живет моя бывшая теща. Слава Богу, что ее нет дома — зла необычайно! — любезно пояснил Миллер.

— А я и не знал, что вы были женаты!

— Был, но, увы, — всё в прошлом. Да, по совести сказать, оно и к лучшему: одному для нашего брата легче, а то, знаете, вечные попреки: почему ты, душечка, ничего не зарабатываешь? Смотри, наш сосед, простой сапожник, неграмотный и пьяница — и то как живет. А ты — научный работник! И знаете, она была права. Я ей так и сказал: милая, выходила бы ты лучше сразу за сапожника или за ответственного работника. А тут, знаете, еще теща — кошмар!

Комната Владимира Владимировича оказалась каморкой и порядку в ней было немногим больше, чем в комнате злой тещи. Только, вместо старья, вся она была завалена книгами.

— Садитесь, пожалуйста, на диван. Не бойтесь — это ничего, что ножка шатается.

— Скажите, Свечин ночует у вас? — прямо спросил Павел, опускаясь на торчащие из дивана пружины.

— А вы откуда узнали? — удивленно расширил красивые зеленоватые глаза Владимир Владимирович.

— Вы не бойтесь, узнал у своих — меня тоже из Москвы выгоняют.

На изящном, легкомысленном лице Миллера отразилась печаль и сочувствие.

— А как же жена? — заботливо спросил он.

— Жена останется здесь. Она всё время предлагает ехать вместе куда-нибудь в провинцию и заново строить жизнь, но я боюсь. Война может начаться в любой момент и тогда меня все равно мобилизуют, а она останется одна в какой-нибудь дыре без поддержки, без родных и знакомых. Кроме того, я и сам не хочу порывать с Москвой.

— Вы правы, — серьезно, с тоской в голосе ответил Миллер. — Жена у вас хорошая, берегите ее в первую очередь. Свечин вас устроит — у них эта механика налажена. А вот, как вы в Москве нелегально жить будете? — Это ведь очень трудно!

— За это я не боюсь — места у меня найдутся.

— Жаль мне вас. Вы знаете, бедняга Свечин — ведь он приходит в 10 часов и ждет в комнате одних знакомых, когда теща выйдет. Я его потихоньку провожу к себе — и до утра, как под арестом. Утром уходит либо очень рано, либо уже днем и опять так, чтобы остаться незамеченным. Я и то с ним измучился. Вы посидите, я его сейчас приведу — он тут недалеко.

Не прошло и четверти часа, как дверь тихонько отворилась и в комнату вошли Миллер и Свечин. Свечин сбросил с сутулых плеч старую шубу, снял потрепанную кепку и крадущейся волчьей походкой подошел к Павлу.

— Чем могу служить? — сказал он тихо звучным холодным голосом.

Павел подробно рассказал свое дело. Синие злые глаза Свечина впились в его лицо.

— Вам нужно уезжать, пока у вас на руках неиспорченный паспорт, — быстро решил он.

— Но в этом случае могут арестовать жену! — ответил Павел.

Лицо Свечина нервно дернулось.

— Мало вероятно, чтобы вашу жену арестовали, а паспорт терять не советую.

Быстрым движением он выхватил из бокового кармана бумажник и раскрыл свой паспорт: помимо роковой ссылки на постановление СНК. СССР, в графе «на основании каких документов выдан паспорт», на серых страницах подряд стояло три штемпеля: в 64 часа покинуть Ленинград, в 48 часов Одессу и в 24 часа Харьков.

— Вот попробуйте пожить с таким документом и при нашей с вами специальности. Меня половина литературоведов в лицо знает! — зло бросил Свечин и спрятал бумажник. — Впрочем, это ваше дело — решайте, как знаете. Я езжу туда, где прописан, раз в месяц. Следующий раз поеду через неделю. Меня всегда можно найти у Владимира Владимировича, если к тому времени не выгонит! — Свечин резко повернулся к Миллеру и сделал маленькую паузу. — А то прямо на Курском вокзале, в зале ожидания третьего класса. Поезд идет в 12.10 ночи, я там буду в 11.40.

Павел вошел в холодное неуютное здание вокзала. В зале третьего класса народу было мало и он легко узнал характерную фигуру Свечина, уткнувшего большой горбатый нос в какую-то книгу.

— Стараетесь не терять время? — сказал Павел подходя.

— А, это вы? Ну как, ничем не удалось предотвратить несчастье?

— Не удалось. — Павел сел рядом.

— Нет, сидеть некогда. Пойдемте возьмем билеты и займем места. В поезде такой свет, что читать невозможно. Я стараюсь занимать угловые места, чтобы можно было дремать.

На перроне дул холодный северный ветер. Крыши вагонов были белы от снега и от этого состав казался

длинней и ниже. Паровоз тяжело пыхтел, клубы пара от сильного мороза оседали к земле тяжелым облаком. Выбрав вагон посвободнее, спутники забились в углы около окна, друг против друга, поставили чемоданы рядом под окно, вытянули через них ноги, подняли воротники и попробовали заснуть. Вскоре поезд тронулся. За замерзшим стеклом поплыли сначала бесформенные тени громад полутемных домов, потом совсем темные тени подмосковных лесов. Время от времени мелькали пустые освещенные перроны дачных станций. Поезд набирал скорость.

Тело ныло от неудобной полусидячей позы. Мучительно тянуло домой в теплую постель. Через некоторое время Павел задремал.

— Сейчас приедем, — услышал он неприятно чужой голос Свечина.

Поезд замедлял ход. Через замерзшее окно ничего не было видно. — Однако, местечко должно быть не очень большое! — подумал Павел. Вышли они не на перрон, а прямо на полотно против станции и сразу, перешагнув через проволоку, идущую к семафору, нашли тропинку и пошли через горы снега к темным, занесенным сугробами домам.

— Вам помочь что-нибудь нести? — спросил Свечин.

— Благодарю, я справлюсь один.

— Тут совсем недалеко. Чорт его знает — когда месяц пробудешь вне дома, всегда ждешь какой-нибудь неприятности. Со мной тут еще двое живут — тоже бывшие концлагерники.

Луны не было, но звезды светили так ярко, что идти было нетрудно. Маленькие деревянные домики поселка мирно спали, уткнув носы в снеговые подушки. Вдруг в показавшемся из-за поворота окне блеснул свет.

— Что это? — остановился Свечин, — это в нашем

доме свет! Сейчас четыре часа ночи. Может быть, обыск...

Путники остановились в нерешительности. Мороз все крепчал. За узкой тропинкой сразу начинались непроходимые горы покрытого настом, блестевшего от сияния звезд снега.

— Подождите здесь, я пойду узнаю.

Свечин волчьей крадущейся походкой пошел к дому. Видно было, как его фигура скользнула около освещенного окна и приложила ухо к стене. Повидимому, в доме было всё тихо, потому что он прошел вдоль стены и вернулся назад.

— Ничего не слышно. Не ночевать же на улице! Я пойду постучу. — Павел пошел следом. Свечин поднялся на крыльцо по скрипучим ступенькам и постучал. В зловещей, напряженной тишине дома послышался стон, затем чей-то слабый голос, кашель и шаркающие шаги по направлению к двери.

— Кто там? — спросил женский голос.

— Это я — Свечин. Почему у вас свет? Что-нибудь случилось?

Раздался шум отпираемой двери. — А если там засада НКВД? — пронеслось в голове Павла. Дверь открылась и Свечин решительно, как бы отрезая все возможности бегства, вошел в сени.

— Что у вас такое, почему свет? — спросил он, входя в избу.

— Вы знаете, я чуть не умер... Честное слово, я чуть не умер! — раздался из-за дощатой перегородки тенор необыкновенно женственного тембра.

— Евгений Евгеньевич грибов объелись, — сказала хозяйка, зевая спросонья и крестя рот.

— Чорт знает что такое! — вскипел Свечин, садясь на скамейку и стирая пот с побледневшего лба. — Чорт знает что такое! С вами всегда какая-нибудь глупость случается! — повторил он злым шопотом.

— Не чорт знает что, а грибы были, наверно, ядо-

витые, — ответил нежный тенор с явной обидой в голосе. — А с вашей стороны очень нехорошо так набрасываться на больного человека.

— Фекла Ивановна, я с собой приятеля привез. Завтра будем искать комнату, а пока, может быть, устроите где-нибудь постель, — обратился Свечин к хозяйке.

— В кухне две лавки составим, перина у меня есть — там еще теплее, чем в комнатах.

Через десять минут Павел уже растянулся на грубой большой перине и моментально заснул, радуясь, что на этот раз теплый угол не ушел от него.

Глава двадцать третья

В ТУПИКЕ

Около полугода уже Павел жил на птичьем положении. За «прописку» в местечке он аккуратно платил пятьдесят рублей в месяц, приезжая из Москвы с большими перерывами всего на два-три дня; остальное время днем он сидел в библиотеках, ночи спал по очереди у знакомых. Субботы и воскресенья Павел проводил дома, в квартире. Все жильцы думали, что Павел командирован под Москву на работу: милиционер сдержал слово и в домоуправлении ничего о Павле не знали. Жизнь в этих условиях стала нелепо мучительной. Часто, проведя с Олей вечер где-нибудь в гостях, Павел сажал ее на трамвай, а сам шел куда-нибудь ночевать. Работа, взятая совместно с толстым коллегой, подходила к концу. Что будет дальше, Павел не знал.

Между тем, общее напряжение всё нарастало. Прыжок Гитлера на Англию не удавался, в то же время отношения немцев и Советов явно портились. В «Известиях» уже писали в сочувственном тоне об англий-

ской противовоздушной обороне; в учреждениях и на предприятиях появились присланные лекторы, делавшие довольно объективные доклады о международном положении с выпадами против Германии.

Если они ослабят друг друга, Советы через год довооружатся, нападут и введут коммунизм в Европе силой — тогда и вся наша деятельность пойдет прахом, — думал Павел.

Измученный и уставший, Павел, как всегда, незаметно пробрался домой. Увидев его неожиданно вошедшим в комнату, Оля радостно вскочила, но радость мгновенно исчезла, когда она вгляделась в лицо Павла.

— Ты болен?

— Я... я устал, — Павел тяжело опустился на диван.

Анна Павловна бесшумно скользнула за дверь приготовить ужин.

— Смерь температуру, у тебя жар, — дрожащая рука притронулась ко лбу Павла. — Милый, уедем... пожалуйста, уедем! — Оля прильнула к нему и заплакала. — Я не могу, когда ты где-то... я хочу семьи... я хочу ребенка... Бог с ней, с Москвой, — шептала Оля, — я готова на любые трудности, на любые лишения, только вместе.

— Нельзя, Оля, я тебе уже говорил — в случае войны тебе в Москве будет легче. Я все равно везде буду гонимым — я обречен на это. А потерять сразу всех родных, всех знакомых — это ведь безумие. Ты же сама знаешь, что с моим паспортом вообще нельзя жить в крупных городах. А кроме того, — Павел вдруг почувствовал негодование, — кроме того, они нас для того и мучают, чтобы мы сдались. Они хотят сделать нас рабами — всех, весь народ. Я не хочу сдаваться, я буду бороться до конца...

Оля выпрямилась.

— Поступай, как знаешь. Я верю, что ты никогда не поступишь плохо. В конце концов, я люблю тебя именно за это. Только... — она попробовала улыбнуться, — только тебе надо немного отдохнуть. Поживи с нами несколько дней, мы жильцам так и скажем, что ты получил освобождение от врача и приехал болеть домой.

Павел лежал на диване, на своем диване, в своей комнате и не знал, сможет ли он тут оставаться завтра. Оля спала, как всегда, беспокойно, вздрагивая и просыпаясь. На этажерке перед иконой Николая Чудотворца теплилась лампада.

Да, — думал Павел, — в любой момент могут прийти чекисты и прогнать меня — и это не потому, что я работаю в подпольной организации, они этого не знают. Они преследуют миллионы ни в чем неповинных людей еще более, чем меня, — я еще счастлив, я на свободе. Неужели еще не испита до конца чаша предназначенных России страданий.

На другой день, когда Оля ушла на службу, а Анна Павловна за покупками, Павел, изображая больного, лежал на диване и читал. В квартире было тихо. Незаметно Павел заснул. Разбудил его громкоговоритель — сосед-учитель вернулся домой и включил радио. — Покоя нет от этих громкоговорителей! — с ненавистью подумал Павел, встал и вышел в коридор. Из открытой двери комнаты учителя ясно доносились звуки заикающейся, булькающей речи. Это не был голос диктора: в нем чувствовалось такое напряжение и страх, что Павел, еще толком не понимая в чем дело, подошел к открытой двери. Учитель стоял посреди комнаты, смешно расставив ноги и выпучив глаза.

— Немецкие войска напали на Советский Союз! — закричал он, увидев Павла, — говорит сам Молотов!

Павел давно знал, что это будет и ждал этого момента, но, как всегда бывает, новость поразила его, как громом: сердце часто забилось, а дыхание прервалось.

Да, вот она эта лавина, эта бездна, эта фундаментальная встряска... да, всё-таки страшно, но...

— А знаете, — сказал он вдруг учителю, и чувство, похожее на радость, сжало его сердце, — знаете, никто не может сказать, чем эта война кончится, но одно неизбежно: советская власть погибнет!

Учитель не удивился и не испугался его откровенности. Он как-то смешно выпустил из груди воздух, засопел и утвердительно кивнул головой.

Голос Молотова продолжал заикаться в радио. Павел подошел к окну. По улице бежали люди с корзинками в руках. Первой реакцией на войну была попытка запастись продовольствием. Население было уверено, что правительство не сумеет предотвратить голод.

Конец.

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.,
417 Lafayette Street,
New York 3, N. Y.
85 

Цена $2.75

